This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

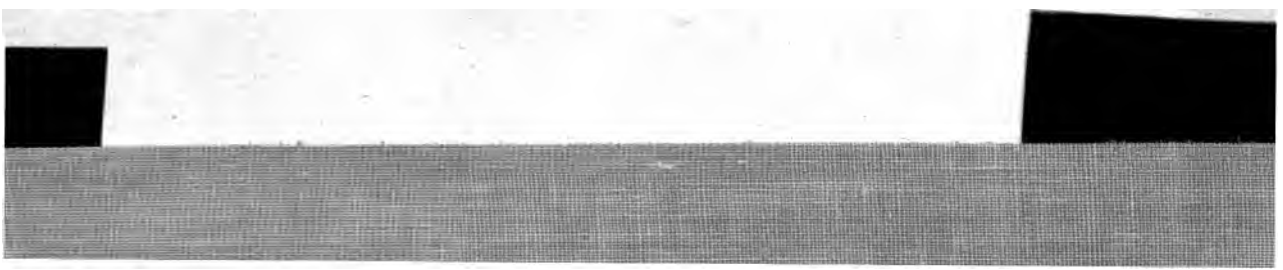
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

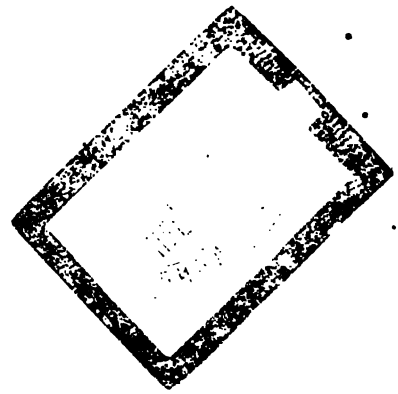
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES





РУССКІЯ ЖЕНЩИНЫ НОВАГО ВРЕМЕНИ.

16462 Mordovtsev, D.L.

РУССКІЯ ЖЕНЩИНЫ

НОВАГО ВРЕМЕНИ

БІОГРАФИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ ИЗЪ РУССКОЙ ИСТОРІИ

СОСТАВИЛЪ

Д. МОРДОВЦЕВЪ.

ПРОВЕРЕНО
1940 ГОД

ЖЕНЩИНЫ ДЕВЯТНАДЦАТАГО ВѢКА.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.
ИЗДАНІЕ А. ЧЕРКЕСОВА и К-°.
1874.

DK 27.4
M.6
V.3

Типография О. В. Вакста, Захарьевская ул., д. № 12.

Аннѣ Никаноровнѣ Мордовцевой,
Вѣрѣ Даниловнѣ Мордовцевой,
Натальѣ Іосифовнѣ Первольфъ,

съ любовью посвящаетъ
мужъ, отецъ и дѣдушка—авторъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
Предисловіе	IX—XI
I. Баронесса Криднеръ	1
II. Графиня Зубова («Суворочка»)	22
III. Марья Поспѣлова	39
IV. Анна Бунина	47
V. Госпожа Свѣчина	59
VI. Прасковья Луполова («Параша-сибирячка»)	74
VII. Анна Хомутова	86
VIII. Надежда Дурова («Кавалеристъ-дѣвица»)	97
IX. Настасья Минкина («Аракчеиха»)	151
X. Елизавета Фролова-Багрѣева	168
XI. Марья Волкова	202
XII. Екатерина Татаринова	221
XIII. Елизавета Кульманъ	238
XIV. Княгиня Волконская	257
XV. Прасковья Александровна Осипова	269
XVI. Унтеръ-офицерша Кирилова	283
XVII. «Слѣпая Доманя»	313

Посвятивъ настоящій томъ изображенію женскихъ историческихъ личностей собственно девятнадцатаго вѣка, мы считаемъ необходимымъ пояснить, что въ принятомъ нами выдѣленіи женщинъ первой четверти девятнадцатаго вѣка изъ числа женщинъ послѣдней четверти восемнадцатаго мы руководствовались чисто-внѣшними, хронологическими признаками, потому что между восемнадцатымъ и девятнадцатымъ столѣтіями наша исторія не положила такой рѣзко разграничивающей черты, какую положила она между вѣкомъ восемнадцатымъ и семнадцатымъ: тамъ, въ русской жизни совершилось такъ-сказать коренное органическое видоизмѣненіе вслѣдствіе особыхъ историко-физіологическихъ причинъ, такъ что крайніе годы двухъ хронологически-смежныхъ двадцатипятилѣтій такъ же рѣзко отличаются другъ отъ друга по всѣмъ проявленіямъ русской государственной и общественной жизни, какъ крайніе годы можетъ быть двухъ смежныхъ тысячелѣтій; здѣсь — крайніе годы двухъ смежныхъ двадцатипятилѣтій восемнадцатаго и девятнадцатаго вѣка имѣютъ между собою много родственнаго, и кажется, будто бы восемнадцатое столѣтіе, его идеи и требованія незамѣтно вливаются въ идеи и требованія девятнадцатаго и смѣшиваются съ ними, подобно тому какъ въ устьѣ рѣки, впадающей въ море, прѣсная рѣчная

вода смѣшивается съ морскою, такъ что нельзя различить, гдѣ кончается рѣка и гдѣ начинается море.

Оттого и женщины восемнадцатаго вѣка, съ ихъ внѣшнимъ видомъ и нравственною физіономіею, съ ихъ понятіями и стремленіями, переходятъ въ девятнадцатый вѣкъ, и если бъ такія женскія личности, какъ баронесса Криднеръ, графиня Зубова или иначе «Наташа Суворочка», Марья Поспѣлова, Анна Бунина и госпожа Свѣчина, не принадлежали всею суммою своей дѣятельности и самыми цвѣтущими годами своей жизни девятнадцатому вѣку, то ихъ смѣло можно было бы оставить между женщинами восемнадцатаго вѣка и они не шли бы въ-разладъ съ его жизнью и колоритомъ этой жизни, тѣмъ болѣе что и по рожденію и по воспитанію они принадлежатъ восемнадцатому столѣтію. Только уже дѣвицы Луполова, Хомутова, «дѣвица-кавалеристъ» Дурова, г-жа Фролова-Багрѣева, дѣвицы Волкова, Кульманъ и г-жа Осипова отражаютъ въ себѣ вѣянье новой жизни, иного воспитанія, иныхъ общественныхъ симпатій, — и эти-то женщины безспорно могутъ быть уже названы дѣтьми девятнадцатаго вѣка.

Хотя при этомъ мы не можемъ не сознавать, что при изображеніи исторической женщины девятнадцатаго вѣка на насъ должна была бы лежать нравственная обязанность пополнить это изображеніе еще нѣкоторыми женскими личностями, которыя выразили собою одну сторону русской жизни, нами не тронутую, но, въ виду того, что въ настоящее время для безпристрастнаго изображенія и оцѣнки русской женщины этого именно историческаго типа, говоря юридическимъ языкомъ, земская историческая давность еще не исполнилась, изображеніе и оцѣнку этого богатаго типа русской женщины мы и оставляемъ будущимъ изслѣдователямъ. Тому же, кто замѣтитъ намъ вообще

неполноту сдѣланнаго нами подбора женскихъ историческихъ личностей девятнадцатаго вѣка, мы позволимъ себѣ отвѣтить благоразумными словами одного римлянина, обращенными къ другому римлянину по поводу излишней скромности перваго: quid volumus—non possumus, quid possumus—id nolumus.

I.

Баронесса Юлія Крюднеръ,

урожденная Фитингофъ.

Два послѣднихъ столѣтія, какъ мы и прежде говорили, успѣли дать исторіи не мало крупныхъ женскихъ личностей, съ которыми мы уже отчасти и познакомились въ лицѣ императрицы Екатерины Второй, княгини Дашковой и другихъ; но едва ли между ними найдется такая женщина, которая, помимо своего прирожденнаго и общественнаго положенія, въ своей личной индивидуальности носила бы такой запасъ нравственной силы, что могла бы единственно лишь могуществомъ своего слова и неотразимостью моральнаго обаянія ставить самыя судьбы Европы въ зависимость отъ этого обаянія и съ помощью этой нравственной силы господствовать надъ нею даже и послѣ своей смерти.

А такою именно женщиною была та, имя которой написано въ заголовкѣ этого очерка.

Достаточно сказать, что когда, послѣ пораженія Наполеона I, императоръ Александръ Павловичъ задумалъ составить политическую коалицію для поддержанія на будущее время политическаго равновѣсія Европы, баронесса Крюднеръ близко стояла у начала этого историческаго дѣла, руководила его направленіемъ и

дала ему тотъ, отчасти мистическій, характеръ, который обнаруживается даже въ самомъ имени этой замѣчательной политической коалиціи первой половины нынѣшняго столѣтія: составленный императоромъ Александромъ Павловичемъ черновой проектъ европейской коалиціи былъ на предварительномъ просмотрѣ и одобреніи Юліи Криднеръ; она же дала этой коалиціи и мистическое имя, потому что на черновомъ проектѣ слова въ заголовкѣ—«священный союзъ»—написаны рукою Юліи Криднеръ.

Юлія, по отцу Фитингофъ, а впослѣдствіи по мужѣ баронесса Криднеръ, родилась въ Ригѣ, 21-го ноября 1764 года. Отецъ ея велъ свой родъ отъ тевтонскихъ рыцарей, а мать была дочь знаменитаго русскаго фельдмаршала Миниха. И отецъ и мать Юліи были личностями далеко не дюжинными въ томъ обществѣ, въ которомъ жили: это были личности съ сильными, энергическими характерами, и, безъ сомнѣнія, зерно этой моральной силы вложено было ими въ природу дочери, которая и проявила эту силу, когда ей пришло время проявиться.

Хотя отецъ Юліи и гордился своимъ древнимъ родомъ, однако титулами не дорожилъ и за оффиціальными отличіями и почестями не гнался, а раньше другихъ понялъ практическую истину, что древность рода и рыцарство не несоединимы съ коммерческими дѣлами, и потому велъ эти дѣла съ такимъ успѣхомъ, что сталъ богатѣйшимъ человѣкомъ въ Лифляндіи. Жена его была красавица, и вѣроятно отъ нея дочь наслѣдовала эту красоту, оказавшуюся столь могущественною, что обаяніе этой красоты было неотразимо: красота эта сдѣлалась для Юліи такою же надежною союзницею и силою, какъ и ея богатыя дарованія.

Коммерческія предпріятія отца и свѣтская блестящая жизнь матери были, однако, причиною того, что Юлія лишена была

основательнаго образованія, хотя, по обычаю того времени, и получила внѣшній лоскъ французскаго воспитанія, и притомъ въ такой мѣрѣ, что могла впослѣдствіи сдѣлаться одною изъ замѣчательныхъ во французской литературѣ писательницъ.

Четырнадцати лѣтъ Юлія успѣла уже побывать въ Германіи, Франціи и Англіи, хотя, конечно, ничего не могла вывезти оттуда, кромѣ пустого знакомства съ внѣшними формами жизни и съ тѣми ея блестящими проявленіями, которыя сами собой бросаются въ глаза, не имѣя цѣны въ глазахъ людей положительныхъ.

Въ шестнадцать лѣтъ Юлія была уже завидною невѣстою, и ее окружилъ рой поклонниковъ. Разсчетливый отецъ хотѣлъ было сосватать ее за одного своего сосѣда-помѣщика, чтобъ соединить и округлить имѣнія, и дѣвушка была уже помолвлена, не смотря на отчаяніе съ ея стороны и на безотчетную боязнь этого замужества; однако неожиданная болѣзнь спасла ее отъ нежелательнаго ей брака: Юлія заболѣла корью, долго оставалась съ обезображеннымъ лицомъ, и этимъ разстроила чуть-было не состоявшійся уже бракъ съ нелюбимымъ человѣкомъ.

Но черезъ два года Юлія не миновала замужества, только уже съ такимъ человѣкомъ, котораго она потомъ страстно любила.

Біографы Юліи говорятъ, однако, что «она не была красавица; но у нея было чрезвычайно привлекательное и выразительное лицо, прекрасныя руки, чудесные свѣтлорусые волосы при голубыхъ глазахъ, и плѣнительная грація—эта высшая изъ всѣхъ женскихъ прелестей».

По свидѣтельству же другихъ современниковъ, Юлія была поразительно хороша и обаяніе ея было неотразимое, магическое.

Юлія вышла замужъ за барона Криднеръ, которому было лѣтъ сорокъ и который уже успѣлъ потерять двухъ женъ: на

*

Юліи онъ женился въ третій разъ. Это былъ блестяще-воспитанный по тому времени человѣкъ, хорошій собесѣдникъ въ обществѣ и признанный дипломатъ, котораго дарованія оцѣнены были нѣсколькими царственными особами.

Уже впослѣдствіи баронесса Криднеръ признавалась своему другу, знаменитому Бернардену де-Сенъ-Пьеру, что выходила замужъ не любя своего жениха, но что на этотъ шагъ подвинуло ее честолюбіе, желаніе блистать въ обществѣ и при дворѣ. Вышло, однако, такъ, что она вскорѣ горячо и страстно привязалась къ своему пожилому и серьезному мужу, и въ извѣстномъ своемъ романѣ «Валерія», написанномъ ею уже за границею, въ Германіи и Франціи, она видимо представила самыя лучшія минуты и самые счастливые годы своей молодости, и въ тоже время изобразила своего мужа съ такою силою и граціей, что современники, отдавая дань уваженія таланту писательницы, узнавали въ герояхъ романа какъ мужа Юліи, такъ и самоё писательницу.

Этотъ бракъ барона Криднера и Юліи Фитингофъ соединилъ два замѣчательныхъ въ своемъ родѣ характера, изъ которыхъ каждый проявлялся своеобразно втеченіе всей ихъ жизни. Въ первые годы послѣ замужества Юліи мужъ ея находился русскимъ посланникомъ въ Берлинѣ, и когда однажды онъ давалъ балъ въ честь дочери своего государя Павла Петровича, великой герцогини мекленбургъ-шверинской, отъ государя пришла депеша съ повелѣніемъ немедленно объявить войну Пруссіи. Посланникъ, находя, по своимъ соображеніямъ, объявленіе войны несвоевременнымъ и несправедливымъ со стороны своего правительства, рѣшился не исполнить повелѣнія государя, и тотчасъ же представилъ Павлу I свои доводы относительно этого предмета, съ твердостью отстаивая законность своихъ дѣйствій, повидимому столь дерзкихъ. Можно было ожидать страшныхъ послѣдствій отъ

этого своевольнаго ослушанія посланника, особенно принимая во вниманіе вспыльчивый и порывистый нравъ императора Павла I, и Криднеръ, дѣйствительно, ожидалъ своей гибели: три недѣли онъ ждалъ рѣшенія государя относительно своей участи, ждалъ немилости, отставки, ссылки, не спалъ втеченіе всѣхъ этихъ трехъ недѣль и такъ разстроилъ свое здоровье, что оно съ той поры оказалось непоправимымъ. Черезъ три недѣли пришелъ этотъ страшный отвѣтъ императора:—царь милостиво благодарилъ посланника за праздникъ, устроенный имъ въ честь императорской дочери; но относительно необъявленія Пруссіи войны не высказалъ никакого гнѣва и во всю свою жизнь продолжалъ любить своего смѣлаго посланника.

Такова была личность, съ которою судьба свела Юлію Фитингофъ, теперь уже баронессу Криднеръ. И она со всѣмъ пыломъ молодости прильнула къ этому сильному характеру. Она любила его безгранично и съ нѣжной готовностью старалась исполнять и даже предупреждать всякое его желаніе. Пользуясь этимъ, Криднеръ хотѣлъ заняться развитіемъ ума и природныхъ талантовъ своей молоденькой жены; но Юлія еще не ступила на тотъ путь, гдѣ могла сказаться ея природная богатая сила: эта внутренняя сила проявлялась пока только въ свѣтскомъ лоскѣ и въ томъ обаяніи красоты, которое въ первые годы жизни баронессы Криднеръ такъ могущественно дѣйствовало на всѣхъ, съ кѣмъ она сталкивалась, не потерявъ впрочемъ своей неотразимости даже и тогда, когда женщина эта была уже стара.

Въ 1784 году баронесса Криднеръ родила сына, и въ томъ же году она была представлена ко двору императрицы Екатерины II.

Первое путешествіе, которое она предприняла вмѣстѣ съ мужемъ, это поѣздка въ Венецію, куда баронъ Криднеръ назначенъ

былъ посланникомъ отъ русскаго двора. Венеція, какъ самостоятельное государство, какъ независимая и нѣкогда могущественная республика, доживала въ это время свой послѣдній блестящій вѣкъ, доживала если не такъ какъ жила, честно и грозно для сосѣдей, не такъ могущественно, какъ бывало когда-то, когда въ рукахъ ея было все Средиземное море и вся почти южная европейская торговля, а дожи ея были пышнѣе римскихъ цезарей, но за то доживала весело, роскошно. Весело жилось тамъ и баронессѣ Кринеръ, страстно влюбленной въ своего мужа. Для того чтобы набрать ему букетъ любимыхъ имъ цвѣтовъ или рѣдкихъ плодовъ, она отправлялась иногда пѣшкомъ въ очень далекія экскурсіи; она окружала мужа самымъ горячимъ и нѣжнымъ вниманіемъ; но онъ повидимому, или какъ ей казалось, холодно цѣнилъ всю эту силу любви молодой женщины, потому что нерѣдко усталый отъ исполненія своихъ дипломатическихъ и свѣтскихъ дѣлъ, онъ съ трудомъ могъ принимать ласки жены съ тою же теплотою, на которую она, по свойственной ея природѣ страстности, могла разсчитывать. Это мучило ее и увеличивало ея страсть, потому что натура ея была дѣйствительно изъ таковыхъ, что страсть, какая бы она ни была, страсть любовная или мистическая, увлеченіе человѣкомъ или идеею,—только болѣе разгорались въ ней при видѣ сопротивленія.

Такъ однажды мужъ Юліи долго откуда-то не возвращался. Встревоженная этимъ баронесса, въ ночь, разослала вездѣ гонцовъ искать своего мужа, думая, что онъ погибъ въ Брентѣ, утонулъ, убитъ,—и сама вышла искать его. Встрѣтивъ жену, Кринеръ сдѣлалъ ей за эту напрасную тревогу кроткій выговоръ, и легъ спать.

— Увы!—говорила она сама себѣ, признаваясь впослѣдствіи въ этихъ увлеченіяхъ—ему лишь бы добраться до постели и за-

снуть (какъ часто думаютъ и говорятъ жены вообще о своихъ дѣловыхъ или не особенно ласковыхъ мужьяхъ).

Въ бытность свою въ Венеціи, Юлія Криднеръ внушила къ себѣ глубокую страсть секретарю посольства, Александру Стахѣеву, въ которомъ страсть къ женѣ своего начальника усилилась потому болѣе, какъ онъ самъ признавался, что Юлія слишкомъ пламенно любила своего мужа и не находила въ немъ равной силы привязанности. Но Стахѣевъ былъ безпредѣльно преданъ своему начальнику, и, мучимый своимъ чувствомъ, боясь сознаться въ немъ передъ предметомъ своей привязанности и боясь оскорбить своего любимаго начальника, Стахѣевъ бросилъ Венецію, въ надеждѣ, что разлука и время убьютъ сами собой его страсть и спасутъ его отъ тоски.

Но черезъ годъ они снова встрѣтились въ Копенгагенѣ. Страсть Стахѣева не угасла втеченіе годичной разлуки, но только болѣе улеглась въ немъ подъ давленіемъ разсудка. Онъ видѣлъ, что въ Юліи произошла нѣкоторая перемѣна, что проявленія страсти ея къ мужу нѣсколько утратили прежнія формы вспышекъ, но въ ней замѣтно было новое проявленіе страстности, только эта страстность обратилась въ честолюбивое желаніе свѣтскихъ побѣдъ, въ желаніе покорять людей обаяніемъ красоты и блеска. Стахѣевъ рѣшился бѣжать и изъ Копенгагена; но передъ бѣгствомъ онъ оставилъ своему начальнику письмо, въ которомъ объяснялъ причину своего внезапнаго удаленія отъ посольства и прибавлялъ: «я не могу объяснить, но это вѣрно, что я ее люблю потому, что она васъ любитъ. Если бы она не такъ дорожила вами, она была бы похожа на другихъ женщинъ, и я бы пересталъ ее любить».

Мужъ имѣлъ неосторожность показать Юліи это письмо—и это, въ числѣ прочихъ мотивовъ, помогало развиваться ея не-

умѣренному тщеславію и жаждѣ властвовать надъ всѣми своей красотой.

Въ 1789 году, чувствуя, что здоровье ея нѣсколько разстроено, Юлія поѣхала для развлеченія въ Парижъ и отдалась тамъ такой неудержимой свѣтской жизни, что быстро успѣла задолжать знаменитой тогда модисткѣ m-lle Бертенъ до 20,000 франковъ. Въ Парижѣ она познакомилась съ однимъ французскимъ офицеромъ, де-Фрежвилемъ, и, очарованная его красотой и умомъ, увлеклась имъ, равно увлекла и его. Вмѣстѣ съ этимъ новымъ предметомъ страсти она путешествовала по Германіи, и, воротившись къ мужу въ Данію, все еще подъ обаяніемъ новой страсти, просила у мужа развода. Криднеръ не далъ согласія на разводъ, и Юлія осталась съ нимъ. Изъ Даніи уже она ѣздила къ матери въ Ригу, и, будучи потомъ въ Берлинѣ, окончательно разорвала связь свою съ де-Фрежвилемъ, и съ тѣхъ поръ ни разу съ нимъ не встрѣчалась. Но за то она встрѣтилась вновь съ Стахѣевымъ.

«Это была грустная и оскорбительная для обоихъ встрѣча—говорятъ біографы баронессы Криднеръ—и встрѣча эта болѣе не возобновлялась».

Въ 1792 году Криднеръ поссорилась съ мужемъ, и хотя потомъ нѣсколько и сошлась съ нимъ, но прежняго молодого счастья она уже не могла купить этимъ примиреніемъ съ мужемъ, и бывалое душевное равновѣсіе къ ней уже болѣе не возвращалось. Характеръ ея мѣнялся; начало нравственнаго перелома, подкосившаго потомъ всю ея жизнь, уже замѣчалось въ этой странной женщинѣ, хотя, конечно, никто не зналъ, что̀ изъ этого выйдетъ. Въ ней стала проявляться какая-то нервность, раздражительность, неровность характера, вспышки. Она отдалась литературнымъ занятіямъ, и этимъ только причиняла новыя

непріятности мужу: прусскій король Фридрихъ-Вильгельмъ III, при дворѣ котораго баронъ Криднеръ былъ посланникомъ отъ русскаго императора, зналъ литературныя занятія баронессы Криднеръ, подозрѣвалъ въ ней недружелюбныя къ себѣ отношенія, и сталъ холоденъ къ ея мужу. Изъ Берлина Юлія уѣхала путешествовать безъ мужа, даже не посовѣтывавшись съ нимъ, и это была ихъ послѣдняя разлука—больше они ужъ не видѣлись. Юлія посѣтила Германію, Францію, Швейцарію. По поводу ея страннаго отъѣзда мужъ написалъ ей грустное, но ласковое письмо,—и скоро послѣ того умеръ.

Юлія узнала о смерти мужа въ 1802 году, въ Парижѣ.

Въ Парижѣ началась для Криднеръ новая жизнь, болѣе богатая духовнымъ содержаніемъ, чѣмъ всѣ доселѣ проведенные ею годы въ гоньбѣ за удовольствіями, побѣдами, за блескомъ и лестью. Тутъ она вошла въ лучшій литературный кружокъ того времени: въ числѣ ея друзей стояли Шатобріанъ, Бенжаменъ-Констанъ, Бернарденъ-де-Сенъ-Пьеръ, госпожа Сталь и всѣ свѣтила французской интеллигенціи. Въ Парижѣ, охваченная иною духовною атмосферою, она успѣла кончить свой знаменитый романъ—«Валерію»—начатый еще въ Берлинѣ.

Во время этого духовнаго ея возрожденія застала ее вѣсть о смерти мужа, и глубоко поразила впечатлительное сердце этой страстной женщины, которая не знала мѣры ни въ чемъ. Она глубоко тосковала по мужѣ; она отказалась отъ свѣта, отъ друзей, отъ своего избраннаго литературнаго кружка—и переселилась въ Ліонъ.

Но время и занятія мало-по-малу заглушали рѣзкія боли сердца и тоску, которыя она переживала послѣ потери мужа, и наконецъ она снова рѣшилась отдать себя той жизни, отъ которой было такъ торжественно отказалась. Но поворотъ къ преж-

нему казался ей неловкимъ: ей стыдно было сознаться, что время побѣдило ее съ ея тоскою и рѣшимостью отказаться отъ жизни,—и она прибѣгла къ хитрости. Въ числѣ ея прежнихъ поклонниковъ былъ докторъ Ге (Gay). Этого стараго друга своего Криднеръ просила написать нѣчто похвальное относительно героини ея романа «Сидоніи», и Ге удачно исполнилъ ея просьбу, написавъ и напечатавъ элегію—ловкую рекламу къ роману, еще не вышедшему въ свѣтъ, и къ дѣйствующимъ лицамъ романа. Выдумка удалась вполнѣ. Романъ и авторъ романа сильно заинтересовали весь парижскій интеллектъ. Друзья стали упрекать прекрасную отшельницу Криднеръ за сокрытіе какъ своего таланта, такъ и самой себя въ глуши, упрашивали бросить скромность и отдать талантъ свѣту, которому онъ по праву принадлежитъ; друзья прямо просили Криднеръ явиться снова «украшать Парижъ».

И вотъ Криднеръ снова въ Парижѣ.

Знаменитый романъ готовится къ выпуску. О романѣ и объ авторѣ его говорятъ вездѣ. Но этого мало для честолюбивой женщины. Криднеръ скачетъ по Парижу, посѣщаетъ всѣхъ модистокъ этого города—законодателя модъ, упрашиваетъ ихъ выпустить въ свѣтъ разныя модныя бездѣлушки — ленты, банты, шарфы — à la Valerie. Модистки весь Парижъ наряжаютъ à la Valerie — реклама небывалая—и вдругъ является сама Valerie, романъ баронессы Криднеръ!

Понятно, какой громадный эффектъ производитъ романъ, какую громкую извѣстность разомъ пріобрѣтаетъ баронесса Криднеръ, какъ писательница!

Она переживала такимъ образомъ вновь торжественныя минуты побѣдителя, но только побѣда совершена была уже инымъ оружіемъ.

Все это, однако, вмѣстѣ съ треволненіями прежней кипучей жизни, не могло не ложиться извѣстною нравственною тяжестью и чѣмъ-то сокрушающимъ на всемъ характерѣ Криднеръ...

Но скоро она и это пережила.

Приближалась новая нравственная катастрофа въ жизни этой странной женщины, и уже катастрофа послѣдняя.

Криднеръ изъ Парижа поѣхала къ матери въ Ригу. Здѣсь-то именно и совершился переломъ въ ея жизни, вслѣдствіе одного весьма страннаго обстоятельства, хотя, можетъ быть, нравственный переломъ въ ней готовился давно, а обстоятельство это было только внѣшнимъ, механическимъ толчкомъ, ускорившимъ самый фактъ перелома. Осенью, утромъ, стоя у окна, она увидѣла проходящаго мимо оконъ одного лифляндскаго дворянина, который когда-то былъ въ числѣ ея горячихъ поклонниковъ: поровнявшись съ Криднеръ, дворянинъ поклонился ей, но тотчасъ же весь задрожалъ, упалъ на землю, и его нашли уже мертвымъ. Случай этотъ навелъ на впечатлительную душу Криднеръ такой ужасъ, что всѣ опасались за ея разсудокъ. Ей стало казаться, что вся ея прежняя жизнь—рядъ самыхъ непростительныхъ увлеченій, противныхъ природѣ и духу человѣческому, что страсть къ свѣтскому блеску, роскоши, къ тщеславнымъ побѣдамъ надъ людьми—преступна, что это прямое оскорбленіе провидѣнія. Она заперлась въ своемъ домѣ и проводила ужасные дни и ночи. Хотя потомъ это потрясеніе и миновало, однако слѣды его остались неизгладимыми на лицѣ и на всемъ характерѣ баронессы—это слѣды глубокой меланхоліи.

Тамъ же, въ Ригѣ, послѣ этого случая, она испытала и другого рода потрясеніе, какъ бы указавшее ей, какой нравственный путь должна она избрать въ своей послѣдующей жизни.

Однажды ей понадобился сапожникъ, котораго къ ней и при-

вели. Счастливая, довольная наружность этого человѣка такъ поразила тосковавшую женщину, что она спросила его:

— Вы, кажется, счастливы?

— Да, я самый счастливый человѣкъ! отвѣчалъ тотъ наивно.

Всю ночь Криднеръ думала объ этой встрѣчѣ, и не могла разрѣшить мучившаго ее вопроса: почему этотъ человѣкъ счастливъ. Наивный отвѣтъ сапожника всю ночь звучалъ у нея въ ушахъ. На утро она сама отправилась къ счастливому человѣку, чтобъ узнать источникъ его счастья. Она долго говорила съ нимъ, узнала, что онъ принадлежитъ къ сектѣ «моравскихъ братьевъ» или «гернгутеровъ», которые почему-то вообще сдѣлались предметомъ особеннаго интереса всей Европы въ началѣ нынѣшняго столѣтія, и даже нашъ Жуковскій писалъ восторженныя оды въ честь русской колоніи гернгутеровъ, находящейся въ Сарептѣ, саратовской губерніи. Эту Сарепту поэты называли даже «колоніею Христа»:

«Сарепта тихая! колонія Христа!»

Разговоръ съ гернгутеромъ подѣйствовалъ на Криднеръ успокоительно, но въ то же время произвелъ на нее такое впечатлѣніе, что она избрала послѣднимъ путемъ своей жизни—путь піетизма, дошедшаго у нея до какого-то фанатическаго увлеченія идеей добра, до крайняго, притомъ, мистицизма, который и далъ ей громадную популярность.

Красавица Криднеръ стала «мистикомъ и пророчицей».

Такъ разсказываютъ біографы этой необыкновенной женщины о нравственномъ переломѣ, совершившемся въ ея жизни.

Но едва ли не вѣрнѣе исторически объяснить эти явленія ничѣмъ другимъ, какъ естественными фазисами жизни человѣческой, которые у впечатлительныхъ и даровитыхъ натуръ сопровождаются особенно рѣзкими переломами не только въ образѣ

жизни, въ убѣжденіяхъ, но и въ самыхъ основахъ характера. Такіе переломы, какъ извѣстно, были въ жизни Игнатія Лойолы, Мартина Лютера, Магомета и другихъ историческихъ личностей— переломы, стоявшіе на рубежѣ двухъ половинъ жизни: первая половина — беззаботная или бурная молодость, работа порывистая, неровная, и послѣдняя половина — сознательная дѣятельность и борьба во имя извѣстной идеи, которой всецѣло отдается впечатлительная натура избраннаго человѣка.

Баронесса Криднеръ была изъ такихъ богатыхъ натуръ: бурная молодость, исполненная побѣдъ, торжества самолюбія, сознанія своей обаятельности и неотразимости своей красоты; но молодость проходила; наставали сороковые годы — годы вообще очень тяжелые для женщины, особенно же для такой царицы красоты, какъ Криднеръ—и вотъ гдѣ источникъ ея нравственнаго потрясенія, тоски, сомнѣній, меланхоліи и, наконецъ, послѣдняго жизненнаго перелома.

Всепобѣждающая красота прошла; литературная слава была не прочна, должна была поддерживаться нерѣдко тяжкимъ, мучительнымъ трудомъ, да и вообще дальнѣйшія побѣды на этомъ пути были сомнительны: надо было искать новыхъ побѣдъ — и она нашла ихъ въ своихъ богатыхъ нравственныхъ силахъ.

Она пошла проповѣдывать живымъ словомъ и самою жизнью, какъ и слѣдовало пророку.

Въ 1806 году, ровно какъ ей исполнилось сорокъ лѣтъ, Криднеръ отправилась въ Германію въ качествѣ сестры милосердія, чтобы ходить за ранеными во время страшныхъ тогда войнъ съ Наполеономъ I.

Во время своихъ скитаній по Германіи, Криднеръ встрѣтилась съ несчастной прусской королевой, мужа которой Наполеонъ лишилъ царства и унизилъ до послѣдней степени: на ко-

ролеву Криднеръ произвела глубокое впечатлѣніе, и между ними завязана была тѣсная дружба.

Послѣ скитанья по Германіи, Криднеръ на долго основалась въ Карльсруэ, гдѣ и поселилась въ семействѣ Юнга Штиллинга, извѣстнаго мистика, раздѣлявшаго нѣкоторыя мистическія убѣжденія Сведенборга. Въ Карльсруэ Криднеръ отдалась тихой и уединенной жизни, посвящая все свое время бѣднымъ и занятіямъ литературой. Тамъ она написала свою повѣсть «Отильда», которую и читала Гортензіи Богарне, супругѣ бывшаго короля Голландіи и матери Наполеона III. Мистическія доктрины Юнга Штиллинга не могли не увлечь экзальтированную женщину, и Криднеръ стала въ ряды его послѣдователей, все болѣе и болѣе отдаваясь мистическому направленію. Тамъ же она сошлась съ извѣстнымъ Оберлиномъ, пасторомъ въ Ban de la Koche, который имѣлъ репутацію духовидца. Мало того, она вошла въ кружокъ мистическаго шарлатана Фридриха Фонтэна, который держалъ у себя въ домѣ ясновидящую, Марію Кумринъ. Съ помощью денегъ, которыхъ Криднеръ имѣла достаточно, Фонтэнъ задумалъ основать особую мистическую колонію, купилъ для этого, на деньги Криднеръ, имѣніе, земли; но король, зная мистическое шарлатанство Фонтэна, не позволилъ слишкомъ нагло обманывать народъ въ его королевствѣ и приказалъ изгнать изъ своихъ владѣній Криднеръ въ двадцать четыре часа, что̀ и было исполнено строго.

Изгнанная Криднеръ переселилась въ Баденъ, и тамъ окончательно утвердила свою репутацію пророчицы.

Это было въ 1814 году, во время заключенія Наполеона I на островѣ Эльбѣ.

Въ это время въ Баденѣ находилась королева Гортензія вмѣстѣ съ своею пріятельницею, дѣвицею Кошлѐ. Однажды,

когда королева и дѣвица Кошлѐ, находясь у себя дома, вспоминали событія послѣднихъ лѣтъ и оплакивали паденіе Наполеона I, вдругъ входитъ Криднеръ. Появленіе ея навело ужасъ на Гортензію и ея друга: пришедшая казалась необыкновенно возбужденною и взглядъ ея показался имъ какимъ-то вдохновеннымъ, пророческимъ. Она дѣйствительно начала свои страшныя пророчества, какъ бредъ возбужденной женщины. Она говорила, что міръ ожидаютъ новыя бѣдствія, что для Европы скоро наступятъ новые ужасы, что Наполеонъ покинетъ островъ, на которомъ его заключили союзники, что будетъ новая ужасная война, что Наполеона вновь ожидаетъ болѣе страшное паденіе,— говорила все то, что́ дѣйствительно и случилось вскорѣ: бѣгство Наполеона съ острова Эльбы, новое возшествіе на престолъ, роковое Ватерлоо, новое и послѣднее его заключеніе на островѣ святой Елены. Она говорила это стоя, волосы ея были распущены: она была, говорятъ, прекрасна съ этими ужасными пророческими словами на устахъ.

Криднеръ, не смотря на то, что располагала значительными денежными средствами, жила въ это время съ самой поразительной скромностью: вмѣстѣ съ дочерью она помѣщалась въ одной комнаткѣ, и все, что она имѣла въ домѣ—это было одно распятіе. Всѣ свои средства она отдавала на нищихъ.

Въ это же время положено было начало ея сношеній съ императоромъ Александромъ Павловичемъ.

27-го ноября 1814 года она писала къ фрейлинѣ государыни дѣвицѣ Роксандѣ Стурдза, съ которою была въ дружескихъ сношеніяхъ, письмо страннаго, мистическаго содержанія. Она вновь предсказывала то, что́ должно было совершиться — бѣгство Наполеона, гибель и униженіе Франціи, окончательное паденіе наполеонидовъ. «Франція будетъ наказана... буря пора-

зить лилiи»... и т. д. — пророческія предсказанія грядущихъ событій, которыя всякій свѣтлый умъ могъ, конечно, предвидѣть отчасти и безъ дара пророчества. Письмо это было показано императору, и глубоко поразило его своимъ содержаніемъ: особенно государя поразило предсказаніе о томъ (что и случилось), что Наполеонъ покинетъ Эльбу и снова станетъ во главѣ своей арміи.

Еще болѣе поразилъ государя случай въ Гейльбронѣ, гдѣ онъ въ то время находился. Утомленный событіями послѣднихъ лѣтъ, глубоко опечаленный, сидѣлъ онъ за чтеніемъ библіи. По поводу предсказаній Крiднеръ о предстоящихъ великихъ событіяхъ въ Европѣ, императоръ вспомнилъ объ этой женщинѣ, и — какъ самъ впослѣдствіи признавался — пожелалъ, чтобъ она была въ это время съ нимъ.

— «Хотѣлъ бы я—думалъ Александръ—чтобы она была здѣсь и я могъ поговорить съ нею».

Вдругъ ему докладываютъ, что баронесса Крiднеръ тутъ и желаетъ видѣть государя. Это показалось ему необычайнымъ дѣломъ, какою-то таинственною, руководящею нитью въ его судьбѣ.

Крiднеръ дѣйствительно явилась къ императору, и глубоко потрясла его своею рѣчью, исполненною строгаго величія и необыкновенной, увлекательной страстности.

Современники говорятъ, что она и въ это время была еще прекрасна: по словамъ ея біографовъ; она была болѣе, чѣмъ красива — она была неотразимо обаятельна.

Это свидѣтельство современниковъ едва ли можно заподозрить въ преувеличеніи. Когда Крiднеръ была еще молода, то обаяніе ея красоты и какой-то внутренней силы было такъ могущественно, что когда она въ Бережѣ купила въ какой-то лавкѣ

простой носовой платокъ и повязала имъ голову, то въ тотъ же почти день всѣ платки изъ той лавки были раскуплены до одного.—Такъ было всесильно что-то, что́ она носила въ себѣ: это что-то больше чѣмъ красота.

Состарѣвшись, Криднеръ потерять своего обаянія не могла, и это обаяніе проявлялось только въ иной формѣ, не въ красотѣ лица, а въ какой-то неотвратимой привлекательности, которую испытывали на себѣ всѣ, на кого она желала дѣйствовать своимъ словомъ, примѣромъ или убѣжденіемъ. Ей и ея мистическимъ силамъ вѣрили даже люди высоко образованные. Такъ Жанлисъ говоритъ о ней: «это необыкновенная и интересная женщина, говорящая самыя странныя вещи съ спокойнымъ убѣжденіемъ!»

Но большинство положительныхъ людей не признавали ея ученія и даже смѣялись надъ ея внѣшними странностями и надъ миссіей, на которую она претендовала.

По желанію императора Александра Павловича, Криднеръ сопровождала его въ Гейдельбергъ, и тамъ окончательно покорила себѣ его волю въ сферѣ нравственныхъ воззрѣній. Біографы Криднеръ свидѣтельствуютъ, что въ это время женевецъ Эмпейтазъ, раздѣлявшій мнѣнія Криднеръ, дочь его, хорошенькая и восторженная дѣвушка, и будущій зять г-жи Криднеръ, Бернгеймъ, способствовали этой странной женщинѣ «руководствовать въ нравственномъ отношеніи главу православной церкви».

Разразилась битва при Ватерлоо. Наполеонъ погибъ, какъ предсказывала Криднеръ. Императоръ Александръ, отъѣзжая въ Парижъ, пригласилъ съ собой Криднеръ, и она послѣдовала за побѣдоноснымъ царемъ: въ Парижѣ она жила рядомъ съ дворцомъ въ Елисейскихъ поляхъ, который занятъ былъ русскимъ государемъ.

Слава Криднеръ росла необычайно. Толпы ея почитателей увеличивались съ каждымъ днемъ. «Свентянъ и насмѣшникъ Бенжаменъ Констанъ—говоритъ одинъ жизнеописатель Криднеръ—пережившій страсть свою къ госпожѣ Сталь и въ то время испытывавшій всю горечь безнадежной любви къ прекраснѣйшей женщинѣ во Франціи, искалъ утѣшенія у г-жи Криднеръ. Г-жа Рекамьё, причина его страданій, не охотно была допущена на ея молитвенныя собранія, при которыхъ часто присутствовалъ императоръ. Г-жа Криднеръ просила эту обворожительную красавицу не являться къ ней въ такомъ блескѣ красоты и не развлекать молящихся свѣтскими мыслями».

Когда потомъ императоръ Александръ задумалъ составить политическій союзъ и коалицію для поддержанія на будущее время спокойствія въ Европѣ, то подчиненіе этой коалиціи религіозному вліянію было замѣчательнымъ результатомъ сношеній его съ Криднеръ. Черновой проектъ этой коалиціи, какъ мы сказали выше, подвергнутъ былъ просмотру и одобренію Криднеръ, и самыя слова въ заголовкѣ проекта — «священный союзъ» — Криднеръ написала своею собственною рукой. Одинъ заголовокъ этого замѣчательнаго политическаго акта даетъ уже необыкновенной женщинѣ, судьбою которой мы заняты, историческое безсмертіе.

Но замѣчательно, что въ описываемое время женщиною этою, какъ свидѣтельствуютъ ея біографы, положительно не руководило ни честолюбіе, ни тщеславіе. Когда Александръ Павловичъ возвращался въ Россію и приглашалъ ее съ собою, Криднеръ не послѣдовала за государемъ, хотя это и было условлено между ними ранѣе.

Криднеръ осталась за границей и направила свою проповѣдь въ Швейцарію. Время это—самыя любопытныя и знаме-

нательныя страницы въ ея жизни. Странная популярность ея дошла до того, что едва она являлась въ какой-либо городъ или мѣстечко, какъ власти тотчасъ же обращались къ ней съ просьбою—немедленно выѣхать отъ нихъ. За нею шли толпы народа дѣйствительно какъ за пророкомъ: эти толпы, всегда жадныя слушать необыкновенную рѣчь или видѣть что-либо необычайное, а еще болѣе жадныя до ея богатыхъ раздачъ милостыни, осаждали домà, гдѣ бы она ни останавливалась; тысячи народа, какъ говорятъ ея біографы, при видѣ Криднеръ, громко требовали отъ нея пищи духовной и тѣлесной, слова и денегъ. Какъ она ни была богата, но она все раздавала бѣднымъ, такъ что для нея самой съ дочерью Жюльетою нерѣдко оставался одинъ только черный хлѣбъ, которымъ они и питались. Поведеніе ея дѣйствительно было таково, что не могло не вызывать овацій самыхъ громкихъ и не привлекать къ ней толпы народа, почему ее и изгоняли изъ городовъ, какъ нарушительницу общественнаго спокойствія. Разъ въ Карльсруэ она увидала дѣвушку, которая, сметая пыль и соръ съ лѣстницы одного дома, заливалась горькими слезами. Криднеръ спросила ее о причинѣ слезъ. Дѣвушка объяснила ей, что она прежде занимала высшее положеніе въ обществѣ, но что обстоятельства заставили ее унизиться до роли служанки, до такой постыдной работы.

— Твоя работа не постыдная, сказала ей Криднеръ: — Дѣва Марія была изъ царскаго рода, а мела сама, и Сынъ Божій часто бралъ метлу изъ рукъ матери и облегчалъ ея труды.

— И Криднеръ взяла метлу изъ рукъ плачущей дѣвушки и стала мести соръ вмѣсто нея.

Въ Швейцаріи ходила къ ней бѣдная женщина, лицо которой до того обезображено было ракомъ, что всѣ гнушались ею и никто не могъ ее видѣть. Эту женщину Криднеръ при всѣхъ со-

бравшихся къ ней слушателяхъ поцѣловала, и когда дочь замѣтила ей неосторожность этого поступка, говоря, что отъ прикосновенія къ зараженному тѣлу можно и самой заразиться, Криднеръ отвѣчала дочери:

— Не брани меня! Подумай, сколько лѣтъ бѣдняжка переносила отвращеніе себѣ подобныхъ.

Въ 1821 году Криднеръ воротилась наконецъ въ Петербургъ послѣ продолжительнаго отсутствія. Ей было уже подъ шестьдесятъ лѣтъ; но въ ней оставалась все таже молодая страстность, и тѣ же порывы, что̀ и въ молодости, руководили каждымъ ея дѣйствіемъ, каждымъ словомъ. Однако императоръ Александръ уже пересталъ желать ея присутствія, какъ желалъ прежде. Ему непріятны были толки о пасторѣ Фонтэнѣ, съ которымъ Криднеръ была въ близкихъ сношеніяхъ по своему мистическому ученію и котораго шарлатанство и разныя другія весьма предосудительнаго свойства дѣла̀ были публично обнаружены. Императору непріятна была пылкость ея рѣчей, которыя она говорила вездѣ, гдѣ представлялся случай, непріятна была настоятельность совѣтовъ вступиться за греческое дѣло, непріятны были толпы, собиравшіяся слушать эту экзальтированную старуху. Императоръ намекалъ даже ей, что онъ желалъ бы видѣть ее менѣе ревнивою.

Но она не могла быть иною, не могла молчать и бездѣйствовать—и оставила навсегда Петербургъ.

Здоровье ея было сильно разшатано аскетическою жизнью, особенными трудами и окончательно разрушено тѣмъ внутреннимъ огнемъ, на которомъ она какъ бы сама себя сожигала всю жизнь. Она стала готовиться къ смерти, избравъ для этого полное уединеніе. Друзья совѣтывали ей переселиться въ теплые края, чтобъ возстановить разрушенное здоровье, и съ этою

цѣлью княгиня Голицына, ея другъ и почитательница, увезла ее на зиму въ Крымъ, гдѣ намѣревалась даже основать особую колонію вродѣ колоніи для прибѣжища всѣхъ нуждающихся въ духовной помощи этой мистической личности.

Но утомительная дорога въ Крымъ еще болѣе надорвала здоровье старухи.

Послѣ такой неимовѣрной жизни, какую провела она, Крюднеръ скончалась 25-го декабря 1824 года, когда ей исполнилось шестьдесятъ лѣтъ. Смерть ея, говорятъ біографы, была «спокойна и безмятежна».

За нѣсколько дней до смерти она написала сыну трогательное письмо, въ которомъ вылилась какъ-бы собственная оцѣнка ея жизни и дѣятельности и которое было ея послѣднимъ словомъ и духовнымъ завѣщаніемъ:

«Добрыя дѣла мои останутся, а злыя (какъ часто принимала я за голосъ божій то, что́ было только плодомъ моего воображенія и моей гордости!) забудутся, по милости моего Господа. Мнѣ нечего предложить Богу и людямъ, кромѣ многочисленныхъ моихъ прегрѣшеній; но кровь Іисуса Христа очиститъ меня отъ всякаго грѣха».

Видно, что богатыя силы этой женщины искали исхода, и нашли его не тамъ, гдѣ отъ нихъ ожидалась реальная польза.

Не мало, такимъ образомъ, погибло у насъ великихъ женскихъ силъ и въ прошломъ, и въ нынѣшнемъ вѣкѣ.

бравшихся къ ней слушателяхъ поцѣловала, и когда дочь замѣтила ей неосторожность этого поступка, говоря, что отъ прикосновенія къ зараженному тѣлу можно и самой заразиться, Криднеръ отвѣчала дочери:

— Не брани меня! Подумай, сколько лѣтъ бѣдняжка переносила отвращеніе себѣ подобныхъ.

Въ 1821 году Криднеръ воротилась наконецъ въ Петербургъ послѣ продолжительнаго отсутствія. Ей было уже подъ шестьдесятъ лѣтъ; но въ ней оставалась все таже молодая страстность, и тѣ же порывы, что́ и въ молодости, руководили каждымъ ея дѣйствіемъ, каждымъ словомъ. Однако императоръ Александръ уже пересталъ желать ея присутствія, какъ желалъ прежде. Ему непріятны были толки о пасторѣ Фонтэнѣ, съ которымъ Криднеръ была въ близкихъ сношеніяхъ по своему мистическому ученію и котораго шарлатанство и разныя другія весьма предосудительнаго свойства дѣла̀ были публично обнаружены. Императору непріятна была пылкость ея рѣчей, которыя она говорила вездѣ, гдѣ представлялся случай, непріятна была настоятельность совѣтовъ вступиться за греческое дѣло, непріятны были толпы, собиравшіяся слушать эту экзальтированную старуху. Императоръ намекалъ даже ей, что онъ желалъ бы видѣть ее менѣе ревнивою.

Но она не могла быть иною, не могла молчать и бездѣйствовать—и оставила навсегда Петербургъ.

Здоровье ея было сильно разшатано аскетическою жизнью, особенными трудами и окончательно разрушено тѣмъ внутреннимъ огнемъ, на которомъ она какъ бы сама себя сожигала всю жизнь. Она стала готовиться къ смерти, избравъ для этого полное уединеніе. Друзья совѣтывали ей переселиться въ теплые края, чтобъ возстановить разрушенное здоровье, и съ этою

цѣлью княгиня Голицына, ея другъ и почитательница, увезла ее на зиму въ Крымъ, гдѣ намѣревалась даже основать особую колонію вродѣ колоніи для прибѣжища всѣхъ нуждающихся въ духовной помощи этой мистической личности.

Но утомительная дорога въ Крымъ еще болѣе надорвала здоровье старухи.

Послѣ такой неимовѣрной жизни, какую провела она, Крюднеръ скончалась 25-го декабря 1824 года, когда ей исполнилось шестьдесятъ лѣтъ. Смерть ея, говорятъ біографы, была «спокойна и безмятежна».

За нѣсколько дней до смерти она написала сыну трогательное письмо, въ которомъ вылилась какъ-бы собственная оцѣнка ея жизни и дѣятельности и которое было ея послѣднимъ словомъ и духовнымъ завѣщаніемъ:

«Добрыя дѣла мои останутся, а злыя (какъ часто принимала я за голосъ божій то, что́ было только плодомъ моего воображенія и моей гордости!) забудутся, по милости моего Господа. Мнѣ нечего предложить Богу и людямъ, кромѣ многочисленныхъ моихъ прегрѣшеній; но кровь Іисуса Христа очиститъ меня отъ всякаго грѣха».

Видно, что богатыя силы этой женщины искали исхода, и нашли его не тамъ, гдѣ отъ нихъ ожидалась реальная польза.

Не мало, такимъ образомъ, погибло у насъ великихъ женскихъ силъ и въ прошломъ, и въ нынѣшнемъ вѣкѣ.

II.

Графиня Наталья Александровна Зубова, урожденная Суворова.

(Суворочка).

Есть женщины, которыхъ историческое безсмертіе не вытекаетъ непосредственно изъ ихъ личной дѣятельности, которыя такъ и умерли бы, не оставивъ по себѣ никакого слѣда въ исторіи, не передавъ позднѣйшему потомству даже своего имени, какъ умираютъ милліоны людей, изъ коихъ одни, какъ поднятая вѣтромъ туча пыли, исчезаютъ безслѣдно, осаживаясь на земной поверхности и смѣшиваясь съ землею, а другіе хотя и оставляютъ на разныхъ каменныхъ, мраморныхъ и бронзовыхъ плитахъ и крестахъ свои имена, но и эти имена стираются отъ времени, вывѣтриваются отъ непогоди, выѣдаются солнцемъ, — если-бъ жизнь этихъ женщинъ не связывалась какою-либо нитью съ другою жизнью, безсмертную память которой нельзя вытравить съ страницъ исторіи ни временемъ, ни непогодью.

Къ такимъ историческимъ женскимъ именамъ принадлежитъ имя «Суворочки».

Историческое безсмертіе такихъ именъ — рефлективное безсмертіе, отраженное.

Имя «Суворочки» всѣмъ извѣстно, потому что оно освѣщено и прославлено именемъ знаменитаго полководца, и если бъ оно было само-по-себѣ такъ же ничтожно, какъ имя «Прошки», лакея того же Суворова, то исторія и въ такомъ случаѣ не могла бы обойти его: сила безсмертія историческихъ лицъ въ томъ и состоитъ, что они бросаютъ лучъ безсмертія на все, что́ стояло близко ихъ, на что падало ихъ вниманіе, на чемъ отражались ихъ симпатіи, а иногда и гнѣвъ. Тысячи примѣровъ представляетъ этому исторія: Гогартъ обезсмертилъ свою собаку, посадивъ ее рядомъ съ собою на своемъ знаменитомъ портретѣ, а Алкивіадъ — отрубивъ своей собакѣ хвостъ.

Таково могущество историческаго безсмертія.

Если бъ мы и ничего не имѣли сказать о дочери Суворова, то ужъ одно обращеніе къ ней въ письмахъ такого лица, какъ ея отецъ, въ письмахъ, писанныхъ съ Кинбурна, изъ-подъ Очакова, изъ Фокшанъ, съ рымникскаго кроваваго поля,—одно обращеніе это заноситъ имя «Суворочки» на страницы исторіи.

Въ 1774 году, Суворовъ, вскорѣ послѣ поимки Пугачова, женился на дочери князя Прозоровскаго, княжнѣ Варварѣ Ивановнѣ Прозоровской. Суворову въ это время было сорокъ-пять лѣтъ, а молодой женѣ его двадцать-четыре года.

1-го августа 1775 года у нихъ родилась дочь, которую и назвали Натальей.

Но Суворовъ не былъ счастливъ въ своей супружеской жизни, хотя первое время послѣ брака супруги жили согласно и не разлучались даже во время безпрерывныхъ мыканій Суворова изъ одного конца Россіи въ другой, отъ одной битвы къ другой.

Такъ онъ возилъ съ собою жену и маленькую Наташу-Суворочку по Кубани, когда сражался съ горцами, жилъ съ нею въ Таганрогѣ и Ростовѣ.

Послѣ, когда дѣвочкѣ исполнилось одиннадцать лѣтъ, ее помѣстили въ смольный институтъ, гдѣ она жила повидимому на нѣсколько исключительномъ положеніи, подъ непосредственнымъ попеченіемъ начальницы института, г-жи Лафонъ.

При постоянно скитальческой жизни отца, дѣвочка рѣдко видѣла его ласки; но неутомимый старикъ любилъ свое дѣтище, свою Наташу, которую называлъ «сестрицей», и какъ ни былъ поглощенъ дѣлами полководца, непрестанными битвами съ турками и поляками, не забывалъ утѣшать своего ребенка письмами, которыя вполнѣ характеризовали эту безпокойную, подвижную, вѣчно торопливую личность.

Онъ и письма своей дочери писалъ какъ-то натискомъ, наскокомъ, точно бралъ приступомъ смольный монастырь или посылалъ ультиматумъ — и снова умолкалъ на неопредѣленное время.

Но въ этихъ письмахъ, при всей ихъ шутливой формѣ, при лихорадочной торопливости, звучитъ нѣжное и глубокое чувство.

Среди кровавыхъ сценъ войны, съ полей битвъ, когда еще кругомъ лежали неубранные трупы, Суворовъ шутилъ съ дѣвочкой, разсказывая ей, какъ они дрались съ турками, дрались сильнѣе чѣмъ дѣвочки дерутся за волосы; шутя пишетъ ей, что онъ танцовалъ въ балетѣ и ушелъ съ балу съ поврежденнымъ отъ пушечной картечи бокомъ, съ «дырочкою» въ лѣвой рукѣ отъ пули, что у лошади его «мордочку отстрѣлили». Говоритъ, что ему такъ весело на морѣ, на днѣпровскомъ лиманѣ—поютъ лебеди, утки, кулики, по полямъ жаворонки, лисички, синички; въ водѣ стерлядки, осетры.

А все-таки видно, что старикъ скучаетъ по своей Наташѣ.

«Любезная Наташа! — пишетъ онъ изъ Кинбурна, 20-го декабря 1787 года, когда дѣвочкѣ было только двѣнадцать лѣтъ: —

Ты меня порадовала письмомъ отъ 9-го ноября. Больше порадуешь, какъ на тебя надѣнутъ бѣлое платье, и того больше, какъ будемъ жить вмѣстѣ. Будь благочестива, благонравна, почитай свою матушку Софью Ивановну (Лафонъ), или она тебя выдеретъ за уши да посадитъ за сухарикъ съ водицей. Желаю тебѣ благополучно препроводить святки. Христосъ Спаситель тебя соблюди новой и многіе года! Я твоего прежняго письма не читалъ за недосугомъ, отослалъ къ сестрѣ Аннѣ Васильевнѣ (сестра Суворова — замужемъ за княземъ Горчаковымъ). У насъ все были драки, сильнѣе нежели вы деретесь за волосы; а какъ вправду потанцовали, то я съ балету вышелъ: въ бокъ пушечная картечь, въ лѣвой рукѣ отъ пули дырочка, да подо мною лошади мордочку отстрѣлили; насилу часовъ черезъ восемь отпустили съ театру въ камеру. Я теперь только что поворотился, выѣздилъ близъ пяти сотъ верстъ верхомъ въ шесть дней, а не ночью. Какъ же весело на Черномъ морѣ, на лиманѣ! Вездѣ поютъ лебеди, утки, кулики, по полямъ жаворонки, синички, лисички, а въ водѣ стерлядки, осетры, пропасть! Прости, мой другъ Наташа; я чаю ты знаешь, что мнѣ моя матушка государыня пожаловала андреевскую ленту за вѣру и вѣрность. Цалую тебя, божіе благословеніе съ тобою. Отецъ твой Александръ Суворовъ».

Сколько ни старается великій полководецъ замаскировать свое глубокое чувство къ ребенку, но оно пробивается во всемъ, въ ласкѣ, въ шуткѣ, въ каждомъ штрихѣ писемъ его, и этотъ Суворовъ, которому ничего не стоило положить на мѣстѣ до десяти тысячъ человѣческихъ тѣлъ, этотъ новый Ганнибалъ плачетъ всякій разъ, когда получитъ письмо отъ дочери — плачетъ «отъ утѣхи».

Какъ ни дорога ему слава полководца, слава героя—но чувство къ дочери пересиливаетъ все: хочется ему посмотрѣть на

свою Суворочку, какова она въ бѣломъ платьицѣ, каково ростетъ.

«Милая моя Суворочка!—пишетъ онъ 16-го марта 1788 года:—Письмо твое отъ 31-го ч. генваря получилъ. Ты меня такъ имъ утѣшила, что я по обычаю моему отъ утѣхи заплакалъ. Кто-то тебя, мой другъ, учитъ такому красному слогу, что я завидую, чтобъ ты меня не перещеголяла?... О ай да Суворочка! Какъ же у насъ много полеваго салату, птицъ. жаворонковъ, стерлядей, воробьевъ, полевыхъ цвѣтовъ. Морскія волны бьютъ въ берега, какъ у васъ въ крѣпости изъ пушекъ. Отъ насъ въ Очаковѣ слышно, какъ собачки лаютъ, какъ пѣтухи поютъ. Куда бы я, матушка, посмотрѣлъ теперь тебя въ бѣломъ платьѣ, какъ то ты ростешь! Какъ увидимся, не забудь мнѣ разсказать какую пріятную исторію о твоихъ великихъ мужахъ въ древности. Поклонись отъ меня сестрицамъ (институткамъ). Благословенье божье съ тобою».

29-го мая онъ снова пишетъ изъ Кинбурна. На сценѣ опять зайчики, уточки, кулички — но тутъ же и сто турецкихъ корабликовъ, изъ которыхъ иные такіе большіе, какъ весь смольный.

«Любезная Суворочка, здравствуй. Кланяйся отъ меня всѣмъ сестрицамъ. У насъ ужъ давно поспѣли дикіе молодые зайчики, уточки, кулички... Недосугъ много писать. Около насъ 100 корабликовъ, иной такой большой какъ смольной; я на нихъ смотрю и купаюсь въ Черномъ морѣ съ солдатами: вода очень студена, и такъ солона, что барашковъ можно солить. Коли буря, то насъ выбрасываетъ волнами на берегъ. Прощай, душа моя!»

А не покидаетъ старика ни мысль о дочери, ни мысль о славѣ древнихъ героевъ: — проситъ дочь, когда увидятся, научить его, какъ ему послѣдовать великимъ героямъ древности. И тутъ же

слегка приподнимаетъ край завѣсы, за которою скрываются ужасы войны; но онъ рисуетъ эти ужасы опять-таки шутливо, ввидѣ «пѣнія» собачекъ, «лаянья» коровъ, блеянья кошекъ; корабли— это лодки, на которыхъ турокъ больше чѣмъ мухъ въ смольномъ; орудія такія большія какъ камеры, въ которыхъ спитъ его Суворочка съ другими институтками.

«Голубушка Суворочка, цалую тебя. Ты меня еще потѣшила письмомъ отъ 30-го апрѣля. На одно я вчера тебѣ отвѣчалъ. Когда Богъ дастъ, будемъ живы и здоровы и увидимся, радъ я съ тобою поговорить о старыхъ и новыхъ геройхъ, лишь научи меня, чтобъ я имъ послѣдовалъ. Ай да Суворочка, здравствуй, душа моя, въ бѣломъ платьѣ; носи на здоровье, рости велика... Ахъ, теперь то Наташа, какой же у нихъ по ночамъ въ Очаковѣ вой: собачки поютъ волками, коровы лаютъ, кошки блѣютъ, козы ревутъ, а я сплю на косѣ. Она такъ далеко въ морѣ, въ лиманѣ, какъ гуляю, слышно, что они говорятъ. Они такъ около насъ очень много, на такихъ превеликихъ лодкахъ, шесты большіе къ облакамъ, полотны на нихъ на версту. Видно, какъ табакъ курятъ, пѣсни поютъ заунывныя. На иной лодкѣ ихъ больше, чѣмъ у васъ во всемъ смольномъ мухъ: красненькіе, зелененькіе, синенькіе, сѣренькіе. Оружія у нихъ такія большія, какъ камера, гдѣ ты спишь съ сестрицами. Божіе благословеніе съ тобою».

По взятіи Очакова, Суворовъ ѣдетъ въ Петербургъ на свиданье съ своею Суворочкой, которой уже четырнадцатый годъ.

Можно себѣ представить, какъ онъ велъ себя въ институтѣ, съ «сестрицами» и съ своею «Суворочкою»—шутки и каламбуры нигдѣ его не покидаютъ. И можно себѣ представить, какъ хохотали молоденькія институтки при видѣ проказъ великаго полководца.

Въ апрѣлѣ 1789 года онъ снова пишетъ своей дочери съ дороги. Черезъ Кіевъ онъ скачетъ въ Яссы, и съ дороги шлетъ привѣтъ своей любимицѣ.

Въ августѣ онъ уже въ Берладѣ, и шлетъ дочери письмо, наполненное извѣстіями о поющихъ стрепетахъ, о летающихъ зайцахъ, о прыгающихъ скворцахъ, о томъ, какъ онъ самъ кормитъ изо рта молоденькаго скворца, о томъ, что пишетъ къ ней орлинымъ перомъ—и опять желѣзныя кегли, свинцовый горохъ, а горохъ такой, что если въ глазъ попадетъ, то и лобъ прошибетъ.

И опять хочется старику видѣться съ своей Наташей.

«Суворочка душа моя, здравствуй!... Поцалуй за меня сестрицъ. У насъ стрепеты поютъ, зайцы летятъ, скворцы прыгаютъ на воздухѣ по возрастамъ: я одного поймалъ изъ гнѣзда, кормили изъ роту, а онъ и ушелъ домой. Поспѣли въ лѣсу грецкіе да волоцкіе орѣхи. Пиши ко мнѣ изрѣдка. Хоть мнѣ недосугъ, да я буду твои письмы читать. Молись Богу, чтобъ мы съ тобой увидѣлись. Я пишу къ тебѣ орлинымъ перомъ; у меня одинъ живетъ, ѣстъ изъ рукъ. Помнишь, послѣ того ужъ я ни разу не танцовалъ. Прыгаемъ на конькахъ, играемъ такими большими кеглями желѣзными, на силу подымешь, да свинцовымъ горохомъ: коли въ глазъ попадетъ, такъ и лобъ прошибетъ. Прислалъ бы къ тебѣ полевыхъ цвѣтковъ, очень хороши, да дорогой высохнутъ. Прости, голубушка сестрица, Христосъ Спаситель съ тобою».

Слѣдующее затѣмъ письмо отъ 11 (22) сентября 1769 года Суворовъ пишетъ съ страшнаго поля рымникской побѣды, говоритъ о томъ, какъ 5000 турецкихъ труповъ легло на мѣстѣ, перечисляетъ свои трофеи, плѣнныхъ и пр.

Вскорѣ затѣмъ онъ уже обращается къ своей дочѣ какъ къ «графинѣ двухъ имперій» (comtesse des deux empires), потому что за рымникскую побѣду онъ пожалованъ былъ графомъ и россійской и австрійской имперій. Говоритъ, что ему, точно Александру Македонскому, императрица прислала рескриптъ на полулистѣ,—и за что же?—«за доброе сердце Суворочкина папаши»...

«Comtesse des deux empires, любезная Наташа Суворочка. A cela ай да, надобно всегда тебѣ только благочестіе, благонравіе, добродѣтель. Скажи Софьѣ Ивановнѣ и сестрицамъ, у меня горячка въ мозгу, да кто и выдержитъ? Слышала, сестрица душа моя, еще де ma magnanime mère рескриптъ на полулистѣ, будто Александру Македонскому, знаки св. Андрея, тысячь въ пятьдесятъ, да выше всего, голубушка, первой классъ св. Георгія. Вотъ каковъ твой папенька за доброе сердце! Чуть право отъ радости не умеръ! Божіе благословеніе съ тобою». И уже подписывается не просто «Суворовъ», а «графъ Александръ Суворовъ-Рымникскій».

Въ письмѣ отъ 3-го ноября опять шутки на первомъ планѣ: козочки, тетёрки, чижики... Но старикъ тоскуетъ по дочери—«тошно» ему. Онъ зоветъ къ себѣ всѣхъ институтокъ, и самъ бы полетѣлъ въ смольный посмотрѣть на свою любимицу, да крыльевъ нѣтъ.

«Ай да любезная сестрица!... У меня козочки, гуси, утки, индѣйки, пѣтухи, тетёрки, зайцы, чижекъ умеръ; я ихъ выпустилъ домой. У насъ еще листки не упали и зеленая трава. Гостинцевъ много: наливныя яблоки, дули, персики, винограду на зиму занасъ. Сестрицы, пріѣзжайте ко мнѣ, есть чѣмъ подчивать: и гривенники и червонцы есть. Что хорошаго, душа моя сестрица? мнѣ очень тошно; я ужъ отъ тебя и не помню когда писемъ не видалъ. Мнѣ теперь досугъ, я бы ихъ читать сталъ. Знаешь,

что ты мнѣ мила: полетѣлъ бы въ сильной на тебя посмотрѣть, да крыльевъ нѣтъ. Куда право какая, еще тебя ждать 16 мѣсяцевъ, а тамъ пойдешь домой. А какъ же долго! Нѣтъ уже не долго; привози сама гостинцу, я для тебя сдѣлаю балъ... Цалую тебя, душа моя»...

Въ декабрѣ того же года онъ пишетъ къ дочери серьезное письмо и притомъ на нѣмецкомъ языкѣ; называетъ ее «графиней и имперской графиней» (Gräfin und Reichsgräfin Наташа Суворочка)—«почтительнѣйше благодаритъ ея сіятельство за письма»...

Но тутъ же у него невольно прорывается глубокое чувство: онъ говоритъ, что военные дѣла на время пріостановились, а иначе онъ не читалъ бы писемъ дочери,—«ибо они бы мнѣ помѣшали ради моей нѣжности къ тебѣ».

«Графиня и имперская графиня Наташа Суворочка. Поцалуй всѣхъ моихъ сестрицъ. Благодарю почтительнѣйше ваше сіятельство за письма ваши отъ 14-го іюня и ноября, и благодарю Бога за сохраненіе твоего, столь мнѣ дорогаго здоровья попеченіями несравненной твоей матери Софьи Ивановны; осчастливь ее за то Всемогущій! Дѣла наши пріостановились. Иначе я не читалъ бы твоихъ писемъ, ибо они бы мнѣ помѣшали ради моей нѣжности къ тебѣ. У насъ здѣсь московская зима, и я прихожу изъ церкви совсѣмъ замерзшій. Съ полнымъ удовольствіемъ провелъ я нѣсколько дней въ Яссахъ, и тамъ былъ награжденъ одною изъ драгоцѣннѣйшихъ шпагъ»... Потомъ вдругъ бросаетъ этотъ солидный нѣмецкій тонъ, и оканчиваетъ письмо порусски: «Ну полно, душа моя сестрица, ужъ я очень серіозенъ. Ай да какъ миръ, такъ я пріѣду съ тобой потанцовать, а коли зарѣзвишься, то пусть тебя Софья Ивановна изволитъ приказать высѣчь. Богъ дастъ, какъ пройдетъ 15 мѣсяцевъ, то ты пойдешь домой, а мнѣ будетъ очень весело. Черезъ годъ я

эти дни буду по ариѳметикѣ считать.... Какія у насъ здѣсь землятрясенія: на меня однажды чуть печь не упала, такъ что я вспрыгнулъ. Цалую тебя, любезная сестрица Суворочка».

Суворочка однако быстро ростетъ. Ей ужъ пятнадцать лѣтъ. Ужъ она умѣетъ, какъ утверждаетъ Суворовъ, «разсуждать, располагать, намѣрять, рѣшать, утверждать», — а старикъ все продолжаетъ съ нею проказничать.

«И я, любезная сестрица Суворочка — говоритъ онъ въ 1790 году — былъ тожъ въ высокой скукѣ, да и такой чорной какъ у старцевъ кавалерскія робронды. Ты меня своимъ крайнимъ письмомъ отъ 17 апрѣля такъ утѣшила, что у меня и теперь изъ глазъ течетъ. Охъ, какъ же я радъ, сестрица, что Софья Ивановна слава Богу. Куды какъ она умна, что здорова! Поцѣлуй ей за меня ручки. Вотъ еще, душа моя, по твоему письму, ты ужъ умѣешь разсуждать, располагать, намѣрять, рѣшать, утверждать, въ благочестіи, благонравіи, добродушіи и просвѣщеніи отъ науки: знать, тебя Софья Ивановна много хорошо сѣчетъ.... Здравствуйте, мое солнце, мои звѣзды сестрицы. У насъ въ полѣ и въ лѣсу дикая петрушка, постарнакъ, свекла, морковь, салаты, трава зеленая, спаржи, и инаго очень много. Великія овощи еще не поспѣли и фрукты. Гуси маленькіе ай да такіе выросли большіе! Караси бѣлые больше скрыпки, стрепеты да дунайскія стерляди, и овечье толстое молоко. Прости, сестрица Суворочка»...

Слѣдующее письмо, 21-го августа, намекаетъ Суворочкѣ на страшную битву съ турками.

«Ma chère soeur!... Въ ильинъ и на другой день мы были въ трапезной съ турками. Ай да ахъ, какъ же мы подчивались, играли, бросали свинцовымъ, большимъ горохомъ, да желѣзными [illegible] въ твою голову величины. У насъ были такія длинныя

булавки и ножницы, кривыя, прямыя, и рука не попадайся, тотъ часъ отрѣжутъ, хоть и голову. Ну полно съ тебя, завралась. Кончилось иллюминаціей. фейерверкомъ. Съ праздника турки ушли, ой далеко, Богу молиться по своему. И только, больше нѣтъ ничего»...

Выдержавъ страшную тифозную горячку, старикъ снова развлекаетъ свою дочь шутками:

«Душа моя сестрица Суворочка... У насъ сей ночи былъ большой громъ, и случаются малыя землетрясенія. Охъ какая жъ у меня была горячка: такъ безъ памяти и упаду на траву, и по всему тѣлу все пятна. Теперь очень здоровъ. Дичины, фруктовъ очень много, рыбы пропасть, такой у васъ нѣтъ, въ прудахъ, озерахъ, рѣкахъ, и на Дунаѣ, дикихъ свиней, козъ, цыплятъ, телятъ, гусятъ, утятъ, яблоковъ, грушъ, винограду. Орѣхи грецкіе, волоцкіе поспѣли, съ кофеемъ пьемъ буйвольное и овечье молоко. Лебеди, тетеревы, куропатки живые такіе, жирные. Синички ко мнѣ въ спальню летаютъ. Знаешь рой пчелиной, у меня одинъ рой отпустилъ четыре роя. Будь благочестива, благонравна и здорова»...

Но одно письмо, начало котораго отрѣзано, писанное пофранцузски, не имѣетъ почти ни одной шутки. Это—наставленіе дочери, потому что она уже взрослая дѣвушка.

«Сберегай въ себѣ природную невинность, когда напослѣдокъ окончится твое ученіе. На счетъ судьбы своей предай себя вполнѣ промыслу Всемогущаго, и, насколько позволитъ тебѣ твое положеніе, будь непререкаемо вѣрна великой монархинѣ. Я ея солдатъ, я умираю за мое отечество; чѣмъ выше возводитъ меня милость ея, тѣмъ слаже пожертвовать мнѣ собою для нея. Смѣлымъ шагомъ приближаюсь къ могилѣ: совѣсть моя не запятнана. Мнѣ шестьдесятъ лѣтъ, тѣло мое изувѣчено ранами, и Богъ остав-

ляетъ меня жить для блага государства. Къ отвѣту за то я долженъ буду и не замедлю явиться передъ великое его судилище. Вотъ сколько разглагольствованій, моя обожаемая Суворочка. Въ эту минуту я забываю, что я ничтожный прахъ и снова обращусь во прахъ. Нѣтъ, милая сестрица, я больше не видалъ Золотухина (онъ погибъ на штурмѣ Измаила—а за него Суворовъ прочилъ свою Наташу!): съ письмомъ твоимъ онъ, можетъ быть, блуждаетъ вокругъ скалъ обширнаго и бурнаго моря. Деньги, данныя на гостинцы, ты могла бы употребить на фортепіаны, если Софья Ивановна прикажетъ. Да, душа моя, тебѣ пойти будетъ домой. Тогда, коли живъ буду, я тебѣ куплю очень лутче съ яблоками и французскіе конфекты. Я больше живу, голубушка сестрица, на форпостахъ, коли grande dévotion не мѣшаетъ, какъ прошлаго году, а въ этомъ еще не играли свинцовымъ горохомъ. Прости, матушка»...

Суворочка наконецъ кончила курсъ въ смольномъ, и 3-го марта 1791 года пожалована во фрейлины. Императрица взяла ее во дворецъ и помѣстила въ своей уборной.

Но дочь Суворова не долго оставалась во дворцѣ. Оригинальный старикъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, вызвалъ изъ вологодской деревни свою сестру Марью Олешеву, взялъ Наташу изъ дворца и помѣстилъ ее въ собственномъ домѣ, на итальянской улицѣ, подъ попеченіемъ тетки.

Отчасти это обстоятельство и послужило началомъ холодности императрицы: рымникскаго героя послали осматривать шведскую границу.

Иногда онъ наѣзжалъ къ дочери, и конечно являлся ко двору. Холодность императрицы продолжалась. Въ дневникѣ Храповицкаго подъ 1-мъ декабря записано объ императрицѣ: «Довольны, что откланивались Суворовъ и князь Прозоровскій. Ils sont mieux

à leurs places. Я сказалъ, что уборная не велика. Усмѣхнулись. «Oui, cette chambre est trop petite».

Къ этому времени принадлежатъ два письма къ Суворочкѣ изъ Финляндіи.

«Душа моя Наташа—говорится въ одномъ изъ нихъ—божіе благословеніе съ тобою! Будь благочестива, благонравна и въ праздности не будь. Благодарю тебя за письмо съ дядюшкою. Тетушкѣ кланяйся. Какъ будто мое сердце я у тебя покинулъ. Ай да, здѣсь у насъ великое катанье на водѣ, въ лѣсу, на каменныхъ горахъ, и много очень хорошихъ вещей: рыбы, дикихъ птицъ, цвѣтовъ, маленькихъ цыплятъ — жаль! Какъ нашъ колдунъ (Берръ) пріѣхалъ къ намъ въ гости, то и время теперь хорошее: поютъ ласточки, соловьи и много птицъ. Мы вчера кушали на острову, завтра хочемъ плавать въ нѣмецкую обѣдню, а тамъ пойдемъ далеко. Я тебя буду вездѣ за глаза цаловать... Какъ пойдешь куда гулять, и придешь назадъ домой, то помни меня, какъ я тебя помню!»

Другое письмо заключаетъ въ себѣ наставленіе, какъ Суворочкѣ вести себя при дворѣ. Письмо писано пофранцузски.

«Богиня невинности да охраняетъ тебя всегда. Положеніе твое перемѣняется. Помни, что дозволеніе свободно обращаться съ собою порождаетъ пренебреженіе. Берегись этого. Пріучайся къ естественной вѣжливости, избѣгай людей, любящихъ блистать остроуміемъ: по большей части это люди извращенныхъ нравовъ. Будь сурова съ мужчинами и говори съ ними не много; а когда они станутъ съ тобой заговаривать, отвѣчай на похвалы ихъ скромнымъ молчаніемъ. Надѣйся на провидѣніе! Оно не замедлитъ упрочить судьбу твою... Я за это отвѣчаю. Когда будешь въ придворныхъ собраніяхъ, и если случится, что тебя обступятъ старики, покажи видъ, что хочешь поцѣловать у нихъ руку, но

своей не давай. Это князь, И. И. Шуваловъ, графы Салтыковы, старики Нарышкины, старый князь Вяземскій, также графъ Безбородко, Завадовскій, гофмейстеры, старый графъ Чернышевъ и другіе».

Когда Суворочка стала невѣстой и одинъ «молодецъ» присватался къ ней, Суворовъ преподалъ дочери такой стихотворный совѣтъ (изъ Польши):

Увѣдомляю симъ тебя, моя Наташа:
Костюшка злой въ рукахъ; взяла вотъ такъ-то наша!
Я жъ веселъ и здоровъ, но лишь не много лихъ,
Тобою что презрѣнъ мной избранный женихъ.
Когда любовь твоя велика есть къ отцу,
Послушай старика, дай руку молодцу.
Но впрочемъ никакихъ не слушай, другъ мой, вздоровъ.
Отецъ твой Александръ графъ Рымникскій-Суворовъ.

Дочь на это отвѣчала тоже стихами:

Для дочери отецъ на свѣтѣ всѣхъ святѣй,
Для сердца же ея любезнѣй и милѣй—
Дать руку для отца, жить съ мужемъ по неволѣ,
И графска дочь ничто—ея крестьянка болѣ.
Что̀ можетъ въ старости отцу утѣхой быть?
Печальный вздохъ дѣтей, иль имъ въ веселье жить?
Все въ свѣтѣ пустяки, богатство, честь и слава:
Гдѣ нѣтъ согласія, тамъ смертная отрава;
Гдѣ жъ царствуетъ любовь, тамъ тысячи отрадъ,
И нищій мнитъ въ любви, что онъ, какъ Крезъ, богатъ.

Надо предполагать, что здѣсь Суворовъ подъ «молодцомъ» разумѣетъ кого-либо изъ тѣхъ, которыхъ не сама дѣвушка избрала, и оттого она отказывается отъ рекомендуемаго отцомъ жениха.

Но у нея былъ на примѣтѣ другой молодецъ—это графъ Николай Александровичъ Зубовъ, котораго тоже Суворовъ зналъ какъ храбраго и распорядительнаго офицера.

Въ это время, по взятіи Варшавы и Косцюшки, Суворовъ имѣлъ торжественный пріемъ въ Петербургѣ. Въ это же время и состоялась свадьба его дочери съ графомъ Зубовымъ.

Съ этой поры характеръ писемъ отца къ дочери нѣсколько измѣняется: Суворовъ попрежнему ласковъ съ дочерью, но уже не называетъ ее Суворочкой—она потеряла это славное имя; иногда продолжаетъ старикъ шутить въ письмахъ, но уже рѣже—герой чувствуетъ, что тѣло его разбито, изможжено, что пора ему перейти въ ряды знаменитыхъ мертвецовъ.

Но онъ все еще тотъ же неутомимый Суворовъ.

«О Наташа!—пишетъ онъ съ похода:—Коли бъ ты здѣсь ѣхала, то бы такъ и плавала въ грязи, какъ въ пруду, сплошъ версты двѣ-три на одинъ часъ. 19 ч. марта въ Таршанѣ. Кривы строки, свѣча очень темна, на скамейкѣ. Также ночью много напугались: великой дождь, громъ, молнія, лошади потеряли глаза, увезли въ пустую степь чрезвычайно далеко; ихъ изъ грязи люди таскали; повозки такъ насъ качаютъ, какъ въ колыбелѣ. Мой очень покорный поклонъ: графу твоему мущинѣ, бабушкѣ, дядюшкѣ, тетушкѣ, Аркадію (сынъ Суворова) и всѣмъ нашимъ роднымъ и нероднымъ знакомымъ, и всѣмъ нашимъ пріятелямъ»...

Другое письмо, изъ-за Чернигова, отъ 17-го марта, ограничивается словами: «тепло, дождь, а колѣса по ступицу».

Изъ Кіева, отъ 20-го марта, 1796 года, все письмо состоитъ изъ двухъ словъ: «Великая грязь».

Въ этомъ году скончалась императрица.

Отецъ Суворочки въ опалѣ. Онъ живетъ въ селѣ Кончанскомъ, звонитъ на колокольнѣ, читаетъ въ церкви вмѣсто дьячка, поетъ, играетъ съ деревенскими ребятишками въ бабки. Наташа рѣдко получаетъ отъ него письма.

Почти черезъ годъ Суворовъ снова шлетъ коротенькій привѣтъ Наташѣ уже изъ Италіи: «Любезная Наташа! За письмо тебя цалую, здравствуй съ дѣтьми, благословеніе божіе съ вами!»

Такой же коротенькій привѣтъ изъ Тортона къ «сестрицѣ» Наташѣ: «Сестрица Наташа! твое письмо я получилъ въ Тортонѣ. Христосъ воскресе! Цалую тебя съ дѣтьми».

Въ дѣловыхъ письмахъ къ ея мужу онъ также постоянно дѣлаетъ приписки, относящіяся къ Наташѣ: или — «любезной Наташѣ божіе благословеніе», или—«поцѣлуйте за меня любезную Наташу», или—«Наташа! одинъ разъ моя карета такъ катилась бокомъ, бокомъ и чуть гулять не пошла въ пропасть», или наконецъ—«Наташа! сего дня вторникъ страстной недѣли; отъ вербнаго воскресенья я буду кушать послѣ завтра. Лѣвою ногою очень храмлю; она къ качелямъ не поспѣетъ».

Когда, въ 1797 году, Суворочка родила великому полководцу перваго внучка, Александра, Суворовъ пишетъ уже изъ ссылки, изъ Кобрина: «Вы меня потѣшили тѣмъ, чего не имѣлъ близъ семидесяти лѣтъ: читая дрожалъ.... Наташа, привези графа Александра Николаевича (это новорожденнаго-то!) ко мнѣ въ гости, а онъ пусть о томъ попроситъ своего батюшку, твоего мущину».

Когда больной и обиженный герой задумалъ удалиться въ монастырь, въ Нилову пустынь и ходатайствовалъ у императора Павла объ утвержденіи духовнаго завѣщанія, государь, между прочимъ, въ рескриптѣ отъ 2-го октября 1798 года, объявилъ, что назначаемыя графинѣ Зубовой, купленныя Суворовымъ деревни и брильянты утверждаются за нею.

Послѣднее письмо Суворова къ дочери относятъ къ марту 1800 года. Въ письмѣ этомъ недужный старикъ говоритъ своей

Наташѣ, что посылаетъ ей свое благословеніе, и прибавляетъ: «Я одной ногой изъ гроба выхожу. Цалую тебя».

Но черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ уже обѣими ногами лежалъ въ гробѣ: 6-го мая, едва началось XIX столѣтіе, великаго старика не стало. Дочь не могла быть при его кончинѣ, потому что, по случаю беременности, должна была оставаться въ Москвѣ.

Остальная жизнь графини Зубовой, бывшей Суворочки, не имѣетъ уже историческаго интереса: интересъ этотъ умеръ вмѣстѣ съ ея великимъ отцомъ и историческая миссія Суворочки кончилась.

Дочь Суворова скончалась въ 1844 году, на семидесятомъ году жизни.

III.

Марья Алексѣевна Поспѣлова.

(Муза рѣчки Клязьмы).

Въ свое время о юной Поспѣловой много говорили и писали. Ею интересовались и искали знакомства съ нею наши умственныя свѣтила конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка, и тогдашніе поэты въ стихахъ оплакали ея раннюю смерть.

Поспѣлова — это самородокъ, какіе иногда появлялись на Руси и къ которымъ всегда, по исключительности этого явленія, лежали симпатіи общества въ большей или меньшей степени.

Но, какъ всегда бываетъ, самородокъ, отысканный людьми въ кучѣ щебня и мусора, скоро переставалъ быть самородкомъ, потому что его шлифовали, переливали въ извѣстную форму, чеканили изъ него рубли и гривенники.

Такъ было и съ Ломоносовымъ, и въ послѣднее время съ Кольцовымъ, Никитинымъ.

Такъ было и съ Поспѣловой.

Къ ея судьбѣ когда-то относили сантиментальный стихъ Жуковскаго:

Какъ часто рѣдкій перлъ, волнами сокровенный,
Въ бездонной пропасти сіяетъ красотой!

Какъ часто лилія цвѣтетъ уединенно —
Въ пустынномъ воздухѣ теряя запахъ свой.

«Разительна сія мысль поэта — поясняли съ своей стороны панегиристы Поспѣловой—и живо представляетъ удѣлъ тѣхъ, которыхъ дары могли быть славою отечества, свойства души — прелестію обществъ, и жизнь—благомъ для свѣта; но коихъ дни, какъ цвѣты, кратковременны, и скрываются въ безвѣстности уединенія, какъ лилія въ пустынѣ, какъ перлъ въ океанѣ.

«Такъ угасла и жизнь Поспѣловой».

Поспѣлова составляетъ какъ-бы запоздалое явленіе умственной жизни второй половины прошлаго вѣка.

Родилась она въ бѣдномъ чиновничьемъ семействѣ, и потому не могла расчитывать ни на воспитаніе въ смольномъ монастырѣ, куда поступали въ то время дочери большею частью знатныхъ и старинныхъ дворянъ и откуда выносили исключительно свѣтское направленіе, ни на обстоятельное воспитаніе дома, воспитаніе, которое въ свое время подарило обществу нѣсколько женскихъ личностей, далеко оставившихъ за собою воспитанницъ института.

Поспѣлова сама себя называла «неученою и неопытною воспитанницею природы».

Другого воспитателя кромѣ природы она и не могла имѣть: пять братьевъ и четыре сестры Поспѣловой требовали отъ отца-чиновника не мало корму, платья и обуви, и ему было не до воспитанія самородки-дѣвочки, которая «возрастала въ углу маленькаго домика», сама себя образовывая, «сама пріуготовляя блестящую стезю своему имени», какъ выражались ея восхвалители. Но сама Поспѣлова съ большимъ сочувствіемъ отзывается объ отцѣ, о его нѣжности, которая дѣлала ихъ всѣхъ счастливыми.

Отецъ кое-какъ успѣвалъ доставать для своей любознательной дѣвочки нѣкоторыя книги, и она, читая съ сестрами все, что попадалось подъ руку, разговаривая о прочитанномъ, пріобрѣтая нѣкоторыя свѣдѣнія въ исторіи и литературѣ, сама начала дѣлать попытки къ выраженію своихъ творческихъ стремленій, хотя и незнакома была сначала даже съ рутинными механическими пріемами стихотворства, указываемыми въ школахъ.

Не имѣя ни одного учителя, она въ то же время сама научилась пофранцузски, сама подготовила себя въ музыкѣ, сама училась рисованію, что̀ ея біографы и назвали «усиліями торжествующей прилежности».

Однимъ словомъ, изъ дѣвочки выходило то, что называютъ геніальнымъ ребенкомъ, чудомъ природы, а тогдашніе восхвалители Поспѣловой назвали это явленіе чуть не нравственнымъ уродствомъ, аномаліей—«отступленіемъ природы».

Скоро ея семейство лишилось и послѣдней поддержки: отецъ Поспѣловой умеръ.

Вдовѣ-матери удалось выдать замужъ трехъ старшихъ сестеръ Поспѣловой, а «прелестное дитя, Марія, меньшая дочь, утѣшала семейство опытами въ словесности».

Опыты эти скоро сдѣлались извѣстными.

Въ то время высшимъ и почетнѣйшимъ творчествомъ считалось сочиненіе «одъ», надъ которыми изощряли свой умъ «отцы россійской словесности» — Ломоносовъ, Державинъ и всѣ другія, менѣе крупныя литературныя свѣтила того времени. Поспѣлова, только что еще вышедшая изъ дѣтскаго возраста, тоже начала пробовать свои силы на торжественныхъ одахъ, не отказываясь и отъ другихъ стихотворныхъ и прозаическихъ опытовъ.

Произведенія дѣвочки сначала ходили по рукамъ, въ рукописяхъ, а потомъ, въ 1798 году, изданы были отдѣльною книгою, подъ заглавіемъ—«Лучшіе часы жизни моей».

Замѣчательно, что это едва ли не первый въ Россіи опытъ полнаго изданія сочиненій одного автора, а еще замѣчательнѣе то, что изданіе это явилось не въ Москвѣ и не въ Петербургѣ, а въ провинціи — во Владимирѣ-на-Клязьмѣ, въ типографіи губернскаго правленія.

Въ литературномъ мірѣ тотчасъ же заговорили объ этомъ рѣдкомъ явленіи, и знаменитый тогдашній поэтъ, князь Иванъ Михайловичъ Долгорукій, назвалъ Поспѣлову «музою рѣчки Клязьмы».

Такъ она и пошла съ тѣхъ поръ подъ именемъ «музы рѣчки Клязьмы».

По обычаю поэтовъ того времени, Поспѣлова написала оду въ честь императора Павла и послала свое произведеніе въ Петербургъ по почтѣ. Ода была принята благосклонно и сочинительницѣ пожалованъ брильянтовый перстень.

«Чиновникъ — говоритъ одинъ изъ біографовъ Поспѣловой—отправленный изъ почтамта съ симъ подаркомъ, спрашивая автора, которому долженъ доставить оный, съ изумленіемъ увидѣлъ дѣвицу, еще въ первыхъ лѣтахъ юности»!

Въ то время о Поспѣловой Москва заговорила еще болѣе. Всѣ старались видѣть молоденькую писательницу, приглашали ее къ себѣ, осыпали похвалами, и конечно портили дѣвочку.

Послѣ оды въ честь императора Павла, послѣ его смерти она написала другую похвальную оду — на восшествіе на престолъ императора Александра Павловича.

Замѣчательно, что впослѣдствіи, когда Поспѣлова уже умерла и Россія, вывернувшись изъ-подъ тяжелой пяты Напо-

леона I, высвободила изъ-подъ нея и всю порабощенную имъ Европу, въ одѣ Поспѣловой къ императору Александру найденъ былъ пророческій смыслъ, именно въ слѣдующихъ стихахъ:

Нашъ царь покрытъ щитомъ чудеснымъ:
Кто противъ стать его дерзнетъ?
Онъ громомъ воружась небеснымъ,
Адъ цѣлый подъ пятой сотретъ.
Его храня, сапфирны крилы
Божественны простерли силы...

«Такъ и сбылось—писали панегиристы Поспѣловой, убѣждаясь въ несомнѣнномъ прорицательствѣ ея стиховъ:—кто забудетъ двѣнадцатый годъ?—Александръ ополчился и спасъ Европу».

Съ тѣхъ поръ какъ о Поспѣловой заговорили, самородокъ пересталъ уже быть самородкомъ. Явились мастера, которые начали шлифовать и гранить его, и къ такимъ гранильщикамъ принадлежалъ извѣстный тогда въ Москвѣ литераторъ Подшиваловъ, который и принялъ въ свои руки развитіе «музы рѣчки Клязьмы».

Но какъ-бы ни былъ великъ удѣльный вѣсъ самородка, онъ безъ образованія далеко не пойдетъ: — и генію нужна почва, подготовка.

Такъ изъ всѣхъ самородковъ, безъ образованія, въ сущности ничего капитальнаго не вышло: самородку надо перестать быть самородкомъ, чтобъ создать что-либо безсмертное.

Подъ руководствомъ Подшивалова дѣвочка стала только литературной соперницей дѣвицъ Свиньиныхъ, дочерей сенатора Свиньина, тоже извѣстныхъ въ свое время писательницъ.

Державинъ и Карамзинъ съ своей стороны заинтересовались даровитой дѣвочкой—«владимирской стихотворицей», заставляли ее печатать свои произведенія въ Москвѣ, и она вновь издала

свои труды, въ 1801 году, подъ заглавіемъ—«Нѣкоторыя черты природы и истины, или оттѣнки мыслей и чувствъ моихъ».

Все это, даже самыя названія—такъ пахнетъ далекой, наивной стариной: въ этихъ «Чертахъ» или «Оттѣнкахъ мыслей и чувствъ моихъ» есть и стихи, и прозаическія произведенія, вродѣ «Стенаній при гробѣ друга», «Вечернихъ размышленій», «Къ солнцу», «Дружба» и т. п.

Извѣстность «клязьминской музы» растетъ все шире и шире. «И вотъ—говорятъ добродушные біографы Поспѣловой—одинъ изъ почтенныхъ московскихъ дворянъ, человѣкъ очень богатый и уже въ лѣтахъ, читавши книжку — «Лучшіе часы», любопытствовалъ видѣть автора, и, увидя—забылъ неравенство состоянія и лѣтъ, предложилъ ей руку, желая раздѣлить богатство свое со всѣмъ ея семействомъ, и обезпечить участь всѣхъ ея родныхъ».

Но почтенному жениху отказали — и «муза рѣчки Клязьмы» осталась весталкою, т. е. въ дѣвкахъ.

Въ 1803 году, замужняя сестра Поспѣловой ѣдетъ въ Петербургъ, и почитатели юной писательницы восклицаютъ, что «ангелъ утѣшитель ея, Марія, желая умѣрить печаль сестры», сопровождаетъ ее въ невиданную дотолѣ новую столицу.

Въ Петербургѣ, понятно, Поспѣлова заводитъ новыя литературныя знакомства, и пишетъ оригинальный романъ «Альманзоръ», но печатать свои произведенія уже боится, понимая всю недостаточность своего образованія, а вмѣсто того, «по совѣту учителей вкуса», старается пополнить недостатокъ своихъ знаній.

Въ 1804 году она возвращается въ Москву; но хрупкое здоровье ея не выноситъ усилій труда.

То, чего она боялась при наступленіи новаго 1800 года, настало для нея раньше чѣмъ она ожидала.

При самомъ наступленіи XIX столѣтія, именно наканунѣ 1-го генваря 1800 года, Поспѣлова, между прочимъ, писала:

«Я содрогаюсь, помышляя, что цѣлые милліоны людей, населявшихъ землю, жившихъ, наслаждавшихся жизнію и процвѣтавшихъ юностію, — за одно предъ симъ столѣтіе, — нынѣ покоятся во прахѣ. Пройдетъ нѣсколько времени, и мы подобно имъ увянемъ».

Она увяла скорѣй чѣмъ ожидала.

По возвращеніи ея изъ Петербурга въ Москву, жизнь ея приходитъ къ исходу. Является упадокъ силъ, скоротечная чахотка, позднія заботы докторовъ, даже московскихъ медицинскихъ знаменитостей Пекена, Мухина и др. и — полная безнадежность на выздоровленіе.

Въ этой безнадежности больная дѣвушка пишетъ въ Петербургъ къ сестрѣ: «Мой долгъ, мое удовольствіе утѣшать милыхъ мнѣ въ горести, даже и въ то время, когда самой нужно утѣшеніе».

Слѣдуетъ консиліумъ медицинскихъ знаменитостей — и смерть 8-го сентября 1805 года.

Юнаго поэта, недостигшаго двадцатидвухлѣтняго возраста, хоронятъ въ донскомъ монастырѣ. Гробъ его несутъ черезъ всю Москву почитатели таланта и, по обыкновенію, украшаютъ поздними цвѣтами.

На могилѣ пишутъ эпитафію:

Любовь и дружество, рыдая въ сихъ мѣстахъ,
Поспѣловой сокрыли прахъ.
Казалось, граціи ее образовали,
Но дни ея пресѣкъ неотвратимый рокъ,
И смерть похитила безсмертія вѣнокъ,
Которой музы обѣщали.

Оплакивая раннюю смерть «музы рѣчки Кляузмы», писатели цитируютъ ея произведенія и находятъ въ нихъ «умъ, природою образованный, чувствительность, отъ сердца проистекающую, задумчивую мечтательность, благоговѣніе къ Творцу и природѣ, любовь къ уединенію и мирнымъ благамъ жизни».

Въ другихъ ея произведеніяхъ находятъ, что «юная пѣвица идетъ смѣло стезею Державина»:

Темнитъ, темнитъ сіянье Норда
Красу и блескъ державъ другихъ!
Съ чела величественна, горда,
Спадаетъ дождь лучей златыхъ!
На щитъ величья опираясь,
Въ десницѣ громъ держащъ побѣдъ,
Вѣнцемъ своимъ — небесъ касаясь,
Онъ славой наполняетъ свѣтъ;
Своей почти полшара звѣздной
Порфиры сѣнію покрылъ,
Волнистыхъ океановъ бездной
Ее какъ перломъ обложилъ! и т. д.

Или въ одѣ «на разбитіе маршала Массены Суворовымъ» въ Швейцаріи Поспѣлова говоритъ о. побѣдителѣ:

Какъ буря облака — грядою
Онъ гонитъ галловъ предъ собою.

«Сіи прелестные цвѣты поэзіи и философіи возращены семьнадцатилѣтнею музой, которой даръ, еще въ неразвитіи изумляющій, смертію похищенъ отъ отечества на двадцать-второмъ году отъ жизни, и гробъ сокрылъ на вѣки отъ земли черты ангела, душею своему виду подобнаго».

Подобныя причитанья о рано похищаемыхъ смертью талантахъ русской литературѣ выпало на долю повторять каждый годъ.

IV.

Анна Петровна Бунина.

(Россійская Сафо).

Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія, когда русская интеллигенція начала отражать въ себѣ внѣшнія по преимуществу формы культурной жизни запада и когда, вмѣстѣ съ классицизмомъ и романтизмомъ, къ намъ привилась тогдашняя нѣсколько напускная сантиментальность; когда западная пастораль превратила нашихъ Макаровъ, гонявшихъ телятъ невѣдомо куда, въ буколическихъ пастушковъ, а Акулекъ, пасшихъ гусей и свиней, въ романтическихъ пастушекъ; когда сѣрый мужичокъ-смердъ превратился въ «поселянина», въ «пейзана», Пошехонье—въ классическую Аркадію, Парголово — въ Парнасъ; когда «россійская земля» начала «рождать россійскихъ Омировъ», «россійскихъ Пиндаровъ», «россійскихъ Виргиліевъ, Овидіевъ и Горацієвъ»,— на Руси появились и классическія женщины—«россійскія Сафо», «россійскія Коринны», «муза рѣчки Клязьмы» и другія.

Мы видѣли, что «музою рѣчки Клязьмы» была Поспѣлова.

«Россійская Сафо» явилась въ лицѣ Буниной, современницы Поспѣловой.

Бунина была дочь рязанскаго помѣщика, и, какъ не принадлежавшая къ особенно знатнымъ дворянскимъ родамъ, не попала въ смольный монастырь, чѣмъ безъ сомнѣнія и сохранила свою индивидуальность, которая, какъ мы уже говорили при обозрѣніи другихъ женскихъ личностей того времени, значительно стиралась при институтскомъ воспитаніи.

Бунина воспитывалась дома — не знала монастырскихъ стѣнъ.

Одинъ изъ прежнихъ ея біографовъ говоритъ, что дѣвушка эта, «при обыкновенномъ дворянскомъ воспитаніи, довершила оное съ необыкновеннымъ успѣхомъ собственно сама, и надѣленная дарами музъ при самомъ рожденіи своемъ, стала на первую степень нашихъ стихотворицъ. Рѣшительно можно сказать, что мы не имѣли ей подобныхъ».

Это сказано было очень давно, когда новая русская женщина еще не пробовала своихъ силъ въ общественной дѣятельности и когда силы эти могли выявляться только случайно.

Поэтому и Карамзинъ могъ сказать о Буниной: «ни одна женщина не писала у насъ такъ сильно».

На Буниной, какъ и на нѣкоторыхъ другихъ той эпохи женщинахъ, лежитъ печать нравственнаго воздѣйствія кружка Новикова, Державина, Карамзина, еще тогда только пробовавшаго силу своего творчества.

Одновременно съ тѣмъ какъ Поспѣлова начала печатать свои произведенія то въ московскихъ журналахъ, то въ провинціальной губернской типографіи Владимира-на-Клязьмѣ, въ тогдашнихъ журналахъ стали появляться и произведенія Буниной, обратившія на себя вниманіе современной интеллигенціи.

Какъ почти въ большинствѣ случаевъ, на Буниной отразилось вліяніе среды, и преимущественно мужской, въ то время,

когда молодой умъ наиболѣе воспріимчивъ: мужчина былъ и ея первымъ руководителемъ на литературномъ поприщѣ—это родной ея племянникъ, Борисъ Карловичъ Бланкъ, въ свое время извѣстный стихотворецъ.

Затѣмъ кругъ ея литературнаго знакомства значительно разширился, и она могла уже считать въ числѣ своихъ «друзей и совѣтниковъ» извѣстнаго руссофила и литератора Шишкова, бывшаго впослѣдствіи министромъ народнаго просвѣщенія, князя П. И. Шаликова, Державина, Львовыхъ, графа Хвостова.

По примѣру Поспѣловой, въ то время уже схороненной однако на кладбищѣ донского монастыря, Бунина въ 1807 году издала первое полное собраніе своихъ стихотвореній съ приличнымъ тому романтическому времени заглавіемъ — «Неопытная муза».

Но «неопытная муза» съ каждымъ годомъ завоевывала себѣ почетное мѣсто въ ряду русскихъ дѣятелей, и въ скоромъ времени стала членомъ нѣкоторыхъ тогдашнихъ ученыхъ и литературныхъ обществъ.

За ней утвердилось имя «россійской Сафо», которой Бунина старалась подражать въ своихъ псевдо-классическихъ произведеніяхъ.

По этому случаю одинъ изъ тогдашнихъ литераторовъ сказалъ о дѣвушкѣ-литераторѣ:

Я вижу Бунину — и Сафо нашихъ дней
Я вижу въ ней.

Имя это такъ за нею и осталось навсегда.

Не ограничиваясь, однако, дилеттантизмомъ въ литературѣ, Бунина солидно отнеслась къ своему призванію, и, изучая литературу запада, старалась положить твердыя основы и русской

литературѣ, какъ наукѣ, по отношенію къ современнымъ ея требованіямъ, занявшись изученіемъ законовъ русскаго стопосложенія: — этотъ вопросъ стоялъ тогда на очереди, потому что ни Жуковскаго, ни Пушкина въ ту пору еще не было.

Въ 1808 году Бунина перевела въ сокращенномъ видѣ «Правила поэзіи» аббата Баттё и къ своему изданію приложила примѣры русскаго стопосложенія.

Затѣмъ Бунина издала особое сочиненіе съ свойственнымъ тому времени дидактическимъ характеромъ — сочиненіе «О щастіи».

Между прочимъ, говоря о себѣ самой, Бунина замѣчаетъ, что счастью она «была всегда отдаленною знакомою»: этимъ она выражала, что жизнь не особенно задалась ей, и дѣйствительно многое, на что она имѣла бы полное право расчитывать, отнято было у нея обстоятельствами и средою.

При всемъ томъ, имя ея изъ литературныхъ и свѣтскихъ кружковъ перешло во дворецъ, гдѣ она нашла покровителя въ императорѣ Александрѣ Павловичѣ. Государь, въ то время еще не озабоченный дѣлами всей Европы, которую ставилъ вверхъ дномъ Наполеонъ, охотно поощрялъ дарованія Буниной, награждалъ ее, отличалъ своимъ особеннымъ вниманіемъ между другими русскими женщинами, лично ему извѣстными. Бунина была принята во дворъ.

Такое же покровительство оказывала дѣвушкѣ-писательницѣ и государыня Елизавета Алексѣевна. Для нея Бунина перевела на русскій языкъ нравоучительныя и философическія «Бесѣды» Блера и на счетъ государыни предпринимала путешествіе въ Англію, гдѣ, подобно княгинѣ Дашковой, Свѣчиной и другимъ русскимъ временнымъ и постояннымъ женщинамъ-эмигранткамъ, завязала знакомство съ лучшими умами того времени.

Путешествіе Буниной имѣло и то значеніе, что она какъ-бы шла рядомъ съ Карамзинымъ, и когда тотъ прославился «Письмами русскаго путешественника», Бунина возбуждала всеобщій интересъ своими письмами съ дороги, которыя могли бы быть поставлены въ паралель съ письмами Карамзина и назваться «Письмами русской путешественницы».

Хотя слава этой женщины росла и ширилась, однако ни слава, ни общее уваженіе не скрасили ея жизни, которая была полна тревогъ, борьбы, несчастій и разочарованій, чему въ значительной степени способствовали крайняя впечатлительность и цѣльность натуры.

«Тяжко и бурно было бытіе мое! — говоритъ она въ своемъ предсмертномъ письмѣ къ родственнику. — Первые годы были исполнены душевныхъ, послѣдніе тѣлесныхъ скорбей и недуговъ. Но да благословится имя господне! Судьбы его неисповѣдимы, стези праведны: благо ми, яко смирилъ мя еси!»

Подобно Руссо, она оставила свои тайныя признанія, о которыхъ въ предсмертномъ посланіи къ Д. М. Бунину, между прочимъ, говоритъ: «Онѣ вовсе не приносятъ мнѣ особенной чести: не хочу стяжать уваженія, котораго недостойна. Кійждо отъ своихъ дѣлъ прославится и постыдится».

Къ числу особенныхъ заслугъ Буниной въ то юное для русской литературы время относили сдѣланный ею переводъ «Науки о стихотворствѣ» Буало.

Что касается до оригинальныхъ ея произведеній, то они дѣлали имя этой женщины почти такимъ же въ свое время почетнымъ, какъ имя Державина. По крайней мѣрѣ о многихъ ея сочиненіяхъ, а наиболѣе объ извѣстной стихотворной повѣсти-баснѣ «Паденіе Фаэтона» говорили, что произведеніе это «усвоивалъ

себѣ» самъ Державинъ, единовластно царившій въ свое время на Парнассѣ.

Въ «Паденіи Фаэтона» есть довольно живыя и остроумныя мѣста, какъ свѣтлые лучи самостоятельнаго таланта. Бунина уже переростаетъ въ этомъ произведеніи плаксивый и надутый романтизмъ. Между прочимъ, говоря о путешествіи бога Фаэтона по небу, въ жилище Феба, Бунина рисуетъ картину, какъ Фаэтонъ въ своемъ паденіи едва не сжегъ своими огненными конями всю вселенную. Прежде всего загорѣлись возвышенныя мѣста земной поверхности, горы, и ранѣе всѣхъ вспыхнулъ поэтическій Парнассъ.

Гора эта, по выраженію Буниной, —

Всѣхъ прежде запылала,
Всѣхъ прежде жертвою пожара стала,
Затѣмъ что съ низа до верховъ
Была завалена стихами...

Разстроенная жизнью и больная физически, Бунина, въ концѣ двадцатыхъ годовъ, составляетъ духовное завѣщаніе, которое въ свое время было опубликовано какъ замѣчательное литературное явленіе и какъ послѣднее примирительное слово сильнаго ума, подобно тому какъ въ наше время, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, напечатано было политическое духовное завѣщаніе знаменитаго Палацкаго, надѣлавшее столько шуму въ славянскомъ мірѣ.

Между прочимъ, въ завѣщаніи своемъ Бунина говоритъ:

«По соизволенію правосуднаго Бога, протекло еще четыре года и три мѣсяца болѣзненнаго моего на землѣ странствія отъ дня того, въ который, поруча душу свою единосущной троицѣ, во имя ея написала я духовное завѣщаніе. Сколь великое число событій, не возмогшихъ войти въ умъ, ни въ сердце мое,

свершилось надо мною въ теченіе сего времени! Не прозорливы очи смертнаго и всѣ пути его во тьмѣ. Ушима нашима слушаста, и не слышали; очима нашима соглядаста, и не видѣли. Витаю, гдѣ сѣни себѣ не созидала, почію, гдѣ ложа своего не стлала! Созиждимое мною не мнѣ въ упокой! Покой мой и брашна отынуду.

«Не до конца прогнѣвается Господь, ниже во вѣкъ враждуетъ. Собравый на главу мою скорбь и болѣзнь уготовалъ для ранъ моихъ елей помазанія. Велія благодать твоя, Господи! Не по беззаконію моему сотворилъ еси мнѣ, но утвердилъ надо мною милость свою. Но ты, Господи, положилъ елей въ руки четы, коей имена не были вписаны мною въ число именъ врачевателей моихъ: ты прилѣпилъ ихъ ко мнѣ сердоболіемъ и обшелъ меня состраданіемъ».

О комъ это она говоритъ, о какой «четѣ»—неизвѣстно.

«Свидѣтельствуюсь Богомъ, къ которому готовлюсь на судъ не лицепріятный — говоритъ она далѣе — что не было въ сердцѣ моемъ противу ближнихъ и кровныхъ моихъ ни злоумышленія, ни лести, ни коварства. Въ простотѣ сердца любила я ихъ; если же кого озлобляла, то просто, по безумію моему, по суетности, или запальчивости. Прошу ихъ простить меня искренно во всѣхъ обидахъ, учиненныхъ мною словомъ или дѣломъ, вѣдѣніемъ или невѣдѣніемъ, волею или неволею; подобно такъ и я ихъ искренно, съ непамятозлобіемъ, отъ чистаго сердца прощаю. Господи! кому, аще не тебѣ, Всевѣдецъ, воздамъ благодареніе за миръ и тишину души моей! Нѣтъ у меня ни враговъ, ни оскорбившихъ, ни опечалившихъ меня. Душа моя не питаетъ досады: воспоминаніе о злѣ изгладилъ въ ней, яко соніе возстающаго. Я не завидывала преуспѣянію другихъ, и не искала препнуть его; позавидовавшихъ же мнѣ и препинавшихъ путь мой съ непамятозлобіемъ прощала.

«Не судите меня, ближніе, во грѣсѣхъ моихъ, да и сами не будете судимы.

«Ослаби, остави прегрѣшенія мои, Господи, и изведи отъ тла животъ мой. Многомилостивый! въ руцѣ твои духъ мой предаю».

Любопытно письмо Буниной, при которомъ она передавала свое духовное завѣщаніе родственнику своему, Д. М. Бунину. Письмо это также было публиковано, какъ литературное достояніе своего времени.

Вотъ оно:

«Истинный другъ и благодѣтель мой! Прими искреннее благодареніе умирающей родственницы за твое простое, безхитростное и дѣятельное дружество, составлявшее въ теченіе четырехъ лѣтъ отраду и щастіе бѣдственной моей жизни. Да вознаградитъ тебя съ безпримѣрною въ добротѣ твоею супругою здѣсь и за предѣлами гроба общій нашъ отецъ, милосердый и правосудный! Я ничего болѣе не могу сдѣлать, какъ призывать на ваши главы его благословеніе...

...«Оставляю тебѣ духовное свое завѣщаніе; прошу исполнить по немъ неукоснительно и со всевозможною точностію. Сердце твое нѣжно и мягко, и я не боюсь пренебреженія. — Оставляю тебѣ мои записки. Онѣ вовсе не приносятъ мнѣ особенной чести: не хочу стяжать уваженія, котораго недостойна. Кійждо отъ своихъ дѣлъ прославится и постыдится. Хочу предстать предъ вами безъ всякихъ внѣшнихъ украшеній. Сіи тайныя записки откроютъ вамъ, почему поступки мои не всегда были сообразны между собою, и одинъ другому часто противурѣчили. Но готовясь предстать на судилище, чуждое лицепріятія, смѣло исповѣдую, что при другихъ обстоятельствахъ я была бы гораздо лучше, нежели какова нынѣ. Въ сердцѣ моемъ, по благости творческой, насаждено благое сѣмя правоты и чести, которыя

чтила я не только отъ юности моей, но и отъ самаго еще младенчества. Орудія, служившія ко вреду моему, могли бы, при лучшемъ воспитаніи, быть направлены къ единому благу. Что́ вело меня къ напастямъ и погибели? Чрезмѣрная нѣжность сердца, пылкія страсти, мечтательное воображеніе и постоянство въ избранныхъ путяхъ. Мѣняться я не могла, и не взирая на чудесные роды перехода отъ одного рода жизни къ другой, всегда въ сущности оставалась одинаковою. Тѣ же друзья, тѣ же пристрастія, тѣ же самые вкусы и то же влеченіе сердца. Сіи свойства должны обратиться въ достоинства человѣку, если онъ не получилъ превратнаго воспитанія. Я была попущена ловить дурные и хорошіе примѣры безъ указателя, который означалъ бы мѣсто для однихъ одесную, для другихъ ошую. Если Богу было угодно посѣщать меня нещастіями, то я стенала безотрадно; если въ душѣ моей возгорался какой-либо пламень, я думала: «душа моя создана пламенною—охладить ее не въ моей волѣ». Я даже не подозрѣвала свободы человѣка. Мнѣ никогда не приходило въ голову, что человѣкъ, въ особенности женщина, не должны стремиться ни къ чему иному, кромѣ исполненія своихъ обязанностей. Я знала твердо, что надлежитъ обуздывать себя тамъ, гдѣ необузданность наша можетъ повредить ближнему; никому не вредила и даже не желала зла. Симъ я думала исполнить всѣ свои обязанности. Между тѣмъ падала изъ бездны въ бездну, ввергалась изъ напасти въ напасть.

«Все сіе, мой милый и безцѣнный другъ, увидишь въ моихъ тайныхъ запискахъ. — Прочти ихъ внимательно съ милѣйшею сердцу моему и ни въ чемъ не искусившеюся твоею супругою. Когда прочтешь, вникнешь и сообразишь обстоятельства, то вручи сіи записки П. Н. С. Отецъ его былъ нѣжнымъ моимъ отцомъ, дѣйствующею пружиною моего спасенія, и вѣроятно многое со-

общилъ ему. Благословеніе всевышняго да пребудетъ на васъ. Молитесь за бѣдную душу облагодѣтельствованной вами и любящей васъ».

Письмо это было писано 4-го декабря 1827 года, а въ 1829 году Бунина умерла.

Что́ сталось съ ея записками—неизвѣстно; по крайней мѣрѣ мы ничего не знаемъ о послѣдующей судьбѣ ихъ, а между тѣмъ они безъ сомнѣнія многое объяснили бы намъ какъ въ самой жизни этой женщины, такъ и въ особенности въ отношеніяхъ ея къ другимъ лицамъ, къ своему времени и его явленіямъ.

Бунина между прочимъ указываетъ на недостатокъ правильнаго воспитанія въ ея жизни, на предоставленіе ей полной свободы «ловить» хорошіе и дурные примѣры, на недостатокъ разумнаго и нравственнаго руководства. Нѣтъ ничего удивительнаго, что въ словахъ ея слѣдуетъ видѣть только малую долю того, что́ въ дѣйствительности представляло неутѣшительнаго тогдашнее воспитаніе женщины. Если дѣло это даже въ настоящее время едва можетъ быть названо початымъ, но далеко еще не поставленнымъ такъ, какъ бы того требовала и человѣческая правда и общественное благо, то можно себѣ представить, на чемъ стояло воспитаніе женщины восемьдесятъ-девяносто лѣтъ назадъ, во времена дѣтства Буниной — вѣдь это почти цѣлое столѣтіе назадъ.

Съ другой стороны, если Буниной недоставало единственно правильно поставленнаго тогда воспитанія—институтскаго, то едва ли ей слѣдовало объ этомъ жалѣть: съуживающее значеніе его даже въ ту эпоху выказалось такъ явственно, что стань въ жизни Буниной на мѣсто Бориса Бланка г-жа Лафонъ, изъ этой женщины быть можетъ не вышло бы и того, что́ изъ нея вышло.

Въ числѣ прочихъ писателей и писательницъ своего времени Бунина попала въ знаменитую сатиру Батюшкова — «Видѣніе на берегахъ Леты».

Въ этой сатирѣ всѣмъ досталось — не одной Буниной. Обжора Крыловъ на берегу Леты является особенно забавнымъ:— онъ и въ аду спрашиваетъ себѣ пообѣдать. Сатира эта написана около 1809 года, когда литературное имя Буниной было уже очень громко, какъ и имя Крылова; но въ печати сатира эта появилась только въ 1841 году, а до того времени она, въ теченіи тридцати лѣтъ, ходила въ рукописи и жадно читалась всѣми. Бунина въ «Видѣніи» не названа по имени, а она носитъ тамъ названіе «русской Сафо», которыхъ тогда уже насчитывалось три—Бунина, Извѣкова и сочинительница драмы «Густавъ».

Вотъ что говорится въ сатирѣ о «русскихъ Сафахъ», видѣнныхъ поэтомъ въ аду, на берегу Леты — рѣки забвенія:

Тутъ Сафы русскія печальны,
Какъ бабки наши повивальны,
Несли расплаканныхъ дѣтей.
Одна—прости Богъ эту даму! —
Несла уродливую драму,
Позоръ для ада и мужей,
У коихъ сочиняютъ жены.
«Вотъ мой Густавъ, герой влюбленный!»
— «Ага!» — судья пѣвицѣ сей:
«Названья этого довольно!
Сударыня, мнѣ очень больно,
Что вы, забывъ послѣдній стыдъ,
Убили драмою Густава.
Въ рѣку, въ рѣку!» О жалкій видъ!
О тщетная поэтовъ слава!
Исчезла Сафо нашихъ дней

Съ печальной драмою своей. —
Потомъ и двѣ другія дамы
(На дамъ живыя эпиграмы)
Нырнули въ глубь туманныхъ водъ.

Но сатира сатирой—а исторія говоритъ не то: и Крыловъ не утонулъ въ Летѣ—басня его обезсмертила, и на имени Б у н и н о й все-таки покоится лучъ безсмертія.

V.

Софья Петровна Свѣчина.

Имя Свѣчиной еще такъ недавно произносилось какъ имя личности живой и дѣйствующей; личность эта еще на памяти многихъ изъ насъ возбуждала столько толковъ, столько разнородныхъ отзывовъ о своей дѣятельности; еще много осталось лицъ, которые знали Свѣчину близко, у которыхъ хранятся еще ея письма, не успѣвшія пожелтѣть отъ времени,—однимъ словомъ, все это было еще такъ недавно, что госпожу Свѣчину можно было бы поставить въ числѣ историческихъ личностей нашего времени, смотрѣть на нее какъ на достояніе исторіи еще такъ-сказать не остывшей, не ставшей исторіею мертвыхъ или исторіею въ полномъ значеніи этого слова,—если бъ Свѣчина по характеру своей дѣятельности не принадлежала исключительно чуждому для насъ, прошлому вѣку. Отъ всего историческаго образа Свѣчиной, когда она была еще жива, вѣяло уже чѣмъ-то прошлымъ, отжившимъ свое время, вѣяло этою именно историческою мертвенностью, которая называется историческимъ безсмертіемъ; а теперь, когда имя Свѣчиной отнесено такъ-сказать на великое кладбище человѣчества, стало достояніемъ исторіи, она по праву, по времени своего рожденія и по идеямъ, выраженіемъ которыхъ

служила вся ея жизнь, исключительно должна принадлежать прошлому и началу нынѣшняго вѣка.

Свѣчина умерла только въ концѣ 1858 года.

Вотъ что вскорѣ послѣ смерти этой, безспорно замѣчательной, русской женщины, писала о ней другая русская женщина, которая еще живетъ между нами и живой талантъ которой несомнѣнно даетъ и ей право на историческое безсмертіе.

«Очень недавно—говоритъ эта даровитая русская женщина, въ 1860 году—съ небольшимъ годъ, какъ она (Свѣчина) сошла въ могилу, и вотъ уже являются во Франціи два большіе тома, вмѣщающіе въ себѣ ея біографію, переписку и сочиненія, найденныя послѣ ея смерти въ ея бумагахъ. Графъ Фаллу взялъ на себя трудъ этого изданія и раздѣлилъ честь разбиранія бумагъ покойницы съ ея многочисленными друзьями, которыхъ счелъ долгомъ назвать по имени или въ предисловіи или при заглавіи отрывковъ изъ ея сочиненій. Все это свидѣтельствуетъ о необыкновенной важности, которую придаютъ жизни и дѣятельности покойной. Дѣйствительно, г-жа Свѣчина была извѣстна всему знатному, фашіонабельному, ученому и особенно богомольному Парижу; она была вліятельнымъ членомъ, почти центромъ ультрамонтанской партіи. Гостиная ея соединяла всѣхъ знаменитыхъ католиковъ, всѣхъ яростныхъ приверженцевъ папы; въ Парижѣ носился слухъ, что г-жа Свѣчина своими совѣтами, разговорами, своимъ вліяніемъ дѣйствовала на молодые таланты католической церкви, славилась своею горячею къ ней любовію, только что не доходившею до изувѣрства, и проповѣдывала всѣмъ обращеніе въ католицизмъ. Послѣ ея смерти, глубоко поразившей всѣхъ друзей римской церкви, какъ говорятъ, рѣчь шла даже о томъ, чтобы причислить ее къ лику католическихъ святыхъ».

Свѣчина родилась въ Москвѣ, 22 ноября 1782 года.

Отецъ ея былъ знаменитый въ то время санктпетербургскій генералъ-губернаторъ и одинъ изъ приближенныхъ къ императрицѣ Екатеринѣ Второй статсъ-секретарей (secrétaire intime), Петръ Соймоновъ. Это былъ человѣкъ глубоко-образованный по тому времени, знакомый съ философскими теоріями прошлаго вѣка, слѣдовательно—ярый вольтеріянецъ, на глазахъ у котораго происходили самыя крупныя событія того замѣчательнаго времени—и французская революція, и попытки какого-то новаго движенія въ передовыхъ людяхъ Россіи, и вообще все, чѣмъ ознаменовался переходъ общества отъ XVIII къ XIX вѣку.

Софья—такъ назвалъ Соймоновъ свою дочь въ честь императрицы Екатерины Алексѣевны, которая до принятія православія носила тоже имя Софіи—съ самаго ранняго дѣтства сдѣлалась предметомъ горячей заботливости умнаго отца, который ничего не жалѣлъ для ея образованія и вообще для развитія своей любимицы, оказавшейся, притомъ, очень даровитымъ ребенкомъ. Дѣвочкѣ дано было самое блестящее по тому времени воспитаніе, которое, конечно, главнымъ образомъ отразилось на знаніи языковъ, на развитіи вкуса къ изящному посредствомъ рисованія, музыки и танцевъ.

Уже въ дѣтствѣ Софья проявила зародыши будущаго своего характера и той крупной воли, которою она безспорно была съ избыткомъ надѣлена.

Нѣсколько разсказовъ изъ ея дѣтства могутъ до нѣкоторой степени обрисовать зачатки слагавшагося въ ребенкѣ характера.

Маленькой дѣвочкѣ страстно хотѣлось имѣть часы, и обладаніе часами она считала чѣмъ-то недосягаемымъ. Зная это пламенное желаніе ребенка, отецъ подарилъ ей часы, которымъ Софья обрадовалась выше всякой мѣры. Но вдругъ эта странная дѣвочка рѣшила въ своемъ умѣ слѣдующую трудную и не для

ребенка задачу: лучше часовъ, думала дѣвочка, нѣтъ ничего на свѣтѣ; отказаться отъ самаго дорогого предмета—большая побѣда надъ собой, какъ она это не разъ слышала отъ старшихъ—и вотъ маленькая Софья рѣшилась побѣдить себя. Она принесла часы къ отцу, отдала ему ихъ; тотъ понялъ мотивы, руководившіе странной дѣвочкой, спряталъ часы въ бюро,—и съ тѣхъ поръ объ этихъ часахъ у отца съ дочерью никогда не было рѣчи.

Конечно, это могли быть проблески будущей упругой воли, но могло руководить ребенкомъ и тщеславіе.

Замѣчательную волю проявила дѣвочка и въ другомъ случаѣ. У Соймонова былъ кабинетъ рѣдкостей, въ которомъ, кромѣ картинъ, статуй и прочихъ замѣчательныхъ предметовъ, находились и муміи. Для Софьи кабинетъ этотъ представлялся чѣмъ-то страшнымъ, таинственнымъ, потому что сухія муміи внушали ей ужасъ. Но она и здѣсь рѣшилась побѣдить себя: однажды дѣвочка вошла въ кабинетъ, когда тамъ никого не было, вынула мумію, обхватила ее руками, прижала къ себѣ, поцѣловала и—лишилась чувствъ. Въ этомъ положеніи засталъ ее отецъ, и только тутъ понялъ, что дѣвочка боялась мумій и хотѣла побѣдить въ себѣ чувство невольнаго ужаса.

Разсказываютъ еще одинъ случай изъ ея дѣтства, изъ котораго видно, что дѣвочка осмысленно прислушивалась ко всему, что вокругъ нея говорилось и дѣлалось, и замѣчательно своеобразно относилась къ тому, что ей западало въ умненькую головку.

Въ 1789 году Софьѣ было семь лѣтъ, когда въ Петербургѣ особенно были горячіе толки о французской революціи и о нѣкоторыхъ наиболѣе крупныхъ событіяхъ того смутнаго времени. Однажды Соймоновъ подъѣзжаетъ къ своему дому и видитъ, что онъ необыкновенно освѣщенъ. Оказалось, что это сдѣлано по приказанію семилѣтней дѣвочки.

Изумленный отецъ спросилъ ее, что за причина такого освѣщенія.

— Намъ слѣдуетъ отпраздновать взятіе Бастиліи и освобожденіе несчастныхъ арестантовъ, отвѣчала дѣвочка.

До шестнадцати лѣтъ продолжалось воспитаніе Софьи; но это было все-таки чисто французское воспитаніе, потому что о иномъ воспитаніи въ то время не понимали въ русскихъ высшихъ классахъ. Біографъ Свѣчиной, графъ Фаллу, говоритъ, что въ четырнадцать лѣтъ Софья хорошо знала понѣмецки, пофранцузски и поитальянски; прибавляетъ даже, что знала хорошо и порусски, хотя послѣднее извѣстіе очень сомнительно, такъ какъ Свѣчина во всю свою жизнь ничѣмъ не доказала своихъ познаній въ русскомъ языкѣ и всю жизнь писала, говорила и думала пофранцузски, что и неудивительно для конца XVIII и начала XIX вѣка, такъ какъ въ извѣстныхъ слояхъ русскаго общества и по настоящее время господствуетъ плохое знаніе роднаго языка, не только литературнаго, но и разговорнаго. Но взамѣнъ этого Софью учили языкамъ еврейскому и латинскому, такъ какъ тогда знаніе этихъ языковъ считалось фундаментомъ высшаго и основательнаго образованія.

Шестнадцати лѣтъ Софья представлена была ко двору и пожалована во фрейлины къ императрицѣ Маріи Федоровнѣ.

Относительно наружности молодой Свѣчиной біографы ея говорятъ, что она не была хороша собой, но прелестна своею неотразимою симпатичностью и своимъ свѣтлымъ умомъ: ея ничѣмъ не выдававшемуся лицу придавали особую красоту маленькіе, добрые голубые глаза, свѣжесть молодого лица и грація походки.

О матери Свѣчиной нѣтъ никакихъ извѣстій. Видно, что на нее не легла печать вліянія нѣжной матери.

Въ семнадцать лѣтъ, Софья, по волѣ отца, вышла замужъ за генерала Свѣчина, которому въ то время было 42 года. Есть основаніе полагать, что она выходила за него, не чувствуя къ нему никакого расположенія, а единственно изъ уваженія къ желанію отца, тѣмъ болѣе что, говорятъ, дѣвушка была неравнодушна къ одному молодому человѣку, любившему ее, но не имѣвшему на своей сторонѣ такихъ качествъ и преимуществъ, которыя бы заставили отца Софьи предпочесть его заслуженному генералу. При всемъ томъ отецъ нѣжно любилъ свою дочь, и безъ сомнѣнія не распорядился бы такъ самопроизвольно всей ея будущей жизнью, еслибъ въ самой Софьѣ проявилась такая же воля не отдавать своей руки нелюбимому человѣку, какую она проявила еще въ дѣтствѣ, возвративъ отцу самую дорогую для нея вещь или до обморока пересиливъ въ себѣ ужасъ, возбуждаемый въ ней видомъ мумій.

Но скоро послѣ свадьбы, отца Софьи постигло большое несчастіе: онъ былъ удаленъ отъ дѣлъ, высланъ въ Москву, гдѣ вскорѣ и умеръ отъ удара. Это было страшнымъ горемъ для дочери, потому что это былъ единственный человѣкъ, котораго Софья горячо любила, котораго не могла не любить за тѣ добрыя отношенія, въ какихъ онъ находился къ своей дочери съ самаго ея дѣтства. Это горе было первымъ крупнымъ горемъ въ ея молодой жизни, и оно-то заставило ее сосредоточиться въ себѣ, искать утѣшенія въ такой нравственной силѣ, которой люди не въ состояніи были дать ей.

Отсюда начало ея піэтизма, ставшаго руководящею силою всей ея, послѣдовательной до могилы, но какой-то странной жизни.

Въ то время въ Россіи, въ особенности же въ Петербургѣ и Москвѣ, находилось очень много французскихъ эмигрантовъ, и одною изъ выдающихся между ними личностей былъ кавалеръ

д'Огаръ (chevalier d'Augard), ревностный приверженецъ бурбонской династіи и еще болѣе ревностный приверженецъ католицизма. Онъ былъ въ Россіи уже на службѣ и занималъ должность императорскаго библіотекаря. Свѣчина, страстно любившая чтеніе, сошлась съ д'Огаромъ и подружилась съ нимъ. Со стороны д'Огара было первое сильное вліяніе на развитіе піэтизма въ Свѣчиной и это вліяніе прошло потомъ черезъ всю ея послѣдующую жизнь, вылившись въ опредѣленную форму—страстной приверженности къ идеямъ римской церкви.

Уже тридцать лѣтъ спустя послѣ своего знакомства съ д'Огаромъ, Свѣчина писала въ одномъ изъ своихъ писемъ: «честь введенія католицизма между русскими принадлежитъ кавалеру д'Огару. Все зависитъ отъ начала».

Но видно, что не все зависѣло отъ начала...

Скоро на жизненной дорогѣ Свѣчиной явилась другая личность, которой вліяніе оказалось еще болѣе неотразимо чѣмъ вліяніе д'Огара, и послѣдствія этого вліянія оказались уже безповоротны для всей послѣдующей жизни Свѣчиной.

Это былъ знаменитый графъ Жозефъ де-Местръ, нравственное обаяніе котораго испытывала не одна Свѣчина, но и болѣе непреклонныя личности.

Здѣсь лежитъ начало національнаго, религіознаго и политическаго ренегатства Свѣчиной.

Свѣчина дѣлается окончательно католичкой, потомъ окончательно перестаетъ быть русской и окончательно даже теряетъ симпатіи къ своей родинѣ, къ своему народу, ко всей Россіи, хотя иногда и называетъ ее своею родиной, сама впрочемъ не зная вполнѣ, какой странѣ предпочтительно отдать это дорогое названіе и связанныя съ этимъ названіемъ дорогія чувства—Россіи или Франціи.

Свѣчиной было двадцать пять лѣтъ, когда она познакомилась съ графомъ де-Местромъ и вынесла на себѣ давленіе его моральной силы.

«Въ ту пору—говоритъ графъ Фаллу—она горѣла желаніемъ учиться, была робка мыслію, весела и откровенна въ дружескомъ кружкѣ, серьезна и строга, когда отдавалась мышленію, понимала все, что было высоко, была снисходительна къ низшимъ, нѣжна и милосерда къ бѣднымъ, дружественна къ людямъ, погруженнымъ въ горе и раскаяніе. Ужъ и тогда рѣчь ея не проходила незамѣченною».

Въ это время она читала янсениста Флёри. Графъ де-Местръ, узнавъ объ этомъ, горячо возсталъ противъ этого писателя, ревниво оберегая догматы чистаго католицизма, и совѣтывалъ Свѣчиной читать критиковъ и противниковъ философскихъ и богословскихъ теорій Флёри. Свѣчина горячо ухватилась и за это чтеніе.

Въ тридцати-пяти томахъ или тетрадяхъ оставшихся послѣ нея замѣтокъ, выписокъ, личныхъ отзывовъ и соображеній, около этого времени встрѣчаются уже такіе афоризмы, ея собственные или чужіе, изъ которыхъ видно, что воля ея была уже не совсѣмъ свободна и быстро шла—если можно такъ выразиться—къ принесенію себя въ жертву другой, болѣе неподатливой волѣ и идеямъ, болѣе, по ея мнѣнію, послѣдовательнымъ. Она уже дѣлаетъ афоризмическія замѣтки во всѣхъ тетрадяхъ своихъ, замѣтки въ родѣ того, что «сомнѣваться — значитъ никогда не знать» или «не хотѣть знать» (douter c'est toujours ignorer) и т. п.

Не успѣла она перечитать всѣхъ книгъ, рекомендованныхъ ей де-Местромъ, какъ уже сдѣлалась католичкой—и Россіи съ ея народными интересами для нея не существовало уже болѣе. Между тѣмъ это было—если можно такъ сказать—такое народное время!

Наступалъ «двѣнадцатый годъ», и Свѣчина ничѣмъ повидимому не отозвалась на общее народное дѣло. Правда, она была въ числѣ знатныхъ дамъ, участвовавшихъ въ сборѣ пожертвованій на сожженную Москву, но за этими пожертвованіями она обращалась къ помощи и къ посредству находившихся въ Россіи католическихъ аббатовъ!...

Какъ отразились на Свѣчиной и на ея симпатіяхъ къ Франціи самыя событія двѣнадцатаго года, кто погибъ изъ ея родныхъ въ этой великой народной гекатомбѣ, что̀ пережила она въ это второе русское «лихолѣтье»—изъ оставшихся послѣ нея бумагъ ничего не видно.

Видно только, что и глаза ея и сердце уже исключительно смотрѣли на западъ, въ дорогой Парижъ, въ центръ католичества, а отъ Россіи сердце ея совсѣмъ отворотилось.

Когда, въ 1816 году, де-Местръ выѣхалъ изъ Россіи, выѣхала за нимъ и Свѣчина, а за собой увлекла и своего безцвѣтнаго, безвольнаго супруга. Мужъ Свѣчиной — это была дѣйствительно какая-то мутная личность, о которой ничего не было слышно и которая ничѣмъ и нигдѣ не проявляла своего человѣческаго существованія. Сорокъ лѣтъ Свѣчина таскала его за собой, или скорѣе онъ тащился за нею, бросая Россію, и жилъ за ея спиной, постоянно въ тѣни, никѣмъ невидимый и никому невѣдомый. Даже дѣтей отъ него не было у Свѣчиной.

Тройственное ренегатство Свѣчиной было громадною побѣдою для католиковъ: они хотѣли, чтобъ эта побѣда всѣмъ казалась громадною. Поселившись въ Парижѣ, она сблизилась со всѣмъ блестящимъ свѣтомъ этой столицы міра—тутъ были и государственные люди, и литераторы, и художники, и представители духовной, клерикальной аристократіи. Особенной дружбой она связана была съ герцогинею Дюрà, у которой она и позна-

комилась съ тогдашнею свѣтскою, литературною и политическою женскою знаменитостью, съ звѣздой первой величины парижскаго свѣта, съ госпожею Сталь, знакомства и сближенія съ которой Свѣчина страстно добивалась.

Вотъ съ какимъ чисто-французскимъ эффектомъ произошло это знакомство. Герцогиня Дюрà, чтобы свести двѣ женскія знаменитости, устроила у себя званый обѣдъ и пригласила госпожу Сталь и Свѣчину. Во весь обѣдъ Свѣчина упорно молчала. Госпожа Сталь, послѣ обѣда, подошла къ ней и спросила:

— Мнѣ говорили, что вы желаете со мною познакомиться: правда ли это?

— Конечно правда. Но вы знаете, что право начать разговоръ принадлежитъ королю, отвѣчала Свѣчина.

Для этого-то краснаго словца она весь обѣдъ принуждала себя молчать.

Фраза, сказанная Свѣчиною, разнеслась по Парижу, по свѣтскимъ гостинымъ, и разомъ завоевала Свѣчиной громкую извѣстность. Съ тѣхъ поръ побѣды ея слѣдовали за побѣдами, и Свѣчина сама становилась центромъ кружка, а потомъ центромъ партіи и головою цѣлой католической лиги, всѣ политическія нити которой она такъ искусно умѣла стянуть къ себѣ и крѣпко держать въ своихъ ловкихъ рукахъ до самой своей смерти. Все шло къ ней за совѣтомъ, за репутаціей, за покровительствомъ, за мѣстомъ: она была всесильна у кардиналовъ и у папы.

Въ этомъ чаду славы и силы гдѣ ужъ было ей скучать о Россіи и интересоваться муравьиною работою русскаго народа?

Въ 1818 году она, однако, воротилась въ Россію, чтобъ устроить дѣла по имѣнію, и навсегда потомъ покинуть свою родину.

Опять видно, что на Свѣчиной съ дѣтства не легло теплое вліяніе матери—для нея не существовало родины.

Впрочемъ, была у нея истинная родина, родина ума и сердца— это Франція, а самое сердце этой родины — Парижъ и католицизмъ. У нея у самой сердце превратилось въ «французское сердце»—это буквально такъ было, по ея же собственнымъ словамъ.

— Благодарю Бога отъ всего моего всецѣло французскаго сердца, говорила она однажды. (C'est avec un coeur tout français que je remercie Dieu!).

Когда въ Парижѣ ей говорили иногда, что она иностранка и многаго французскаго понять не можетъ, она огорчалась и плакала отъ всего своего «французскаго сердца».

«Русскаго сердца» въ нее не вложила ни жизнь, ни воспитаніе.

Въ Парижѣ Свѣчина пережила и страшную для нея революцію 1848 года: она уже была старушкой, и такія потрясенія были ей конечно не легки.

Прервавъ окончательно всякія умственныя и кровныя связи съ Россіею, съ ея судьбой, съ ея народомъ, Свѣчина не хотѣла однако продавать своихъ русскихъ имѣній съ крестьянами, говоря, что не хочетъ окончательно разрывать связь съ родиною, что хочетъ оставить неприкосновеннымъ свое наслѣдіе, свое русское достояніе, и что «не можетъ отказаться отъ крестьянъ, ввѣренныхъ ей провидѣніемъ!»

Это патріотическое рѣшеніе объясняютъ, впрочемъ, тѣмъ, что, продавъ свои имѣнія и крестьянъ, ввѣренныхъ ей провидѣніемъ, она во Франціи получала бы менѣе доходовъ чѣмъ въ Россіи, такъ какъ тамъ капиталъ и рента даютъ не болѣе 3—4%, а въ Россіи казенный процентъ 6% да даровыя крѣпостныя рабочія руки.

Между тѣмъ по поводу войны Россіи съ Франціею Свѣчина выражалась, можетъ быть, искренно:

— Для всѣхъ—это только война: для меня же—это междоусобная война!

Въ послѣдніе годы своей жизни она была дружна съ знаменитымъ публицистомъ и историкомъ Алексисомъ Токвилемъ и часто съ нимъ переписывалась, дѣлясь съ историкомъ своими взглядами, соображеніями, сочувствуя его историческимъ работамъ, вызывая его на откровенныя объясненія относительно его политическихъ и нравственныхъ воззрѣній, относительно задуманныхъ имъ работъ и т. п.

Вотъ одно изъ множества къ ней писемъ Токвиля, до нѣкоторой степени характеризующее отношенія его къ этой во всякомъ случаѣ замѣчательной русской женщинѣ:

Замокъ Токвиль, 1856 г. генваря 7.

.....«Спѣшу благодарить васъ за послѣднее ваше письмо, которое меня заинтересовало и тронуло; въ немъ вы высказались вполнѣ. Вы показываете такую ко мнѣ благосклонность, которую я хотѣлъ бы заслужить; дружба людей, подобныхъ вамъ, налагаетъ обязательства: за нее мало просто благодарить — ее надо оправдать.

«По мѣрѣ того какъ я подвигаюсь въ трудѣ, которымъ вы такъ любезно интересуетесь, я чувствую, что потокъ чувствъ и мыслей влечетъ меня въ сторону, противную той, куда стремятся мои современники. Я продолжаю страстно любить то, къ чему они равнодушны. Теперь, какъ и всегда, я считаю свободу первымъ благомъ въ мірѣ, какъ и всегда я вижу въ ней источникъ мужественныхъ добродѣтелей и великихъ дѣйствій. Ни спокойствіе, ни благосостояніе не замѣнятъ свободы. Между тѣмъ я вижу, что люди моего времени — говорю о людяхъ честныхъ (образъ мыслей людей другого разбора меня не интересуетъ) — примиряются легко съ другимъ порядкомъ дѣлъ. Хотѣлъ бы ду-

мать и чувствовать какъ они, но не могу: природа моя противится этому еще болѣе чѣмъ моя воля.

«Впрочемъ, не думайте, чтобы предметъ моей книги сколько-нибудь касался событій и лицъ нашего времени (книга о которой говоритъ Токвиль—это „L'Ancien Régime et la Revolution"); но вы знаете не хуже меня, что книга, самая чуждая обстоятельствамъ эпохи, заключаетъ въ своемъ направленіи нѣчто пріятное или непріятное для современниковъ. Какая бы ни была книга, это «нѣчто» составляетъ ея духъ: этимъ-то она привлекаетъ или отталкиваетъ читателей. Я слишкомъ долго заговорился о самомъ себѣ; но въ томъ виноваты вы сами: увѣряю васъ, что говорить о себѣ не моя привычка».

Изъ русскихъ Свѣчина была дружна съ извѣстною фрейлиною императрицы Елизаветы Алексѣевны — Роксандой Стурдзой. Объ этой дружбѣ свидѣтельствуютъ многочисленныя письма, равно и переписка Свѣчиной съ Александромъ Тургеневымъ о разныхъ благотворительныхъ дѣлахъ.

Свѣчина, когда еще была въ Россіи, сильно возставала противъ распространеннаго тогда въ Европѣ иллюминатства и мистицизма, господствовавшаго и при дворѣ императора Александра Павловича, который въ то время находился подъ сильнымъ нравственнымъ вліяніемъ странной мистической личности, баронессы Криднеръ, о коей мы уже говорили въ одномъ изъ предшествовавшихъ очерковъ.

Свѣчина дожила почти до нашихъ дней, почти до освобожденія крестьянъ, которыхъ она никакъ не рѣшалась ни освободить, ни продать, какъ существа, «ввѣренныя ей провидѣніемъ»: Свѣчина, какъ мы видѣли выше, скончалась въ концѣ 1858 г. послѣ тяжкой болѣзни.

Изъ всего, что́ осталось послѣ этой, безспорно крупной, исторической женской личности послѣдняго времени, видно, что это была дѣйствительно не дюжинная личность, но только далеко не реальная современная сила, а смѣсь какого-то резонерства и религіознаго педантизма съ нѣсколько сухимъ и холоднымъ сердцемъ. Тутъ сила была разбита въ мелкіе куски подъ молотомъ насильно привитой, мертвенной идеи католицизма.

Начитанность Свѣчиной была огромная. Въ ея замѣткахъ попадаются сотни выписокъ изъ всего ею прочитаннаго и передуманнаго, начиная отъ Пифагора, Ликурга, Марка-Аврелія, Бернардена де-Сенъ-Пьера, «Ночей» Юнга, проповѣдей Бурдалу, Жанлиса, Горація и кончая Жанъ-Жакомъ-Руссо, Мармонтелемъ, Лагарпомъ, Паскалемъ, Дюсисомъ, Фенелономъ, Массильономъ и госпожею Сталь. Все это пересыпано личными афоризмами, куплетцами, вродѣ слѣдующихъ резонерствующихъ стишковъ:

Bonheur et malheur sont deux frères
Qui furent toujours ennemis.
Fortune et hazard sont leurs pères
Qui furent toujours fort amis!

«Добро и зло—это два брата, которые всегда были врагами. Счастье и случай — это ихъ отцы, которые всегда были большими друзьями». Развѣ это не резонерство?

Или ея собственные афоризмы: «Une amitié serait jeune après un siècle, une passion est déjà vielle après trois mois».

Странно: дружба и дѣловая переписка съ Токвилемъ—и такія институтскія умственныя занятія.

Мало того, въ особой книгѣ, которая носитъ странное названіе — «Airelles, klukva podsnejnaia» (клюква подснѣжная)—попадаются такіе софизмы: «Есть души, которыя, подобно

ветхозавѣтнымъ жрецамъ, живутъ только жертвами, ими приносимыми».

Вся эта книга, носящая странное заглавіе «клюквы подснѣжной», и изображенное французскими буквами,—наполнена подобными, не менѣе странными замѣтками, иногда исполненными глубокаго смысла, иногда же дѣтски-наивными.

Видно, что сильный женскій умъ не нашелъ своей дороги: онъ думалъ найти ее въ склепѣ мертвыхъ идей, чуждыхъ живой, реальной работѣ человѣческой мысли.

Какъ бы то ни было, но надъ судьбой этой женщины, какъ и надъ судьбой всѣхъ русскихъ католиковъ, вродѣ іезуита Мартынова, іезуита князя Гагарина, княгини Гагариной и другихъ, — нельзя не задуматься.

Россія вправѣ сожалѣть, что Свѣчина не была ей ничѣмъ полезна.

VI.

Дѣвица Луполова.

(Параша-сибирячка).

Въ типахъ русскихъ женщинъ начала нынѣшнего столѣтія насъ не могутъ не поражать нѣкоторыя весьма замѣчательныя явленія.

Одна изъ нихъ, напримѣръ, какъ баронесса Криднеръ, своимъ личнымъ обаяніемъ, прелестью своего блестящаго ума и своею блестящею красотою увлекаетъ за собою все, что только сталкивается съ ней на жизненной дорогѣ. Когда красота ея стала проходить, у нея въ запасѣ остается еще одна надежная сила — сила ея таланта, и она, разъ явившись на литературное поприще, увлекаетъ всю интеллигенцію Парижа силою своего творчества, какъ не задолго передъ тѣмъ она увлекала все окружающее ее силою своей красоты и личнаго обаянія. Ея «Валерія» становится на-время идеаломъ и образцомъ подражанія для милліоновъ женщинъ образованной Европы, отъ ея творчества ждутъ новаго еще не сказаннаго никѣмъ слова — и вдругъ, въ то время когда Парижъ еще не успѣлъ бросить моды à la Valérie, Криднеръ отказывается отъ всего, чѣмъ свѣтла и блестяща была ея жизнь, отъ своихъ друзей, отъ обаянія славы, и становится нищимъ про-

рокомъ, ѣстъ чорный хлѣбъ, своими собственными руками мететъ улицу, кормитъ нищихъ, и погружается въ какой-то странный, но опять-таки обаятельный для всего окружающаго мистицизмъ. И вотъ этотъ по своей волѣ нищій мистикъ становится совѣтникомъ могущественнѣйшаго въ мірѣ государя, даетъ извѣстное направленіе его нравственнымъ, политическимъ и религіознымъ стремленіямъ, кладетъ не послѣдній камень въ основу зданія политическаго «священнаго союза» сильнѣйшихъ государей Европы. Женщина эта становится страшна для общественнаго спокойствія мелкихъ государствъ Европы, потому что за нею и за ея словомъ идутъ массы, она возбуждаетъ народное движеніе гдѣ бы не появилась, гдѣ бы ни раздалось ея слово.

Рядомъ съ нею и одновременно съ нею выходитъ изъ Россіи другая женская личность, которая становится нравственнымъ средоточіемъ громадной политической силы, нѣсколько вѣковъ заправлявшей судьбами всего міра, средоточіемъ католической пропаганды и сильнѣйшимъ орудіемъ всемогущаго католическаго рычага — іезуитовъ. Мы говоримъ о Свѣчиной. Весь аристократическій и католическій Парижъ, вся католическая интеллигенція, какъ, напримѣръ, знаменитый историкъ и публицистъ Токвиль или извѣстный французскій министръ и писатель Фаллу, весь монашествующій Римъ — все это преклоняется передъ какою-то непостижимою моральною силою этой женщины, съ нею совѣщаются старые вожаки католицизма, она даетъ протекцію молодымъ, будущимъ вожакамъ католической идеи. Эту женщину хотятъ канонизировать, внести въ тотъ списокъ безсмертія, который дѣлаетъ человѣка рѣдко живучимъ—и не старѣющимъ, и не умирающимъ въ умахъ массъ, и превращаетъ его въ предметъ поклоненія, въ религіозный культъ. Но эта женщина, какъ и Криднеръ, отвернулась отъ Россіи; для той и другой чужды ея интересы, потреб-

ности и нужды ея народа; одна изъ нихъ умираетъ, порываясь обратить симпатіи Россіи на мнимо-возрождающійся древне-греческій міръ; другая—борясь за преобладаніе надъ міромъ идей католичества, чуждыхъ ея покинутой родинѣ.

Тутъ же, наконецъ, является еще и третья женская личность, которая также предъявляетъ обаяніе своей нравственной силы на все, съ чѣмъ она сталкивается, и эта женщина также становится пророчицей и мистикомъ—и гдѣ же?—въ средѣ петербургской конногвардейской молодежи, открываетъ свою мистическую проповѣдь въ михайловскомъ дворцѣ, становится главою какой-то религіозной секты, какого-то страннаго раскола, похожаго на цивилизованную хлыстовщину, пока правительство не обращаетъ на нее вниманія и не лишаетъ ее возможности дѣйствовать на несоотвѣтствующемъ ея званію и общественному положенію поприщѣ. И между тѣмъ эта женщина, эта хлыстовская пророчица — бывшая фрейлина, женщина изъ знатной фамиліи, получившая воспитаніе въ смольномъ монастырѣ, и притомъ не православная по религіи своего рожденія. Это — Татаринова, урожденная фонъ-Буксгевденъ.

Ясно, что въ трехъ этихъ личностяхъ проявляется избытокъ нравственной силы русской женщины, силы, которая ищетъ исхода и находитъ его тамъ, гдѣ указываютъ условія мѣста и времени.

Но тутъ же рядомъ, въ періодъ этого начинающагося броженія нравственныхъ силъ, стоятъ и другія женскія личности, у которыхъ избытокъ внутренней силы тоже ищетъ исхода, но условія, въ которыя жизнь поставила эти личности, не даютъ имъ этого исхода: для этихъ послѣднихъ личностей заперта дверь и въ Европу, гдѣ бы они могли, подобно Криднеръ и Свѣчиной, развернуть во всей широтѣ богатства своего духа, да

притомъ этимъ личностямъ, не получившимъ европейскаго образованія, и дѣлать было бы нечего въ Европѣ; для нихъ заперта дверь и къ такой дѣятельности, которая фрейлину Буксгевденъ превратила въ хлыстовскую пророчицу и могла удовлетворить требованіямъ ея духа.

Въ то время, когда дѣятельность Криднеръ и Свѣчиной привлекаетъ къ себѣ вниманіе всей Европы, изъ самыхъ далекихъ захолустьевъ русской земли, изъ Сибири и Вятки выходятъ двѣ молоденькія дѣвушки, которыя, не будучи никѣмъ руководимы, не видя ни отъ кого ни матеріальной, ни нравственной поддержки, — одна пробирается пѣшкомъ изъ Сибири до Петербурга и спасаетъ своего отца отъ вѣчной ссылки, другая надѣваетъ на себя грубую солдатскую аммуницію, и лѣтъ восемь скрываетъ подъ этой грубой одеждой свой полъ, перенося невѣроятныя трудности войны и всякія лишенія.

Мы говоримъ о дѣвицѣ Луполовой и «кавалеристѣ-дѣвицѣ» Дуровой.

Читая современныя — 1805 года — извѣстія о похожденіяхъ первой, мы невольно останавливаемся на мысли, что едва ли скромные, но благородные подвиги Луполовой не были тою нравственною возбудительною силою, которая дала толчекъ и исходъ богатымъ нравственнымъ силамъ послѣдней. Насъ утверждаетъ въ этомъ предположеніи и то обстоятельство, что начало похожденій Дуровой, тайно бѣжавшей изъ отцовскаго дома въ 1806 году, совпадаетъ именно съ тѣмъ временемъ, когда вся Россія заговорила о похожденіяхъ Луполовой. А Луполова между тѣмъ, пробираясь, въ 1804 году, изъ Тобольска въ Петербургъ, должна была пѣшкомъ проходить черезъ тотъ городъ, гдѣ росла Дурова, проводя свою юность въ такихъ занятіяхъ, которыя такъ не гармонировали съ ея поломъ.

Какъ бы то ни было, но Луполова и Дурова—это двѣ родственныя богатыя силы, которыя въ жизни пошли разными путями потому только, что одна изъ нихъ получила хотя какое-либо среднее дворянское, домашнее образованіе, другая же не получила никакого.

И замѣчательно, что первоначальная родина и той и другой дѣвушки—Малороссія, безспорно давшая Россіи не одну даровитую личность за все время своего нераздѣльнаго съ Великою Россіею политическаго существованія.

Прасковья Луполова родилась въ Елисаветградѣ, херсонской губерніи, въ 1784 году. Отецъ ея былъ бѣдный дворянинъ, Григорій Луполовъ, состоявшій въ чинѣ прапорщика.

Жизненная обстановка, въ которой родилась Луполова, была до того скудна, что дѣвочкѣ не только не дали никакого воспитанія, но даже она лишена была возможности узнать русскую грамоту.

Впрочемъ, семейное несчастіе, постигшее всѣхъ Луполовыхъ въ то время когда Парашѣ исполнилось только тринадцать лѣтъ, едва ли не было причиной того, что дѣвочка осталась даже безъ такого первоначальнаго образованія, которое могло быть доступно и семейству бѣднаго прапорщика: въ 1798 году отецъ Луполовой, за какія-то преступленія, сосланъ былъ въ Сибирь съ лишеніемъ чиновъ и дворянства.

Позоръ и ссылка были, такимъ образомъ, тою жизненною школою, въ которой пришлось бѣдной дѣвочкѣ брать первые, тяжелые уроки жизни.

Но эти уроки, большею частью деморализующіе и ожесточающіе людей, въ настоящемъ случаѣ дали совершенно иные результаты, и именно тѣ, которые разумѣлъ Пушкинъ, говоря:

..... Такъ тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

«Любя нѣжно отца своего — говоритъ Бантышъ-Каменскій въ «Словарѣ замѣчательныхъ людей» — Луполова послѣдовала за нимъ въ самое заточеніе; утѣшала, подкрѣпляла горестную его старость. Въ сіе бѣдственное для нихъ время, одна только мысль занимала Луполову: освобожденіе родителя. Три года неотступно просила она, чтобы отпустили ее въ С. Петербургъ, гдѣ надѣялась исходатайствовать прощеніе у милосердаго государя. Дорожа ея присутствіемъ, находя въ ней послѣднюю отраду жизни своей, отецъ долго не соглашался; наконецъ уступилъ ея убѣжденіямъ».

Недостаточность свѣдѣній объ этой замѣчательной личности, къ сожалѣнію, не позволяетъ намъ уяснить самый процессъ, съ помощью котораго сложилась въ молодой дѣвушкѣ ея упрямая воля, не позволяетъ намъ выяснить и тѣхъ нравственныхъ побужденій, подъ которыми естественное чувство привязанности къ отцу, сожалѣніе о его несчастьи и желаніе помочь ему превратились въ то могучее чувство, называемое иногда словомъ idée fixe, иногда вѣрою, которое горами ворочаетъ, какъ образно выражается это въ нашей народной рѣчи, чувство, которое дѣлаетъ чудеса тамъ, гдѣ, кажется, даже самое чудо невозможно, чувство, которое изъ слабаго человѣка дѣлаетъ силача, труса превращаетъ въ героя, невѣдѣніе дѣлаетъ равносильнымъ знанію, чувство, однимъ словомъ, которое граничитъ съ фанатизмомъ и безуміемъ съ одной стороны и геніальностью съ другой. Сказка ли, слышанная дѣвочкою въ дѣтствѣ о могучихъ богатыряхъ, о поискахъ живой и мертвой воды, сказаніе ли какое о подвигахъ великихъ угодниковъ, разсказы ли старыхъ людей о примѣрахъ великаго милосердія царей — безъ сомнѣнія, что нибудь подобное засѣло

въ молодую голову и превратилось въ неотвязную мысль, выросло въ непоколебимую идею, стало цѣлью, призваніемъ жизни.

Какъ бы то ни было, но когда дѣвушкѣ исполнилось двадцать лѣтъ, она пустилась въ путь, какъ сказочный царевичъ, чтобъ отыскать свободу своему отцу: — она намѣревалась изъ Тобольска пробраться въ Петербургъ.

Всѣ денежныя средства Луполовой заключались въ одномъ рублѣ:—съ такими же средствами Ломоносовъ вышелъ изъ дому искать по бѣлу свѣту знаній.

Понятно, что при такихъ средствахъ и при извѣстной обстановкѣ молодой странницы, далекая дорога представляла для одинокой дѣвушки повидимому непобѣдимыя трудности. Но она побѣдила ихъ несокрушимостью своей воли.

Добравшись до Екатеринбурга и, конечно, питаясь въ пути подаяніемъ, какъ питаются до сихъ поръ многіе изъ нашихъ богомольцевъ, изъ Сибири доходящіе до Кіева и до Почаева, Луполова нѣкоторое время оставалась въ Екатеринбургѣ, гдѣ начала учиться грамотѣ. Опять замѣчательный фактъ, свидѣтельствующій о томъ, что жизненныя цѣли и требованія дѣвушки были широки, а между тѣмъ сама же жизнь съузила ихъ до самыхъ обидныхъ размѣровъ.

Изъ Екатеринбурга до Вятки Луполовой удалось доплыть водою, потому что тамъ каждую весну ходили суда и лодки съ желѣзными и другими товарами.

Отъ Вятки до Казани ей опять пришлось идти пѣшкомъ, съ котомкою за плечами, и вотъ въ этотъ-то переходъ она должна была посѣтить и тотъ скромный городъ, гдѣ тосковала по несвойственной для женщины дѣятельности другая, подобная Луполовой, дѣвушка, другая замѣчательная женская личность ны-

нѣшняго вѣка — Дурова, «дѣвица-кавалеристъ», о которой мы скажемъ особо.

Наконецъ, только 5-го августа 1804 года Луполова достигла Петербурга.

Въ продолженіе своего труднаго пути, когда Луполовой выпадали особенно тяжелыя минуты и когда менѣе сильная личность упала бы духомъ, эта упрямая дѣвушка настойчиво повторяла:

— Живъ Богъ! жива душа моя!

Вѣдь это то же что у Галилея, осуждаемаго на смерть, срывается съ языка историческая фраза объ обращеніи земли вокругъ солнца: «а все-таки вертится!» Эта мысль о движеніи земли засѣла въ мозгу, и ее не вытѣснитъ изъ головы даже боязнь смерти. Это тоже что у Колумба, въ самые страшные моменты его жизни, живо было засѣвшее въ его мозгу упрямое убѣжденіе: «есть же какая-нибудь земля къ западу отъ Европы» — и земля нашлась. Такое непобѣдимое упрямство убѣжденія возможно только у великихъ людей, которые похожи на сумасшедшихъ и дѣйствительно дѣлаются ими, когда въ ихъ голову засядетъ идея невозможная по времени, несбыточная по обстоятельствамъ.

Не легко было однако и въ Петербургѣ Луполовой привести въ исполненіе завѣтную мечту своей молодой жизни. Время чудесъ прошло: достиженіе всякаго задуманнаго предпріятія обусловливается теперь извѣстными формами жизни, бываетъ обставлено такими рамками, о которыхъ люди, жившіе во времена чудесъ, и понятія не имѣли.

Надо было написать прошеніе, и притомъ такъ, чтобы дѣло, о которомъ взялась хлопотать упрямая дѣвушка, выступило изъ ряда обыкновенныхъ, выступило изъ рамки. Надо было это прошеніе подать въ установленномъ порядкѣ, а согласно усановлен-

ному порядку, всего скорѣе надо было ожидать отказа на прошеніе: въ Сибири не мало Луполовыхъ, сосланныхъ туда съ лишеніемъ правъ дворянства — законъ ни для кого не долженъ дѣлать исключеній.

Но природа и жизнь сами иногда дѣлаютъ исключенія. Не у всѣхъ Луполовыхъ, не у всѣхъ сосланныхъ въ Сибирь есть такія дочери, какая была у Григорія Луполова.

И дѣйствительно, упрямая дѣвушка добивается своего. Она находитъ въ Петербургѣ покровительницу въ одной госпожѣ, «славившейся—какъ говоритъ біографъ Луполовой— христіанскою любовью къ бѣднымъ и несчастнымъ». Эта особа дала случай дѣвушкѣ познакомиться съ однимъ сенаторомъ, находившимся въ коммисіи для пересмотра прежнихъ уголовныхъ дѣлъ. Въ немъ дѣвушка возбудила къ себѣ участіе своею самоотверженностью, своею непоколебимою волею и настойчивымъ рѣшеніемъ спасти отца, котораго она страстно любила. Чувство удивленія и участія къ необыкновенной дѣвушкѣ возбуждено было и въ другихъ членахъ коммисіи,—и просьба Луполовой была особо доложена государю Александру Павловичу.

«Александръ изрекъ виновному помилованіе за добродѣтели его дочери—говоритъ біографъ Луполовой—дозволилъ ему возвратиться въ прежнее жилище и имѣть пребываніе, гдѣ пожелаетъ, исключая обѣихъ столицъ».

Мало того, государь пожаловалъ дѣвушкѣ двѣ тысячи рублей на обезпеченіе ея участи. Августѣйшая фамилія съ своей стороны оказала ей денежное пособіе. Петербургъ, узнавъ о необыкновенной дѣвушкѣ, о «Парашѣ-сибирячкѣ»—подъ этимъ именемъ Луполова сдѣлалась извѣстна всей Россіи — охотно поспѣшилъ ей на помощь, оказывая знаки вниманія и удивленія «избавительницѣ отца».

О Парашѣ-сибирячкѣ заговорила вся Россія. Это была дѣйствительно та Параша Луполова, подвигамъ которой русскій народъ до сихъ поръ удивляется и до сихъ поръ рукоплещетъ тѣни исторической женщины, когда тѣнь эта является на сценѣ въ извѣстной театральной пьесѣ, подъ названіемъ «Параша-сибирячка».

Когда въ Петербургѣ разспрашивали дѣвушку, какъ не боялась она одна пуститься въ далекій путь, не имѣя ни денегъ, ни поддержки, она увѣренно отвѣчала:

— А для чего мнѣ было бояться? Я знала, что Богъ не оставляетъ несчастныхъ.

Когда дѣвушку хвалили за ея необыкновенный подвигъ, она также наивно отвѣчала:

— За что меня хвалить? Развѣ дочь не должна все терпѣть для отца?

Но не одинъ Петербургъ и не одна Россія говорили о Парашѣ-сибирячкѣ: объ ней заговорили въ Европѣ; иностранныя газеты разнесли ея скромное имя по всему свѣту. Знаменитая въ то время и особенно извѣстная въ Россіи французская писательница, г-жа Котень, сочинила особый романъ, взявъ канвою для него подвиги Луполовой и опоэтизировавъ ея личность. Романъ этотъ, подъ заглавіемъ «Елисавета, или примѣръ дѣтской любви», долго читался у насъ на Руси и въ остальной Европѣ.

Но какъ часто бываетъ съ личностями, подобными Луполовой,—она вышла изъ своего торжества не тѣми дверями, въ которыя обыкновенно выходятъ люди благоразумные и практическіе и въ которыя, по ихъ мнѣнію, должна была выйти и Луполова. Луполова и въ этомъ случаѣ поступила такъ, какъ никто бы ни поступилъ на ея мѣстѣ, потому что такія личности какъ

*

Луполова, наша Антигона, не ходятъ путями проторенными и никогда не кончаютъ самодовольнымъ успокоеніемъ.

Луполова, въ самый моментъ своего торжества и славы, отвернулась отъ всего этого и—ушла въ монастырь.

Богатство, замужество, счастье—все брошено.

«Уже навсегда была обезпечена участь ея—говоритъ Бантышъ-Каменскій—оставалось ей только наслаждаться славою въ цвѣтущихъ лѣтахъ, вознаградить скучные дни, проведенные на сѣверѣ, жизнію шумною, разсѣянною, которую мы привыкли называть веселіемъ; но Луполова среди счастія вспомнила о своемъ обѣтѣ и удалилась въ десятинскій дѣвичій монастырь, новгородской епархіи».

Но не долго прожила она и въ монастырѣ.

Въ декабрѣ 1809 года Луполова умерла, на двадцать-пятомъ году жизни.

Вотъ что по поводу ея смерти новгородскій корреспондентъ писалъ въ тогдашнюю «Сѣверную почту»:

«Въ прошедшемъ мѣсяцѣ скончалась здѣсь, извѣстная всему свѣту добродѣтелями своими, дѣвица Прасковья Луполова. Шесть лѣтъ тому назадъ пришла она пѣшкомъ изъ Тобольска въ С. Петербургъ, пройдя около четырехъ тысячъ верстъ, сопровождаемая одною бѣдностію и состраданіемъ человѣчества: пришла—повергнуться къ престолу милосердаго государя и просить о помилованіи отца своего, сосланнаго въ Сибирь въ 1798 году, по лишеніи дворянскаго достоинства, за нѣкоторое преступленіе. Еще въ юныхъ лѣтахъ жизни постигъ ее съ матерью несчастный жребій родителя, за которымъ она изъ дѣтской горячности послѣдовала и въ самое заточеніе: желаніе быть избавительницею отца, возродясь тогда въ ея невинной душѣ, и возрастая купно съ ея лѣтами, заставило ее наконецъ совершить толикій подвигъ, не

взирая на всѣ препятствія и трудности столь дальняго пути, но полагаясь во всемъ на провидѣніе божіе».

Дальше мы увидимъ, что въ то время, когда Луполова умирала въ монастырѣ, другая дѣвушка, для которой Луполова была тѣмъ, чѣмъ Геродотъ былъ для Фукидида, доказывала современнымъ и будущимъ женщинамъ, что если существуетъ въ мірѣ рабство женщины, то цѣпи для этого рабства куютъ себѣ сами же женщины, и что разрѣшеніе такъ-называемаго «женскаго вопроса» находится въ рукахъ у самихъ же женщинъ.

VII.

Анна Григорьевна Хомутова.

Хомутова въ нашихъ очеркахъ является не первою исторической женщиною изъ этой фамиліи.

Съ одною изъ Хомутовыхъ мы уже знакомы, но только подъ другою фамиліей.

Мы знакомы съ несчастною фрейлиною Марьею Даниловною Гамильтонъ, которая была «дѣвкою» — какъ тогда называли фрейлинъ—при дворѣ Екатерины Алексѣевны, супруги царя-преобразователя Петра Великаго, и которой прекрасную голову, за дѣтоубійство, Петръ сначала приказалъ отрубить чрезъ палача, потомъ цѣловалъ эту мертвую, отрубленную голову въ виду толпы народа, затѣмъ велѣлъ положить ее въ спиртъ и хранить сначала въ кабинетѣ своей супруги, а потомъ въ музеѣ академіи наукъ.

Фамилія графовъ «Гамильтоновъ», еще въ смутное время Стюартовъ вышедшая въ Россію изъ Шотландіи, впослѣдствіи, по законамъ естественнаго обрусенія и народной русской фонетики, передѣлана была въ фамилію «Хомутовыхъ». Уже при Петрѣ I «Гамильтоны» писались то «Гаментовы», то «Гамонтовы», то «Хаментовы», то наконецъ «Хамантовы», а потомъ и окончательно превратились въ русскую фамилію «Хомутовыхъ».

Фрейлина Гамильтонъ-Хомутова казнена въ 1719 году.

Почти черезъ столѣтіе послѣ этой несчастной дѣвушки выступаетъ на историческое поприще другая женская личность изъ этой обрусѣвшей фамиліи—Анна Григорьевна Хомутова.

Она родилась въ Москвѣ, въ 1784 году, и первое ея развитіе принадлежитъ тому времени, когда общественное направленіе умовъ екатерининской эпохи уступало уже мѣсто другому направленію, когда въ обществѣ начало господствовать поколѣніе женщинъ-«институтокъ» или «монастырокъ», смѣнившееся затѣмъ поколѣніемъ женщинъ мистиковъ.

Хомутова, по счастью, составляетъ исключеніе изъ этихъ двухъ поколѣній русскихъ женщинъ: она не принадлежитъ ни поколѣнію «монастырокъ», ни поколѣнію женщинъ-мистиковъ, потому что домашнее воспитаніе не наложило на ея направленіе того своеобразнаго оттѣнка, какой налагало на женщину воспитаніе институтское, а счастливо сложившіяся условія спасли ее отъ увлеченія мистическимъ направленіемъ женщинъ начала нынѣшняго вѣка.

Благопріятныя условія, подъ которыми самостоятельно развивалась личность Хомутовой, состояли, главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ:

Вопервыхъ, Хомутова родилась въ Москвѣ и первое время своего развитія провела въ Москвѣ же, въ семействѣ, стоявшемъ нѣсколько поодаль отъ петербургскаго общества, которое въ это время испытывало на себѣ вліяніе эмигрировавшаго изъ Франціи католическаго дворянства, разныхъ графовъ и маркизовъ, которые вмѣстѣ съ іезуитами напустили на высшее петербургское общество тонкій, но одуряющій туманъ мистицизма и нѣкоторыхъ изъ русскихъ женщинъ аристократическихъ фамилій увлекли въ

католицизмъ: — оттого Хомутова не вышла похожею ни на Татаринову, ни на Криднеръ, ни на Свѣчину.

Вовторыхъ, живя и воспитываясь въ Москвѣ, Хомутова не попала въ смольный монастырь и потому не выработалась подъ общій типъ женщинъ-«монастырокъ», съ слабыми сторонами которыхъ мы познакомились въ лицѣ Глафиры Ржевской и Нелидовой.

Втретьихъ, живя въ Москвѣ на свободѣ, она училась дома, и хотя пріобрѣла въ своемъ воспитаніи французскій лоскъ, французскую рѣчь, но въ то же время въ богатомъ и гостепріимномъ домѣ своего отца она постоянно видѣла и слышала лучшихъ русскихъ людей тогдашняго времени, постоянно находилась въ сношеніяхъ съ литературнымъ кружкомъ, и оттого сердце ея больше лежало къ русскимъ писателямъ своего времени и къ ихъ идеямъ, чѣмъ къ французскимъ аристократамъ-эмигрантамъ, бросившимся въ набожность, и іезуитамъ.

Впослѣдствіи, общество Хомутовой постоянно составляли Раевскіе, Ермоловъ, слѣпецъ-поэтъ Козловъ, князь Вяземскій, Жуковскій, и потомъ Пушкинъ и Лермонтовъ.

Отецъ ея былъ генералъ-лейтенантъ и сенаторъ Григорій Аполлоновичъ Хомутовъ, а мать—Екатерина Михайловна, урожденная Похвиснева.

Богатый домъ Хомутовыхъ въ Москвѣ былъ постоянно посѣщаемъ избраннымъ московскимъ обществомъ и такъ называемою литературною знатью. Кругомъ себя дѣвушка видѣла не тѣ примѣры, какіе видѣли монастырки, а рѣчь вокругъ нея велась не о тѣхъ предметахъ, о которыхъ могли вести бесѣду эмигрировавшіе маркизы и католическіе патеры.

Вотъ почему одна особа, знавшая Хомутову лично, говоритъ о ея наклонностяхъ слѣдующее:

«Рукодѣльемъ она мало занималась, а съ любовью и увлеченіемъ слѣдила за литературой. Имѣя свѣтлый умъ, прекрасную память и удивительную, щеголеватую легкость выражать свои мысли, она писала большую часть времени, записывала все, что̀ видѣла и слышала, и излагала въ видѣ повѣстей происшествія, случавшіяся въ большомъ свѣтѣ, поэтизируя и конечно мѣняя имена и названія мѣстностей».

Бывая въ Петербургѣ, она дружескимъ образомъ сблизилась тамъ только съ двумя женщинами, которыхъ понятія не противорѣчили съ ея умственнымъ міромъ,—съ Марьей Никитичной Дурновой и графиней Анной Владимировной Бобринской.

Первая была ея руководительницей въ большомъ свѣтѣ, на гуляньяхъ, на придворныхъ балахъ.

Графиня же Бобринская вводила ее въ такое общество, гдѣ вопросы науки и литературы не были вытѣсняемы другими вопросами, которыми тогда болѣла петербургская аристократіи, вопросами мистики, какимъ-то напускнымъ піетизмомъ и худо скрываемымъ ханжествомъ. У графини Бобринской устраивались литературные и музыкальные вечера, чтенія, импровизація.

О личномъ характерѣ Хомутовой особа, близко ее знавшая, говоритъ, что «душа ея была пылкая, поэтическая, сердце самое любящее»; что «для родныхъ, для друзей она забывала себя и отдавалась имъ съ полнымъ самоотверженіемъ».

Важно для ея развитія было и то, что въ первой своей молодости она находилась въ самой искренней дружбѣ съ извѣстнымъ нашимъ поэтомъ-слѣпцомъ, Козловымъ, который приходился ей двоюроднымъ братомъ.

Знакомство это и молодая дружба окончательно опредѣлили направленіе и симпатіи дѣвушки на всю послѣдующую жизнь,

какъ это почти всегда бываетъ съ впечатлительной молодостью.

«Одна изъ самыхъ сильныхъ ея привязанностей, въ первой молодости, была къ двоюродному брату, слѣпцу-поэту Козлову — говоритъ госпожа Розе въ своихъ воспоминаніяхъ о Хомутовой.—Сходство въ пылкости характеровъ, въ любви къ поэзіи, въ сочувствіи ко всему высокому ихъ тѣсно связывало. Они оба были молоды, счастливы и часто вмѣстѣ увлекались свѣтскими веселостями; но когда страстная любовь запала въ душу Козлова (это къ Софьѣ Андреевнѣ Давыдовой, на которой онъ потомъ и женился) и долго, отчаянно его волновала, Хомутова сдѣлалась ему постояннымъ, неизмѣннымъ другомъ-утѣшителемъ, со всею женственною преданностію».

Хомутова осталась дѣвушкой.

Послѣ нашествія французовъ на Москву, Хомутова переѣхала на время въ Петербургъ, гдѣ и жила преимущественно въ обществѣ Дурновой и графини Бобринской.

Въ это время Хомутова вела уже свои записки, въ которыя вносила все замѣчательное въ ея жизни, все ею видѣнное и слышанное, характеристики событій и личностей, съ которыми она сталкивалась или которыя проходили мимо нея.

Въ бытность ея въ Петербургѣ, въ 1814 году, изъ Европы тревожно ожидались извѣстія о томъ, что дѣлаютъ тамъ наши войска, вышедшія вслѣдъ за Наполеономъ I для освобожденія всѣхъ европейскихъ народовъ отъ желѣзной диктатуры этого человѣка.

И вотъ въ дневникѣ Хомутовой подъ 21 апрѣля записано, между прочимъ, что во время ея гулянья вмѣстѣ съ Дурновой вѣсть о гибели Наполеона принесъ имъ знаменитый Александръ Ивановичъ Тургеневъ.

«Тургеневъ—говорится въ дневникѣ—подошелъ къ намъ на набережной и сказалъ: «Великая европейская драма разыграна. Наполеонъ отказался отъ престола; онъ на островѣ Эльбѣ. Нашъ императоръ во всемъ блескѣ своего величія». Пока мы разговаривали, къ намъ присоединился Сергѣй Уваровъ (тогда еще не графъ и не министръ, а только попечитель петербургскаго учебнаго округа) и вмѣшался въ разговоръ. «Делиль—сказалъ онъ—угадалъ эту славную будущность въ своихъ двухъ стихахъ, адресованныхъ Александру:

Sur le front de Louis tu mettras la couronne:
Le sceptre le plus beau est celui, que l'on donne».

«Графиня Бобринская, проѣзжавшая въ эту минуту въ каретѣ, остановилась и показала намъ портретъ генерала Сакена, назначеннаго губернаторомъ Парижа. Въ честь этого стараго друга ихъ дома, она затащила насъ въ кондитерскую Молинари, гдѣ донельзя угостила бисквитами и конфектами».

Все это невольно переноситъ воображеніе въ ту знаменательную эпоху и ставитъ насъ лицомъ къ лицу съ людьми, давно исполнившими свою историческую миссію и давно уже умершими.

Въ другомъ мѣстѣ она въ нѣсколькихъ бойкихъ строкахъ живо рисуетъ передъ нами картину тогдашняго высшаго петербургскаго общества, и преимущественно тогдашнихъ женщинъ, которыя тоже всѣ уже давно покончили свое существованіе, однѣ забытыя всѣми, другія — оставившія по себѣ слѣдъ на землѣ.

Гуляетъ она въ лѣтнемъ саду и видитъ все петербургское общество, томимое ожиданіемъ изъ Европы императора и побѣдоносныхъ войскъ, гдѣ у каждой изъ гуляющихъ есть или мужъ, или братъ, или отецъ, или какой-либо другой изъ родственниковъ, друзья, дорогіе сердцу, возлюбленные, женихи.

«Каждое утро тамъ, въ лѣтнемъ саду—пишетъ Хомутова 10-го мая—сходилось все общество: князь Юсуповъ всегда былъ подлѣ княжны Полины Щербатовой, для которой мечталъ о замужествѣ, но увы! оно не долго продолжалось. Княгиня Салтыкова (урожденная княжна Долгорукая) гуляла, сопровождаемая большой свитой, опираясь на руку Сафоновой, какъ Калипсо на Евхарисъ; княгиня Долгорукая (урожденная княжна Гагарина), во всемъ блескѣ красоты и счастія, подъ руку съ мужемъ, не замѣчая всѣхъ своихъ поклонниковъ; княжна Лопухина, блѣдная, граціозная, скользила между деревьевъ, какъ очаровательное видѣніе; красавица Нарышкина скрывала подъ улыбкой свое безпокойство: вѣтка полыни, которую она хотѣла вплести въ вѣнокъ изъ лавровъ, дрожала въ ея рукѣ; Лунина и Демидова пестро одѣтыя; князь Гагаринъ, вѣчно озабоченный, скрестивъ руки; Тургеневъ, исправлявшій тогда важныя должности, приходилъ въ садъ поздно».

Съ Пушкинымъ Хомутова познакомилась только въ 1826 году, и вотъ что по этому случаю записано въ ея дневникѣ подъ 26-мъ октября:

«Поутру получаю записку отъ Корсаковой (это—Марья Ивановна Римская-Корсакова, мать дочерей-красавицъ, на которыхъ Пушкинъ уронилъ лучъ безсмертія въ своемъ «Онегинѣ»): «Пріѣзжайте непремѣнно, нынче вечеромъ у меня будетъ Пушкинъ», — Пушкинъ, возвращенный изъ ссылки императоромъ Николаемъ, Пушкинъ, коего дозволенные стихи приводили насъ въ восторгъ, а недозволенные имѣли въ себѣ такую всеобщую завлекательность. Въ 8 часовъ я въ гостиной у Корсаковой; тамъ собралось уже множество гостей. Дамы разодѣлись и расчитывали привлечь вниманіе Пушкина, такъ что когда онъ взошелъ, всѣ онѣ устремились къ нему и окружили его. Каждой хо-

тѣлось, чтобы онъ сказалъ ей хоть слово. Не будучи ни молода, ни красива собою и по обыкновенію одержимая несчастною застѣнчивостью, я не совалась впередъ, и, непримѣтно для другихъ, издали наблюдала это африканское лицо, по которому такъ и сверкаетъ умъ. Я слушала его безъ предупредительности и молча. Такъ прошелъ вечеръ. За ужиномъ кто-то назвалъ меня, и Пушкинъ вдругъ встрепенулся, точно въ него ударила электрическая искра. Онъ всталъ и, поспѣшно подойдя ко мнѣ, сказалъ: «вы сестра Михаила Григорьевича; я уважаю, люблю его и прошу вашей благосклонности».

Послѣ Хомутова очень сблизилась съ Пушкинымъ; часто потомъ они видѣлись, бесѣдовали о литературѣ. Лѣтомъ 1836 года, уже передъ смертью поэта, Хомутова постоянно видала его, особенно у Раевскихъ.

Но съ Козловымъ ей пришлось вновь свидѣться не ранѣе тридцатыхъ годовъ. Лѣтъ двадцать они не видали другъ друга: разстались молодыми, полными надеждъ и силъ, а встрѣтились почти стариками, хотя, какъ говоритъ г-жа Розе, «съ живымъ чувствомъ постоянной дружбы и яркимъ воспоминаніемъ молодости, не увядающей въ такихъ сердцахъ».

Козловъ давно уже былъ живой развалиной: разбитый параличемъ, слѣпой, безногій — онъ самъ уже не могъ двигаться, а какъ евангельскій разслабленный постоянно лежалъ на своемъ одрѣ.

Встрѣча съ Хомутовой, которую онъ когда-то любилъ, съ которою дѣлился каждымъ движеніемъ своего сердца, каждою мыслью, сильно потрясла больного поэта.

Глубокое впечатлѣніе этой встрѣчи излилось въ прекрасныхъ стихахъ поэта подъ названіемъ: «къ другу весны моей послѣ долгой, долгой разлуки».

Въ это же время Хомутова познакомилась и съ Лермонтовымъ.

Послѣдній, говоритъ г-жа Розе, узнавъ случайно изъ оживленнаго разсказа самого поэта Козлова, сколько былого счастья шевельнулось въ его душѣ при этой неожиданной встрѣчѣ въ тогдашней его грустной жизни, написалъ къ Хомутовой эти прекрасные стихи, которыми какъ-бы освѣтилъ историческую память и поэта-слѣпца и его друга-женщины:

Слѣпецъ страданьемъ вдохновенный
Вамъ строки чудныя писалъ,
И прежнихъ лѣтъ восторгъ священный
Онъ передъ вами изливалъ.
Онъ васъ не зрѣлъ; но ваши рѣчи,
Какъ отголосокъ юныхъ дней,
При первомъ звукѣ новой встрѣчи
Его встревожили сильнѣй.
Тогда признательную руку
Въ отвѣтъ на вашъ привѣтный взоръ,
На встрѣчу радостному звуку
Онъ въ упоеніи простеръ.
И я повѣренный случайный
Надеждъ и думъ его живыхъ,
Я буду дорожить какъ тайной
Печальнымъ выраженьемъ ихъ.
Я вѣрю, годы не убили,
Изгладить даже не могли
Все, что вы прежде возбудили
Въ его возвышенной груди.
Но да сойдетъ благословенье
На вашу жизнь за то, что вы
Хоть на единое мгновенье
Умѣли снять вѣнецъ мученья
Съ его преклонной головы.

О Хомутовой разсказываютъ, что память у нея была удивительная: она помнила рѣшительно все, что́ читала, могла сказать наизусть цѣлыя поэмы и запоминала цѣликомъ разговоры. Она знала дни рожденья и именинъ всѣхъ знакомыхъ и напоминала имъ всѣ эпохи ихъ жизни.

Въ сороковыхъ годахъ, она, разставшись съ Москвою, съ литературными и великосвѣтскими кружками, жила въ Ярославлѣ съ старшимъ братомъ своимъ Сергѣемъ, и тамъ занималась воспитаніемъ его семейства. Она учила исторіи дѣтей его, двухъ племянниковъ, племянницу и одну сиротку, Екатерину Розе, сообщившую въ печати нѣкоторыя любопытныя свѣдѣнія о жизни своей учительницы, одной изъ самыхъ симпатичныхъ женскихъ личностей стараго времени, еще впрочемъ такъ недалеко отъ насъ отошедшаго.

При своихъ урокахъ Хомутова не пользовалась ни книгами, ни руководствами, но просто диктовала своимъ ученикамъ по памяти исторію каждаго государства отдѣльно, и никогда при этомъ не путалась ни въ фактахъ, ни въ хронологическомъ ихъ размѣщеніи.

Въ Ярославлѣ она прожила до смерти старшаго брата.

Затѣмъ вмѣстѣ съ дочерью его она является вновь въ Петербургъ, но уже дряхлою старухой. Не многіе встрѣтили ее изъ старыхъ знакомыхъ, потому что раньше ея покончили счеты съ жизнью; а что уцѣлѣло отъ стараго времени, то встрѣтило ее попрежнему сочувственно.

Но Петербургъ, который она когда-то такъ хорошо описывала, теперь виднѣлся ей только изъ окна:—старушка уже въ креслахъ доживала свой вѣкъ, перешагнувъ за вторую половину нынѣшняго столѣтія.

Умерла она въ 1856 году, на семьдесятъ-второмъ году жизни, и отвезена въ ярославскую деревню Хомутовыхъ, гдѣ и похоронена.

Не такъ похоронена была, какъ мы видѣли, ея бабушка или прабабушка—фрейлина Гамильтонъ.

Но другое время — другіе люди.

VIII.

Надежда Андреевна Дурова.

(Кавалеристъ-дѣвица).

Если бы женская личность, имя которой поставлено въ заголовкѣ настоящаго очерка, жила въ болѣе отдаленныя времена, то, прочитавъ разсказъ о ней въ какомъ-либо древнемъ хронографѣ, мы подумали бы, безъ сомнѣнія, что это—продуктъ творческой фантазіи народа, повѣствовательная фабула, измышленная по примѣру средневѣковыхъ легендарныхъ сказаній объ Александрѣ Македонскомъ, о Карлѣ Великомъ, о рыцарѣ Баярдѣ, что это, однимъ словомъ, романтическій вымыселъ, которымъ услаждается воображеніе человѣка, сознающаго въ то же время, что выводимая передъ нимъ личность—не реальная личность, а идеалъ, достиженіе котораго возможно лишь только въ представленіи.

Но женская личность, о которой мы говоримъ, жила такъ недавно, умерла на нашей памяти—это была реальная женская личность, которую многіе до сихъ поръ помнятъ, вспоминаютъ о ней, потому что любили ее, были съ ней дружны, видѣли ея старческое увяданье и смерть. Могила ея еще не пострадала отъ

времени. То, что она писала—до сихъ поръ читается съ интересомъ.

А между тѣмъ жизнь этой странной женщины представляется чѣмъ-то сказочнымъ, невѣроятнымъ, отдающимъ далекою, неслыханною, положительно миѳическою стариною.

Женщина эта—Надежда Дурова, извѣстная подъ именемъ «кавалериста-дѣвицы».

Событія ея молодости возбуждаютъ глубокое удивленіе, и именно въ настоящее время Дурова, какъ необыкновенное явленіе, заслуживала бы серьезнаго изученія, потому что то, что сдѣлала эта женщина, служитъ самымъ вѣскимъ аргументомъ въ пользу того, что женщина способна на всякое великое дѣло въ такой же мѣрѣ, какъ и мужчина, и что, при извѣстномъ направленіи ея воли и при извѣстномъ воздѣйствіи на нее обстоятельствъ жизни и воспитанія, различіе, полагаемое между мужчиною и женщиною и основанное на нѣкоторомъ физіологическомъ неравенствѣ или скорѣе половомъ несходствѣ, окончательно падаетъ передъ живымъ доказательствомъ совершенно противнаго, представляемымъ личностью этой именно дѣвицы Дуровой.

Нельзя безъ особеннаго, глубокаго чувства удивленія смотрѣть на портреты этой женщины, находящіеся въ устарѣлыхъ нынѣ изданіяхъ и безъ сомнѣнія извѣстные большинству читателей.

Одинъ изъ этихъ портретовъ приложенъ къ изданнымъ, въ 1839 году, Дуровою собственнымъ «Запискамъ», въ которыхъ она говоритъ о своей богатой приключеніями жизни. На портретѣ этомъ, къ сожалѣнію очень не искусно сдѣланномъ, Дурова изображена молоденькою дѣвочкою четырнадцати лѣтъ: личико дѣвочки полно дѣтской невинности; но оно нѣсколько задумчиво, грустно и даже повидимому робко; дѣвическая коса ея не подчинена никакимъ законамъ прически, а просто спадаетъ на спину

позади плечъ; бѣленькое простое платьице безъ всякихъ украшеній ясно говоритъ, что это ребенокъ, еще не сознающій въ себѣ женщины; но признаки физической возмужалости несомнѣнно обнаруживаютъ, что дѣвочка развивается въ женщину, ростетъ, крѣпнетъ.

Другой портретъ, приложенный къ извѣстному изданію—«Сто русскихъ литераторовъ»—изображаетъ Дурову уже пожилою женщиною, пожалуй старухою; но эта старушка облечена въ военную форму; на груди у нея блеститъ георгіевскій крестъ. Кроткое, хотя не красивое, но симпатичное лицо смотритъ также задумчиво, повидимому грустно и даже нѣсколько робко.

Шестьдесятъ лѣтъ назадъ именемъ Дуровой была полна вся Россія: объ ней говорили начиная отъ царскаго дворца и кончая бѣдной мужицкой хаткой. Теперь только ея имя забыто, какъ забывается все на свѣтѣ, вытѣсняемое другими именами, другими событіями.

Вотъ что, въ 1836 году уже, писалъ знаменитый поэтъ нашъ А. С. Пушкинъ въ тогдашнемъ «Современникѣ»:

«Въ 1808 году, молодой мальчикъ, по имени Александровъ, вступилъ рядовымъ въ конно-польскій уланскій полкъ, отличился, получилъ за храбрость солдатскій георгіевскій крестъ и въ томъ же году произведенъ былъ въ офицеры въ маріупольскій гусарскій полкъ. Впослѣдствіи перешелъ онъ въ литовскій уланскій, и продолжалъ свою службу столь же ревностно, какъ и началъ.

«Повидимому все это въ порядкѣ вещей и довольно обыкновенно; однакожъ это самое надѣлало много шуму, породило много толковъ и произвело сильное впечатлѣніе отъ одного нечаянно открывшагося обстоятельства: корнетъ Александровъ былъ дѣвица Надежда Дурова.

*

«Какія причины заставили молодую дѣвушку, хорошей дворянской фамиліи, оставить отеческій домъ, отречься отъ своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугаютъ и мужчинъ, и явиться на полѣ сраженій—и какихъ еще?—наполеоновскихъ! Что побудило ее? Тайныя, семейныя огорченія? Воспаленное воображеніе? Врожденная, неукротимая склонность? Любовь?... Вотъ вопросы, нынѣ забытые, но которые въ то время сильно занимали общество.

«Нынѣ Надежда Андреевна Дурова сама разрѣшаетъ свою тайну. Удостоенные ея довѣренности, мы будемъ издателями ея любопытныхъ записокъ. Съ неизъяснимымъ участіемъ прочли мы признанія женщины, столь необыкновенной; съ изумленіемъ увидѣли, что нѣжные пальчики, нѣкогда сжимавшіе окровавленную рукоять уланской сабли, владѣютъ и перомъ быстрымъ, живописнымъ и пламеннымъ».

Вотъ какой глубокій интересъ возбуждала эта женщина въ людяхъ, до которыхъ доходили только отголоски о томъ, что была эта женщина для своихъ современниковъ.

Мы позволяемъ себѣ нѣсколько долѣе остановиться на этой дѣйствительно замѣчательной личности нашего, еще столь свѣжаго прошлаго.

Дурова, по матери, энергическія наклонности которой она повидимому наслѣдовала и силою своей воли направила ихъ такимъ необыкновеннымъ путемъ, ведетъ свой родъ изъ Малороссіи, неоспоримо давшей Россіи не мало личностей, которыми смѣло можетъ гордиться великая семья русскаго народа.

Она была изъ роду Александровичей и противъ воли родителей вышла замужъ за гусарскаго ротмистра Дурова. Когда отецъ не соглашался выдать ее замужъ за Дурова, дѣвушка бѣжала ночью изъ своего дома и тайно обвѣнчалась съ тѣмъ, кого из-

брало ея своевольное сердце. Отецъ проклялъ непокорную дочь.

Молодые Дуровы вели скитальческую, полковую жизнь — постоянно на маршѣ, постоянно въ походахъ, въ лагерѣ, въ палаткѣ.

Мать страстно желала имѣть сына, котораго она намѣревалась назвать Вадимомъ или инымъ романтическимъ именемъ, и вмѣсто сына, послѣ страшныхъ мукъ, доведшихъ ее до продолжительнаго обморока, родила дѣвочку.

Когда родильница пришла въ чувство, она потребовала къ себѣ ребенка. Вмѣсто сына ей подали дочь. Мать оттолкнула отъ себя несчастную дѣвочку и съ тѣхъ поръ возненавидѣла ее.

Вслѣдствіе походной жизни родителей, дѣвочка и родилась и воспиталась на маршѣ. Бродячая жизнь, неудобства скитанья съ грудным ребенкомъ еще болѣе ожесточили мать противъ неудачно родившейся дочери.

Однажды ребенокъ такъ сильно раскричался въ дорогѣ, такъ долго не давалъ матери спать, что она, выведенная изъ терпѣнія, выбросила малютку изъ окна кареты, прямо подъ копыта гусарскихъ лошадей.

«Гусары—говоритъ о себѣ Дурова въ своихъ запискахъ—вскрикнули отъ ужаса, соскочили съ лошадей и подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни; они понесли было меня опять въ карету, но батюшка подскакалъ къ нимъ, взялъ меня изъ рукъ ихъ, и проливая слезы, положилъ къ себѣ на сѣдло».

Сѣдло—первая колыбель Дуровой.

Огорченный отецъ боялся потомъ отдать малютку матери, а передалъ ее на попеченіе своего фланговаго гусара Астахова.

«Воспитатель мой Астаховъ — говоритъ Дурова — по цѣлымъ днямъ носилъ меня на рукахъ, ходилъ со мною въ эска-

дронныя конюшни, сажалъ на лошадей, давалъ играть пистолетами, махалъ саблею, а я хлопала руками и хохотала при видѣ сыплющихся искръ и блестящей стали; вечеромъ онъ приносилъ меня къ музыкантамъ, игравшимъ предъ зарею разныя штучки; я слушала и наконецъ засыпала».

Такъ своеобразно росъ ребенокъ.

Начавъ сознавать себя, дѣвочка стала бояться матери. Увидя ее, ребенокъ обмиралъ со страху и хватался ручонками за гусарскую грубую шею своего любимца Астахова.

Дѣвочкѣ пошелъ пятый годъ, когда отецъ ея вышелъ въ отставку.

Маленькая Надя—такъ звали дѣвочку—должна была разлучиться съ своимъ пестуномъ Астаховымъ, къ которому успѣла сильно привязаться.

«Взявъ меня изъ рукъ Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела; всякій день я сердила ее странными выходками и рыцарскимъ духомъ своимъ; я знала твердо всѣ командныя слова, любила до безумія лошадей, и когда матушка хотѣла заставить меня вязать шнурокъ, то я съ плачемъ просила, чтобъ она дала мнѣ пистолетъ—пощелкать».

Выростая, дѣвочка усвоиваетъ себѣ привычки и наклонности самаго живого и рѣзваго мальчика: она бѣгаетъ вездѣ—вездѣ раздается ея голосъ: «эскадронъ направо! заѣзжай! съ мѣста маршъ-маршъ!» Мать въ отчаяніи, журитъ, наказываетъ ее; но все напрасно.

Отецъ получилъ мѣсто городничаго въ одномъ городѣ, на Камѣ—и они переѣхали жить въ этотъ городъ.

Дѣвушка говоритъ, что мать ея сама развила въ ней страсть къ свободѣ и къ военной жизни, не понимая того, что̀ дѣлаетъ.

«Она не позволяла мнѣ—говоритъ Дурова—гулять въ саду,

не позволяла отлучаться отъ нее ни на полчаса; я должна была цѣлый день сидѣть въ ея горницѣ и плесть кружева; она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имѣю ни охоты, ни способности къ этимъ упражненіямъ, что все въ рукахъ моихъ и рвется и ломается, она сердилась, выходила изъ себя и била меня очень больно по рукамъ».

Но вотъ дѣвочкѣ уже десять лѣтъ. Мать говоритъ отцу при ребенкѣ, что боится огня ея глазъ, боится этой дикой воспитанницы фланговаго гусара и что «желала бы лучше видѣть свою дочь мертвою, нежели съ такими наклонностями».

Вслѣдствіе этого упрямая мать продолжаетъ держать дѣвочку взаперти, не позволяетъ ей ни одной дѣтской радости.

«Я молчала и покорялась — замѣчаетъ Дурова: — но угнетеніе дало зрѣлость уму моему; я приняла твердое намѣреніе свергнуть тягостное иго, и какъ взрослая начала обдумывать планъ успѣть въ этомъ. Я рѣшилась употребить всѣ способы выучиться ѣздить верхомъ, стрѣлять изъ ружья, и переодѣвшись уйти изъ дома отцовскаго. Чтобы начать приводить въ дѣйство замышляемый переворотъ въ жизни моей, я не пропускала ни одного удобнаго случая украсться отъ надзора матушки; эти случаи представлялись всякій разъ, какъ къ матушкѣ пріѣзжали гости; она занималась ими, а я, я не помня себя отъ радости, бѣжала въ садъ къ своему арсеналу, то есть, темному углу за кустарникомъ, гдѣ хранились мои стрѣлы, лукъ, сабля и изломанное ружье; я забывала цѣлый свѣтъ, занимаясь своимъ оружіемъ, и только пронзительный крикъ ищущихъ меня дѣвокъ заставлялъ меня съ испугомъ бѣжать имъ навстрѣчу».

За этимъ слѣдовали конечно выговоры, жосткая, несдержанная брань, и наказаніе, не всегда умѣренное, даже жестокое.

Прошло еще два года.

Отецъ купилъ себѣ черкесскаго жеребца подъ верховую ѣзду. Съ этой поры всѣ планы дѣвочки сосредоточиваются на этомъ дикомъ конѣ: она учитъ его привыкать къ себѣ, кормитъ хлѣбомъ, сахаромъ, солью, всѣмъ, что она могла отыскать, — и дикій конь привязывается къ дѣвочкѣ, знаетъ ее, ходитъ за ней какъ овца.

Каждое утро, когда еще всѣ спали, маленькая Надежда садилась на своего «Алкида» — такъ звали коня — и скакала по двору. Алкидъ сдѣлался ея другомъ въ полномъ значеніи этого слова, какъ мы и увидимъ далѣе.

«Съ каждымъ днемъ — продолжаетъ Дурова — я дѣлалась смѣлѣе и предпріимчивѣе, и исключая гнѣва матери моей, ничего въ свѣтѣ не страшилась. Мнѣ казалось весьма страннымъ, что сверстницы мои боялись оставаться однѣ въ темнотѣ; я, напротивъ, готова была въ глубокую полночь итти на кладбище, въ лѣсъ, въ пустой домъ, въ пещеру, въ подземелье...»

По ночамъ она скакала на своемъ конѣ въ полѣ, карабкалась по горамъ. Въ семействѣ ея думали даже, что она лунатикъ, когда видѣли ее въ ночное время пробирающеюся къ конюшнѣ, къ своему Алкиду.

На четырнадцатомъ году дѣвочку отвезли въ Малороссію, къ бабкѣ Александровичевой.

«Мнѣ наступалъ уже чвтырнадцатый годъ, я была высока ростомъ, тонка и стройна; но воинственный духъ мой рисовался въ чертахъ лица, и хотя я имѣла бѣлую кожу, живой румянецъ, блестящіе глаза и черныя брови, но зеркало мое и матушка моя говорили мнѣ, что я совсѣмъ не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а безпрестанное угнетеніе свободы и строгость обращенія матери, а иногда и жестокость напечатлѣли на физіономіи моей выраженіе страха и печали. Можетъ

быть, я забыла бы наконецъ всѣ гусарскія замашки и сдѣлалась обыкновенною дѣвицею, какъ и всѣ, если бы мать моя не представляла въ самомъ безотрадномъ видѣ участь женщины. Она говорила при мнѣ въ самыхъ обидныхъ выраженіяхъ о судьбѣ этого пола: женщина, по ея мнѣнію, должна родиться, жить и умереть въ рабствѣ; что вѣчная неволя, тягостная зависимость и всякаго рода угнетеніе есть ея доля отъ колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всѣхъ совершенствъ и не способна ни къ чему; что, однимъ словомъ, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презрѣнное твореніе въ свѣтѣ! Голова моя шла кругомъ отъ этого описанія; я рѣшилась, хотя бы это стоило мнѣ жизни, отдѣлиться отъ пола, находящагося, какъ я думала, подъ проклятіемъ божіимъ».

И отецъ говорилъ нерѣдко, что желалъ бы имѣть сына на старость вмѣсто нее—Надежды. А она, между тѣмъ, такъ любила отца.

Все это, само собою разумѣется, развило въ ней отвращеніе къ ея собственному полу—и она искала выхода изъ своей нравственной каторги.

Въ Малороссіи она нѣсколько отдохнула, успокоилась, даже немного помирилась съ мыслью, что она женщина: «здѣсь—говоритъ она—меня не шнуровали и не морили надъ кружевомъ».

И дѣвушкѣ стало тамъ легко, свободно—женщину не бранили тамъ, не проклинали самую принадлежность къ несчастному полу; тамъ, напротивъ, занялись дѣвушкой, ласкали ее, сводили загаръ съ ея лица; тамъ нашлась для нея и сверстница, сосѣдка, дѣвица Остроградская. Дурова скоро сошлась съ ней—и дѣвушки начали читать вмѣстѣ, рисовать, гулять.

Тамъ же, въ Малороссіи, молодая дѣвушка почувствовала было въ себѣ пробужденіе женскихъ инстинктовъ — она увлек-

лась было однимъ молодымъ человѣкомъ, Кирьякомъ, и уже вполнѣ покорилась было своему призванію, какъ женщина, покорилась безъ протеста, безъ сожалѣнія, безъ боязни, потому что испытала приливъ новаго чувства...

Но мать молодого человѣка поставила пропасть между имъ и дѣвушкой—и послѣдняя должна была сама раздавить въ себѣ только что зараждавшееся чувство.

Она воротилась домой—и въ ней снова воскресли ея прежнія симпатіи; Малороссія была забыта... Снова на сценѣ Алкидъ, ружье, дикая скачка по полю.

По ея просьбѣ, отецъ, ни въ чемъ не отказывавшій своей любимой дочери, велѣлъ сшить ей «казачій чекмень» и подарилъ въ ея собственность Алкида. Дѣвушка ѣздитъ съ отцомъ кататься, привыкаетъ къ жизни наѣздника; отецъ учитъ ее «красиво сидѣть, крѣпко держаться въ сѣдлѣ и ловко управляться съ лошадью».

Дѣвушкѣ пошелъ шестнадцатый годъ.

Но вотъ въ ихъ городъ приходитъ казачій полкъ. И
и офицеры этого полка часто бываютъ у отца Ду
дѣвушка прячется отъ нихъ, потому что, задумавъ
этимъ полкомъ, она боялась, чтобъ казаки впослѣдствіи не
ее, приглядѣвшись къ ея наружности.

15-го сентября 1806 года казаки вышли изъ ихъ го
Дѣвушка рѣшилась бѣжать 17-го числа — въ день своихъ именинъ.

«Въ день семнадцатаго сентября — говоритъ она — я проснулась до зари, и сѣла у окна дожидаться ея появленія: можетъ быть, это будетъ послѣдняя, которую я увижу въ странѣ родной. Что ждетъ меня въ страшномъ свѣтѣ? Не понесется ли вслѣдъ за мною проклятіе матери и горесть отца? Будутъ ли они живы?

Дождутся ли успѣховъ гигантскаго замысла моего? Ужасно, если смерть ихъ отниметъ у меня цѣль дѣйствій моихъ! Мысли эти толпились въ головѣ моей, то смѣняли одна другую...»

Передъ нею на стѣнѣ висѣла отцовская сабля.

«Я сняла саблю со стѣны—продолжаетъ она—и, смотря на нее, погрузилась въ мысли; сабля эта была игрушкою моею, когда я была еще въ пеленахъ, утѣхою и упражненіемъ въ отроческія лѣта, и почему жъ теперь не была бы она защитою и славою моею на военномъ поприщѣ? Я буду носить тебя съ честью — сказала я, поцѣловавъ клинокъ, и вкладывая ее въ ножны.

«День этотъ я провела съ моими подругами. Въ одиннадцать часовъ вечера я пришла проститься съ матушкою, какъ то дѣлала обыкновенно, когда шла уже спать. Не имѣя силъ удержать чувствъ своихъ, я поцѣловала нѣсколько разъ ея руки и прижала ихъ къ сердцу, чего прежде не дѣлала и не смѣла дѣлать. Хотя матушка и не любила меня, однако же была тронута необыкновенными изъявленіями дѣтской ласки и покорности; она сказала, цѣлуя меня въ голову: «поди съ Богомъ!» Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слыхавшей ни одного ласковаго слова отъ матери своей. Я приняла ихъ за благословеніе, поцѣловала впослѣднее руку ея, и ушла.

«Комнаты мои были въ саду. Я занимала нижній этажъ садоваго домика, а батюшка жилъ вверху. Онъ имѣлъ обыкновеніе заходить ко мнѣ всякій вечеръ на полчаса. Онъ любилъ слушать, когда я разсказывала ему, гдѣ была, что дѣлала или читала. Ожидая и теперь обычнаго посѣщенія отца, положила я на постель за занавѣсъ мое казацкое платье, поставила у печки кресла, и стала подлѣ нихъ дожидаться, когда батюшка пойдетъ въ свои комнаты. Скоро я услышала шелестъ листьевъ отъ походки

человѣка, идущаго по аллеѣ. Сердце мое вспрыгнуло! Дверь отворилась и батюшка вошелъ: «что̀ ты такъ блѣдна? спросилъ онъ, садясь въ кресла:—здорова ли?» Я съ усиліемъ удержала вздохъ, готовый разорвать грудь мою; послѣдній разъ отецъ мой входитъ въ комнату ко мнѣ, съ увѣренностію найти въ ней дочь свою! Завтра онъ пройдетъ мимо съ горестью и содроганіемъ. Могильная пустота и молчаніе будутъ въ ней... Батюшка смотрѣлъ на меня пристально: «что̀ съ тобою? ты вѣрно нездорова?» — Я сказала, что только устала и озябла.—«Что̀ жъ не велишь протапливать свою горницу? становится сыро и холодно».

Настала минута прощанья.

«Прощай, ложись спать», сказалъ батюшка, вставая и цѣлуя меня въ лобъ. Онъ обнялъ меня одною рукою и прижалъ къ груди своей; я поцѣловала обѣ руки его, стараясь удержать слезы, готовыя градомъ покатиться изъ глазъ. Трепетъ всего тѣла измѣнилъ сердечному чувству моему. Увы! батюшка приписалъ его холоду. «Видишь, какъ ты озябла», сказалъ онъ. Я еще разъ поцѣловала его руки. «Добрая ночь!» промолвилъ батюшка, потрепавъ меня по щекѣ, и вышелъ. Я стала на колѣни близь тѣхъ креселъ, на которыхъ сидѣлъ онъ, и склонясь передъ ними до земли, цѣловала, орошая слезами то мѣсто пола, гдѣ стояла нога его».

Дѣвушка, сколько боялась матери, столько любила отца, къ которому страстно была привязана. Это былъ повидимому добрый, хорошій человѣкъ, и Дурова вездѣ его хвалитъ съ увлеченіемъ, хотя и не скрываетъ, что онъ имѣлъ слабости—былъ невѣренъ ея матери и не только любилъ другихъ женщинъ, но, какъ сама она выражается, «переходилъ отъ привязанности къ привязанности».

«Черезъ полчаса — продолжаетъ Дурова—когда печаль моя нѣсколько утихла, я встала, чтобъ скинуть свое женское платье; подошла къ зеркалу, обрѣзала свои локоны, положила ихъ въ столъ, сняла чорный атласный капотъ, и начала одѣваться въ казачій униформъ. Стянувъ станъ свой чернымъ шелковымъ кушакомъ и надѣвъ высокую шапку съ пунцовымъ верхомъ, съ четверть часа я разсматривала преобразившійся видъ свой; остриженные волосы дали мнѣ совсѣмъ другую физіономію; я была увѣрена, что никому и въ голову не придетъ подозрѣвать полъ мой».

Такимъ образомъ возврата къ прежнему для этой странной, энергической дѣвушки уже не было.

«Наконецъ—говоритъ она далѣе—дверь отцовскаго дома затворилась за мною, и кто знаетъ? можетъ быть, никогда уже болѣе не отворится для меня»!...

На берегу Камы она бросила на песокъ капотъ свой со всѣми принадлежностями женскаго туалета: «я не имѣла варварскаго намѣренія заставить отца думать, что я утонула, и была увѣрена, что онъ не подумаетъ этого».

Дѣвушка вышла на гору.

«Ночь была холодная и свѣтлая; мѣсяцъ свѣтилъ во всей полнотѣ своей. Я остановилась взглянуть еще разъ на прекрасный и величественный видъ, открывающійся съ горъ: за Камою, на необозримое пространство видны были пермская и оренбургская губерніи. Темные, обширные лѣса и зеркальные озера рисовались какъ на картинѣ. Городъ, у подошвы утесистой горы, дремалъ въ полуночной темнотѣ; лучи мѣсяца играли и отражались на позолоченныхъ главахъ собора и свѣтили на кровлю дома, гдѣ я выросла... Что мыслитъ теперь отецъ мой? говоритъ

ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придетъ уже пожелать ему добраго утра?»

Слуга ждалъ ее на горѣ съ Алкидомъ. Дѣвушка собралась какъ-бы на обыкновенную ночную прогулку — и, сѣвъ на коня, ускакала надолго, очень надолго, если не навсегда...

«Версты четыре Алкидъ скакалъ съ одинакою быстротою; но мнѣ въ эту ночь надобно было проѣхать пятьдесятъ верстъ до селенія, гдѣ, я знала, что была назначена дневка казачьему полку. И такъ, удержавъ быстрый скокъ моего коня, я поѣхала шагомъ: скоро въѣхала въ темный сосновый лѣсъ, простирающійся верстъ на тридцать. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ѣхать шагомъ, и, окруженная мертвою тишиною лѣса и мракомъ осенней ночи (такъ какъ луна успѣла скрыться), погрузилась въ размышленія: и такъ я на волѣ... свободна... независима! Я взяла мнѣ принадлежащее—мою свободу: свободу!— драгоцѣнный даръ неба, неотъемлемо принадлежащій каждому человѣку. Я умѣла взять ее, охранить отъ всѣхъ притязаній на будущее время, и отнынѣ до могилы она будетъ и удѣломъ моимъ и наградою!»

На разсвѣтѣ она пріѣхала къ мѣсту казацкой дневки. Для нея началась жизнь—и какъ тяжко добывался ею каждый шагъ въ этой жизни, буквально ею созданной.

При распросахъ полковника казачьяго полка, дѣвушка назвалась Александромъ Васильевичемъ Дуровымъ, сыномъ дворянина, ушедшимъ тайно отъ отца, потому что отецъ не хотѣлъ отпустить молодого человѣка въ войско.

Полковникъ позволилъ ей ѣхать съ своимъ полкомъ до того мѣста, гдѣ она могла приписаться въ одинъ изъ регулярныхъ полковъ, такъ какъ въ казаки ей, не урожденному казаку, поступить было нельзя.

Казакамъ она сразу полюбилась. Она казалась имъ «малолѣткомъ». У «малолѣтка» этого они находили «черкесскую талію»; у него была хорошая посадка на сѣдлѣ, хорошій конь, и грубымъ, но добрымъ казакамъ одинокая дѣвушка, принятая ими за мальчика, пришлась по душѣ.

Въ тотъ же день она уѣхала съ полкомъ. Казаки, выступивъ въ походъ, запѣли свою любимую пѣсню:

«Душа добрый конь!»

«Меланхолическій напѣвъ ея—говоритъ Дурова—погрузилъ меня въ задумчивость: давно ли я была дома! въ одеждѣ пола своего, окруженная подругами, любимая отцемъ, уважаемая всѣми, какъ дочь градоначальника! Теперь я казакъ, въ мундирѣ, съ саблею; тяжелая пика утомляетъ руку мою, не пришедшую еще въ полную силу. Вмѣсто подругъ, меня окружаютъ казаки, которыхъ нарѣчіе, шутки, грубый голосъ и хохотъ трогаютъ меня. Чувство, похожее на желаніе плакать, стѣснило грудь мою. Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла ее и прижалась къ ней лицомъ... Лошадь эта была подарокъ отца. Она одна оставалась мнѣ воспоминаніемъ дней, проведенныхъ въ домѣ его... Наконецъ борьба чувствъ моихъ утихла, я опять сѣла прямо, и, занявшись разсматриваніемъ грустнаго осенняго ландшафта, поклялась въ душѣ никогда не позволять воспоминаніямъ ослаблять духъ мой, но съ твердостію и постоянствомъ итти по пути мною добровольно избранномъ».

Такъ дошла она до земель донского войска.

Когда полкъ былъ распущенъ по домамъ, то полковникъ взялъ юнаго воина съ собой въ станицу, догадываясь, что мальчикъ самъ не найдетъ дороги къ арміи, а что удобнѣе ему будетъ дойти вмѣстѣ съ казаками. Жена полковника приласкала этого страннаго, застѣнчиваго юношу какъ своего сына, и дѣ-

вушка довольно долго оставалась въ этой доброй семьѣ, въ Раздорской станицѣ.

Наконецъ, она вышла въ походъ вмѣстѣ съ атаманскимъ полкомъ. Походъ продолжался всю зиму, и только къ веснѣ полкъ дошелъ до м. Дружкополя, на Бугѣ. Тамъ квартировалъ брянскій мушкетерскій полкъ генерала Лидерса.

Оттуда казаки пошли въ Гродно. Пошла за ними и дѣвушка.

Въ Гродно она поступила въ конно-польскій полкъ — и вотъ она уланъ, кавалеристъ... Каждый день она на ученьи. Она усердно изучаетъ военное дѣло, изучаетъ неустанно, энергически, такъ что нельзя не удивляться этой упругой, несокрушимой волѣ поистинѣ удивительной дѣвушки, почти ребенка—вѣдь ей только шестнадцать лѣтъ!

Молоденькаго уланика всѣ полюбили сразу: ротмистръ Казимирскій ласковъ къ ней, часто приглашаетъ къ себѣ, бережетъ ее какъ матушкина сынка,—а это, между тѣмъ, была «батюшкина дочка». Добрый ротмистръ, офицеры и товарищи уланы-солдаты не подозрѣваютъ, что подъ уланскимъ кивeромъ кроется погибшая дѣвичья коса...

Для дѣвушки начинается настоящая жизнь солдата, рядового труженика, чернорабочаго воина — трудовая жизнь.

И вотъ въ это-то время Дурова обращается съ своимъ замѣчательнымъ словомъ къ женщинѣ вообще и по преимуществу къ дѣвушкамъ:

«Свобода, драгоцѣнный даръ неба, сдѣлалась наконецъ удѣломъ моимъ навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую въ душѣ, въ сердцѣ! Ею проникнуто мое существованіе, ею оживлено оно! Вамъ, молодыя мои сверстницы, вамъ однѣмъ понятно мое восхищеніе! Однѣ только вы можете знать цѣну моего счастія! Вы, которыхъ всякой шагъ на счету, которымъ нельзя

пройти двухъ саженъ безъ надзора и охраненія! которыя отъ колыбели и до могилы въ вѣчной зависимости и подъ вѣчною защитою, богъ знаетъ отъ кого и отъ чего! Вы, повторяю, однѣ только вы можете понять, какимъ радостнымъ ощущеніемъ полно сердце мое при видѣ обширныхъ лѣсовъ, необозримыхъ полей, горъ, долинъ, ручьевъ, и при мысли, что по всѣмъ этимъ мѣстамъ я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни отъ кого запрещенія. Я прыгаю отъ радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу болѣе словъ: «Ты, дѣвка, сиди. Тебѣ неприлично ходить одной прогуливаться». Увы, сколько прекрасныхъ ясныхъ дней началось и кончилось, на которые я могла только смотрѣть заплаканными глазами сквозь окно, у котораго матушка приказывала мнѣ плесть кружево».

Но тяжко подъ-часъ приходилось дѣвушкѣ и въ этой новой, добровольно избранной ею, жизни. Не всякому и мужчинѣ было бы по плечу то, что она выносила на своихъ нѣжныхъ плечахъ, созданныхъ для кружевъ, газа, блонды или для того чтобы быть обнаженными на блестящемъ балѣ.

Ротмистръ Казимирскій назначилъ Дурову въ первый взводъ вмѣстѣ съ новымъ товарищемъ ея, Вышемирскимъ, подъ команду поручика Бошнякова.

Квартируютъ они въ Литвѣ, въ этой бѣдной, безхлѣбной сторонѣ. Голодаютъ привыкшіе ко всему солдаты, голодаетъ и не привыкшая къ этому дѣвушка. Но она голодаетъ по волѣ — живуча ея энергія, и эта энергія поддерживаетъ ея слабѣющее молодое тѣло.

Какая бы дѣвушка вынесла хоть бы слѣдующую жизнь:

«Болѣе трехъ недѣль сидимъ мы здѣсь; мнѣ дали мундиръ, саблю, пику, такъ тяжелую, что мнѣ кажется она бревномъ;

дали шерстяные эполеты, каску съ султаномъ, бѣлую перевязь съ подсумкомъ, наполненнымъ патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надѣюсь однакожъ привыкнуть; но вотъ къ чему нельзя уже никогда привыкнуть — такъ это къ тиранскимъ казеннымъ сапогамъ! они какъ желѣзные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! ахъ Боже! я точно прикована къ землѣ тяжестію моихъ ногъ и огромныхъ брячащихъ шпоръ!

«Съ того дня какъ я надѣла казенные сапоги, не могу уже болѣе попрежнему прогуливаться, и будучи всякой день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядахъ съ заступомъ, выкапывая оставшійся картофель. Поработавъ прилежно часа четыре сряду, успѣваю нарыть столько, чтобъ наполнить имъ мою фуражку; тогда несу въ торжествѣ мою добычу къ хозяйкѣ, чтобы она сварила ее; суровая эта женщина всегда съ ворчаньемъ вырветъ у меня изъ рукъ фуражку, нагруженную картофелемъ, съ ворчаньемъ высыпаетъ въ горшокъ, и когда поспѣетъ, то, выложивъ въ деревянную миску, такъ толкнетъ ее ко мнѣ по столу, что всегда нѣсколько ихъ раскатится по полу; что́ за злая баба! а, кажется, ей нечего жалѣть картофелю, онъ весь уже снятъ и гдѣ-то у нихъ запрятанъ; плодъ же неусыпныхъ трудовъ моихъ не что иное, какъ оставшійся очень глубоко въ землѣ, или какъ-нибудь укрывшійся отъ вниманія работавшихъ».

Но дѣвушка не унываетъ, не падаетъ духомъ, не думаетъ о возвратѣ домой, къ нѣжно любящему ее отцу:

Прошло немного времени — и вотъ она мечтаетъ о битвахъ, она счастлива, что полкъ ихъ идетъ въ дѣло, за границу, противъ страшнаго Наполеона.

«Мы идемъ за границу! въ сраженье!—восклицаетъ она. —

Я такъ рада и такъ печальна! Если меня убьютъ, что̀ будетъ съ старымъ отцомъ моимъ! Онъ любилъ меня»...

«Черезъ нѣсколько часовъ я оставлю Россію и буду въ чужой землѣ... Пишу къ отцу, гдѣ я и что̀ я теперь. Пишу, что, падая къ стопамъ его, и обнимая колѣна, умоляю простить мнѣ побѣгъ мой, дать благословеніе и позволить итти путемъ, необходимымъ для моего счастія. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и онѣ будутъ говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велѣно выводить лошадей; мы сію минуту выступаемъ; мнѣ позволяютъ ѣхать, служить и сражаться на моемъ Алкидѣ. Мы идемъ въ Пруссію»...

Наконецъ, она сталкивается лицемъ къ лицу съ смертью—и не пятится назадъ.

22-го мая 1807 года, въ Гутштадтѣ, она записываетъ въ своемъ дневникѣ:

«Въ первый разъ еще видѣла я сраженіе и была въ немъ. Какъ много пустого наговорили мнѣ о первомъ сраженіи, о страхѣ, робости, и наконецъ отчаянномъ мужествѣ. Какой вздоръ! Полкъ нашъ нѣсколько разъ ходилъ въ атаку, но не вмѣстѣ, а поэскадронно. Меня бранили за то, что я съ каждымъ эскадрономъ ходила въ атаку; но это, право, было не отъ излишней храбрости, а просто отъ незнанія; я думала, такъ надобно, и очень удивлялась, что вахмистръ чужого эскадрона, подлѣ котораго я неслась какъ вихрь, кричалъ на меня: «да провались ты отсюда! зачѣмъ ты здѣсь скачешь?» Воротившись къ своему эскадрону, я не стала въ свой ранжиръ, но разъѣзжала по-близости: новость зрѣлища поглотила все мое вниманіе; грозный и величественный гулъ пушечныхъ выстрѣловъ, ревъ или какое-то рокотанье летящаго ядра, скачущая конница, блестящіе штыки пѣхоты, барабанный бой и твердый шагъ и покойный

видъ, съ какимъ пѣхотные полки наши шли на непріятеля, все это наполняло душу мою такими ощущеніями, которыхъ я никакими словами не могу выразить»...

Во время битвы она увидѣла, что нѣсколько человѣкъ непріятельскихъ драгунъ, окруживъ русскаго офицера, выбили его выстрѣлами изъ сѣдла. Раненый офицеръ упалъ и драгуны хотѣли рубить его лежащаго. И что́ же дѣлаетъ эта шестнадцатилѣтняя дѣвочка?

«Въ ту жъ минуту—говоритъ она—я понеслась къ нимъ, держа пику на перевѣсъ. Надобно думать, что эта сумасбродная смѣлость испугала ихъ, потому что они въ тоже мгновеніе оставили офицера и разсыпались врозь»...

Она спасла раненаго, посадила его на свою лошадь и отправила въ обозъ, а сама осталась пѣшкомъ въ самой жаркой сѣчѣ. Спасенный ею раненый былъ Панинъ, офицеръ изъ знатной фамиліи.

Труды боевой жизни истомили, наконецъ, этого необыкновеннаго ребенка, истомили физически, но не сломили ея духа, ея упрямой воли: истомили ее необычайныя трудности летучей войны—голодъ, холодъ, недостатокъ сна, сырость, спанье въ болотахъ.

«Есть, однакожъ, границы, далѣе которыхъ человѣкъ не можетъ итти! — записываетъ она въ своемъ дневникѣ. — Я падала отъ сна и усталости; платье мое было мокро. Двое сутокъ я не спала и не ѣла, безпрерывно на маршѣ, а если и на мѣстѣ, то—все-таки на конѣ, въ одномъ мундирѣ (у нея украли шинель), безпрестанно подверженная холодному вѣтру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабѣвали отъ-часу болѣе. Мы шли съ-правя по три, но если случался мостикъ или какое другое затрудненіе, что нельзя было проходить отдѣленіями, тогда шли по два в

рядъ, а иногда и по одному; въ такомъ случаѣ четвертому взводу приходилось стоять по нѣсколько минутъ неподвижно на одномъ мѣстѣ; я была въ четвертомъ взводѣ, и при всякой благодѣтельной остановкѣ его, вмигъ сходила съ лошади, ложилась на землю, и въ ту жъ секунду засыпала. Взводъ трогался съ мѣста, товарищи кричали, звали меня, и, какъ сонъ часто прерываемый не можетъ быть крѣпокъ, то я тотчасъ просыпалась, вставала и карабкалась на лошадь, на своего Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановкѣ; я вывела изъ терпѣнія своего унтеръ-офицера и разсердила товарищей: всѣ они сказали мнѣ, что бросятъ меня на дорогѣ, если я еще хоть разъ сойду съ лошади.— «Вѣдь ты видишь, что мы дремлемъ, да не встаемъ же съ лошадей и не ложимся на землю; дѣлай и ты такъ». Вахмистръ ворчалъ въ полголоса: «Зачѣмъ эти щенята лѣзутъ въ службу! Сидѣли бы въ гнѣздѣ своемъ!» Остальное время я оставалась уже на лошади—дремала, засыпала, наклонялась до самой гривы Алкида, и поднималась съ испугомъ; мнѣ казалось, что я падаю! Я какъ будто помѣшалась! Глаза открыты, но предметы измѣняются какъ во снѣ. Уланы кажутся мнѣ лѣсомъ, лѣсъ уланами! Голова моя горитъ, но сама дрожу, мнѣ очень холодно. Все на мнѣ мокро до тѣла»...

Трудно повѣрить, чтобы человѣкъ могъ все это выносить, а между тѣмъ это выносила нѣжная дѣвочка—и ужасы битвъ, пожженныя села—трупы убитыхъ товарищей и непріятелей — и дѣвочка видѣла все это, и не пятилась назадъ.

Она выноситъ на своихъ плечахъ и Фридландъ—это страшное воспоминаніе изъ нашего прошлаго.

«Въ этомъ жестокомъ и неудачномъ сраженіи—говоритъ она—храбраго полка нашего легло болѣе половины! Нѣсколько разъ

ходили мы въ атаку, нѣсколько разъ прогоняли непріятеля, и въ свою очередь не одинъ разъ были прогнаны. Насъ осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свистъ адскихъ пуль совсѣмъ оглушилъ меня. О, я ихъ терпѣть не могу! Дѣло другое ядро. Оно по крайней мѣрѣ реветъ такъ величественно и съ нимъ вездѣ короткая раздѣлка. Послѣ нѣсколькихъ часовъ жаркаго сраженія, остатку полка нашего велѣно нѣсколько отступить для отдохновенія. Пользуясь этимъ, я поѣхала смотрѣть, какъ дѣйствуетъ наша артиллерія, вовсе не думая того, что мнѣ могутъ сорвать голову совершенно даромъ. Пули осыпали меня и лошадь мою; но что значатъ пули при этомъ дикомъ, безумолкномъ ревѣ пушекъ»...

И тутъ она спасаетъ одного улана своего полка. Раненый въ голову, уланъ обезумѣлъ — ѣздитъ по полю, но не падаетъ — приросъ къ сѣдлу, по привычкѣ: кажется, и мертвый онъ не упалъ бы съ своего коня, потому что дѣвушкѣ прямо говорили старые солдаты, что уланъ никогда, даже убитый, не долженъ падать съ лошади: онъ имѣетъ право упасть только вмѣстѣ съ конемъ!

Дѣвушка беретъ ополоумѣвшаго отъ раны товарища и доставляетъ въ безопасное мѣсто, сама подвергаясь тысячамъ опасностей.

Генералъ Каховскій, когда она разъ воротилась къ эскадрону послѣ спасенія одного товарища, не вытерпѣлъ и сталъ бранить ее за безразсудную храбрость, говоря, что «храбрость ея сумасбродная, сожалѣніе безумно», что «бросается она въ пылъ битвы, когда не должно, ходитъ въ атаку съ чужими эскадронами, среди сраженія спасаетъ встрѣчнаго и поперечнаго, и отдаетъ лошадь свою кому вздумается, а самъ (самъ—онъ!) остается пѣшкомъ среди сильнѣйшей сшибки».

Послѣ этой боевой, тяжелой жизни войска возвращаются въ Россію. Они въ Полоцкѣ.

Слухи о необыкновенной дѣвушкѣ доходятъ, наконецъ, и до государя, императора Александра Павловича.

Вотъ что она пишетъ по этому случаю въ Полоцкѣ:

«Какой-то важный переворотъ готовится въ жизни моей. Каховскій спрашивалъ меня: согласны ли были мои родители, чтобы я служила въ военной службѣ? и не противъ ли ихъ воли это сдѣлалось? Я тотчасъ сказала правду, что отецъ и мать моя никогда бъ не отдали меня въ военную службу; но что имѣя непреодолимую наклонность къ оружію, я тихонько ушла отъ нихъ съ казачьимъ полкомъ. Хотя мнѣ только семнадцать лѣтъ, однако жъ я имѣю уже столько опытности, чтобы угадать тотчасъ, что Каховскій знаетъ обо мнѣ болѣе, нежели показываетъ, потому что, выслушавъ мой отвѣтъ, онъ не оказалъ и виду удивленія къ странному образу мыслей моихъ родителей, не хотѣвшихъ отдать сына въ военную службу, тогда какъ все дворянство предпочтительно избираетъ для дѣтей своихъ военное званіе. Онъ сказалъ только, что мнѣ должно ѣхать въ Витебскъ къ Буксгевдену съ господиномъ Нейдгардтомъ, его адъютантомъ».

Тутъ былъ и Нейдгардтъ. Молча поклонившись необыкновенной дѣвушкѣ, онъ повелъ ее къ себѣ на квартиру. У нея взяли оружіе. Когда онъ ввелъ ее въ залу, изъ всѣхъ дверей повысовывались головы — всѣ догадывались, что подъ этой странной личностью кроется что-то не то, за что выдаетъ себя молодой уланикъ.

Привезли ее затѣмъ въ Витебскъ къ главнокомандующему.

Точно сказочная Анна д'Аркъ воскресла въ Россіи и явилась продолжать свое дѣло.

— Я много слышалъ о вашей храбрости—сказалъ Буксгев-

денъ — и мнѣ очень пріятно, что всѣ ваши начальники отозвались объ васъ самымъ лучшимъ образомъ... Вы не пугайтесь того, что̀ скажу вамъ — продолжалъ онъ: — я долженъ отослать васъ къ государю. Онъ желаетъ видѣть васъ. Но повторяю, не пугайтесь этого: государь нашъ исполненъ милости и великодушія; вы узнаете это на опытѣ.

Дѣвушка, однако, испугалась. Ей представилась картина прощанья съ полкомъ, съ своею полною тревогъ жизнью, съ товарищами.

— Государь отошлетъ меня домой, ваше сіятельство, — и я умру съ печали!

Этотъ порывъ тронулъ главнокомандующаго.

— Не опасайтесь этого — сказалъ онъ: — въ награду вашей неустрашимости и отличнаго поведенія, государь не откажетъ вамъ ни въ чемъ. А какъ мнѣ велѣно сдѣлать о васъ выправки, то я, къ полученнымъ мною отзывамъ вашего шефа, эскадроннаго командира, взводнаго начальника и ротмистра Казимирскаго, приложу еще и свое донесеніе. Повѣрьте мнѣ, что у васъ не отнимутъ мундира, которому вы сдѣлали столько чести.

Дѣвушку сдали на руки флигель-адъютанту государя, Зассу. Съ нимъ она и отправилась въ Петербургъ.

Когда дѣвушка въ формѣ рядового улана вошла въ кабинетъ императора, «государь—говоритъ самъ этотъ необычайный уланъ— тотчасъ подошелъ ко мнѣ, взялъ за руку и, приблизясь со мною къ столу, оперся одной рукой на него, а другою продолжая держать мою руку, сталъ спрашивать въ полголоса и съ такимъ выраженіемъ милости, что вся моя робость исчезла и надежда снова ожила въ душѣ моей»:

— Я слышалъ — сказалъ государь — что вы не мужчина — правда ли это?

«Я не вдругъ собралась съ духомъ сказать: «да, ваше величество, правда». Съ минуту стояла я, потупивъ глаза, и молчала; сердце мое сильно билось и рука дрожала въ рукѣ царевой. Государь ждалъ. Наконецъ, поднявъ глаза на него и сказывая свой отвѣтъ, я увидѣла, что государь краснѣетъ; вмигъ покраснѣла я сама, опустила глаза и не поднимала уже ихъ до той минуты, въ которую невольное движеніе печали повергло меня къ стопамъ государя».

Императоръ распрашивалъ ее, что̀ было причиною, побудившею ее поступить такимъ образомъ.

Дѣвушка все сказала, что̀ уже намъ извѣстно.

Государь хвалилъ ея неустрашимость, говорилъ, что «это первый примѣръ въ Россіи»; что «всѣ ея начальники отозвались о ней съ великими похвалами, называя храбрость ея безпримѣрною».

— Мнѣ очень пріятно этому вѣрить—продолжалъ государь—и я желаю сообразно этому наградить васъ и возвратить съ честью въ домъ отцовскій, давъ...

Она не дала кончить государю. Вскрикнувъ отъ ужаса, дѣвушка упала къ ногамъ императора.

— Не отсылайте меня домой, ваше величество! не отсылайте! Я умру тамъ, непремѣнно умру! Не заставьте меня сожалѣть, что не нашлось ни одной пули для меня въ эту кампанію. Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотѣла ею пожертвовать для васъ...

Дѣвушка обнимала колѣни государя.

Императоръ былъ тронутъ, поднялъ ее и спросилъ измѣнившимся голосомъ:

— Чего жъ вы хотите?

— Быть воиномъ, носить мундиръ, оружіе. Это единственная награда, которую вы можете дать мнѣ, государь. Другой нѣтъ для меня. Я родилась въ лагерѣ. Трубный звукъ былъ колыбельной пѣснью для меня. Со дня рожденія люблю я военное званіе. Съ десяти лѣтъ обдумывала средства вступить въ него—въ шестнадцать достигла цѣли своей, одна, безъ всякой помощи. На славномъ постѣ своемъ поддерживалась однимъ только своимъ мужествомъ, не имѣя ни отъ кого ни протекціи, ни пособія. Всѣ согласно признали, что я достойно носила оружіе, а теперь ваше величество хотите отослать меня домой. Если бъ я предвидѣла такой конецъ, то ничто не помѣшало бъ мнѣ найти славную смерть въ рядахъ воиновъ вашихъ.

Государь былъ видимо разстроганъ.

— Если вы полагаете—сказалъ онъ—что одно только позволеніе носить мундиръ и оружіе можетъ быть вашею наградою, то вы будете имѣть ее, и будете называться по моему имени—Александровымъ.—Не сомнѣваюсь, что вы сдѣлаетесь достойною этой чести отличностію вашего поведенія и поступковъ. Не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть безпорочно и что я не прощу вамъ никогда и тѣни пятна на немъ.

Послѣ этого государь приказалъ опредѣлить ее офицеромъ въ маріупольскій гусарскій полкъ.

Когда дѣвушка вышла изъ кабинета, ее окружили пажи: «Что говорилъ съ вами государь? произвелъ ли васъ въ офицеры?»

Въ другой разъ, когда она входила въ кабинетъ государя, императоръ встрѣтилъ ее словами:

— Мнѣ сказывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у непріятеля? Разскажите мнѣ объ этомъ.

Она разсказала о томъ, какъ спасла Панина.

— Это извѣстная фамилія—замѣтилъ государь—и неустрашимость ваша въ этомъ одномъ случаѣ сдѣлала вамъ болѣе чести, нежели въ продолженіе всей кампаніи, потому что имѣла основаніемъ лучшую изъ добродѣтелей—состраданіе. Хотя поступокъ вашъ служитъ самъ себѣ наградою, однако жъ справедливость требуетъ, чтобъ вы получили и ту, которая вамъ слѣдуетъ по статуту: — за спасеніе жизни офицера дается георгіевскій крестъ.

И онъ вдѣлъ ей въ петлицу этотъ орденъ.

Изъ Петербурга дѣвушка опять поѣхала въ полкъ.

Опять начались труды военной жизни.

Не будемъ слѣдить шагъ за шагомъ за невѣроятными переходами и подробностями этой жизни:—въ цѣломъ и въ частяхъ вся эта жизнь такъ драматична, исполнена такого глубокаго интереса, что многому съ трудомъ бы вѣрилось, если бы все это не было въ дѣйствительности такъ, какъ оно дошло до насъ и какъ это могли засвидѣтельствовать сотни лицъ, между которыми обращалось это странное, непонятное для нихъ существо и изъ которыхъ нѣкоторые еще остались въ живыхъ. Драматизмъ событій, связанныхъ съ жизнью Дуровой, усиливается оттого именно, что главное, дѣйствовавшее въ этой драмѣ лицо было не тѣмъ, за что всѣ его принимали.

Наконецъ, дѣвушкѣ захотѣлось къ отцу:—три съ половиной года она не видала его. Мать ея, между тѣмъ, умерла.

«Я много перемѣнилась—выросла, пополнѣла (пишетъ она по этому случаю): лицо мое изъ бѣлаго и продолговатаго сдѣлалось смуглымъ и круглымъ; волосы, прежде свѣтлорусые, теперь потемнѣли».

И вотъ она ѣдетъ одна, на перекладныхъ, за тысячи верстъ.

«Я пріѣхала домой точно въ ту пору ночи, въ которую оста-

вила кровъ отеческій—въ часъ пополуночи. Ворота были заперты. Я взяла изъ саней саблю и маленькій чемоданъ, и отпустила своего ямщика въ обратный путь».

Съ печалью входитъ она въ домъ отца, пробравшись въ садъ черезъ то отверстіе, въ которое она лазила еще ребенкомъ. «И теперь я вошла черезъ него. Думала ли я, когда вылѣзала изъ этой лазейки въ бѣломъ канифасномъ платьицѣ, робко оглядываясь и прислушиваясь, дрожа отъ страха и холодной ночи, что войду нѣкогда въ то жъ отверстіе и тоже ночью—гусаромъ!»

Все спитъ кругомъ. Словно Одиссей, и она находитъ дома престарѣлыхъ друзей своихъ—собакъ: ее узнали эти собаки, а люди сначала не узнали.

Отецъ плакалъ отъ радости, и всѣ плакали, глядя на нее—да и было отчего. Это была уже не та рѣзвая дѣвочка, которую всѣ знали—это былъ другой человѣкъ, пережившій такъ много, создавшій изъ своей собственной жизни такую глубокую драму.

Но не долго жилось ей дома—жизнь, полная потрясающихъ ощущеній и контрастовъ тянула ее къ себѣ, потому что еще не израсходовала ея богатыхъ, дерзкихъ силъ.

И вотъ она снова на походахъ, на маршахъ. Ей самой разсказываютъ ея исторію—а никто не знаетъ, что та сказочная личность, о которой разсказывается, тутъ же, съ ними, слушаетъ, что о ней разсказываютъ.

Въ необходимыхъ случаяхъ она прямо обращалась къ государю съ своими письмами. Когда она нуждалась въ деньгахъ, то писала объ этомъ лично императору, и онъ приказывалъ выдавать ей деньги, сначала черезъ графа Ливена, потомъ черезъ Аракчеева, а послѣ черезъ Барклая-де-Толли. Имъ велѣно было доводить до свѣдѣнія государя «всѣ просьбы и желанія» таинственнаго молодого офицера.

Въ апрѣлѣ 1811 года она вновь перешла въ уланы, въ литовскій полкъ.

Наступилъ, наконецъ, памятный 1812 годъ. Войскамъ много работы.

«Сегодня сказали мы послѣднее прости гостепріимному дому Платера, всему жилищу нашему въ Домбровицѣ, и всему, что̀ насъ любило, и всему, что насъ плѣняло (пишетъ она отъ 11-го марта 1812 года). Мы идемъ въ Бѣльскъ, выострimъ свои пики, сабли, и пойдемъ далѣе.

«Говорятъ старики уланы, что всякой разъ, какъ войско русское двинется куда-нибудь, двинутся съ нимъ и всѣ непогоды. На этотъ разъ надобно имъ повѣрить: со дня выступленія провожаютъ насъ снѣгъ, холодъ, вьюга, дождь и пронзительный вѣтръ. У меня такъ болитъ кожа на лицѣ, что не могу̀ до нея дотронуться; по совѣту товарищей, я каждой вечеръ умываюсь сывороткой, и отъ этого средства боль немного прошла, но я сдѣлалась такъ черна, такъ черна, что ничего уже не знаю чернѣе себя».

Видно, что нѣжное лицо дѣвушки не для вьюгъ и вѣтровъ создано, хоть она подставляетъ это лицо подъ вьюги и подъ палящее солнце вотъ уже шестой годъ.

«Подъямпольскій (пишетъ она далѣе о своемъ эскадронномъ начальникѣ) занятъ расчетами въ штабѣ; я осталась старшимъ офицеромъ по немъ и командую эскадрономъ; впрочемъ, я калифъ на часъ; чрезъ два дня царствованіе мое кончится».

Изъ шестнадцатилѣтней дѣвочки вышелъ уже эскадронный командиръ, и старые усачи уланы не подозрѣваютъ, что ими командуетъ дѣвочка.

А вотъ и ея повседневная обстановка въ кругу этихъ усатыхъ уланъ:

«Въ этомъ селеніи—говоритъ она о с. Кастюхновкѣ—назначена эскадрону нашему дневка. Квартирою намъ четверымъ офицерамъ служитъ крестьянская хижина, почернѣлая, закоптѣлая, напитанная дымомъ, съ разтрепанною соломенною кровлею, земляным поломъ, и похожая снаружи на раздавленную черепаху. Передній уголъ этой лачуги принадлежитъ намъ; у порога и печи расположились наши деньщики, прилежно занимаясь чисткою удилъ, мундштуковъ, стремянъ, смазываньемъ ремней и тому подобными кавалерійскими работами. Неужели намъ оставаться цѣлый день въ такой конурѣ и въ такомъ товариществѣ! Мы рѣшились ѣхать на весь день къ помѣщику селенія, Соколовскому».

Но черезъ нѣсколько дней опять начинается трудовая жизнь сторожевыхъ пикетовъ: всю ночь на сѣдлѣ, въ разъѣздахъ, потому что тутъ подъ бокомъ страшный непріятель, который уже поработилъ и унизилъ всю Европу—надо сторожить зорко.

«Мы стоимъ въ бѣдной деревушкѣ, на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши осѣдланы, мы одѣты и вооружены; съ полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выѣзжаетъ за селеніе содержать пикетъ и дѣлать разъѣзды; другая остается въ готовности на лошадяхъ. Днемъ мы спимъ. Этотъ родъ жизни очень похожъ на описаніе, которое дѣлаетъ мертвецъ Жуковскаго:

Близъ Наревы домъ мой тѣсной:
Только мѣсяцъ поднебесной
Надъ долиною взойдетъ,
Лишь полночный часъ пробьетъ,
Мы коней своихъ сѣдлаемъ.
Темны кельи покидаемъ.

«Это точь-въ-точь мы, литовскіе уланы: всякую полночь сѣдлаемъ, выѣзжаемъ, и домикъ, который занимаемъ—тѣсенъ, малъ и близъ самой Наревы. О, сколько это положеніе опять дало

жизни всѣмъ моимъ ощущеніямъ! Сердце мое полно чувствъ, голова мыслей, плановъ, мечтаній, предположеній; воображеніе мое рисуетъ мнѣ картины, блистающія всѣми лучами и цвѣтами, какіе только есть въ царствѣ природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, дѣятельная жизнь! Какъ сравнить ее съ тою, какую вела я въ Домбровицѣ. Теперь каждый день, каждый часъ я живу и чувствую, что живу: о, въ тысячу, въ тысячу разъ превосходнѣе теперешній родъ жизни! Балы, танцы, волокитства, музыка... о, Боже, какія пошлости, какія скучныя занятія!»

Дѣйствительно, странное, непостижимое существо эта дѣвушка.

Она переноситъ все—и не жалуется. Какъ мономанъ извѣстной идеи, она и тѣло и нервы отдаетъ въ кабалу этой идеѣ—и то, отъ чего другому больно, не причиняетъ ей боли.

Эскадронъ переходитъ черезъ узкую плотину. Переходъ затрудненъ, и эскадронъ Дуровой стѣсненъ другими напирающими сзади кавалеристами. Лошади бьются, бѣсятся, стоятъ на-дыбахъ. Дѣвушку вдавили въ самую середину кавалерійской свалки. «Хотя я и видѣла—говоритъ она—какъ стоящая передо мною лошадь располагалась меня ударить своею, хорошо подкованною, ногою, но во власти моей было только съ мужествомъ дождаться и вытерпѣть этотъ ударъ:—отъ жестокой боли я вздохнула отъ глубины души!..» Ногу разнесло—и бѣдный кавалеристъ, долженствовавшій бы носить юпку вмѣсто рейтузъ, смачиваетъ раненую ногу водкою, своею ежедневною порціею, которой до сихъ поръ она не знала употребленія. Ногу такъ разнесло, что едва-едва дѣвушка спаслась отъ ампутированія больного члена.

Наши войска отступаютъ передъ страшнымъ Наполеономъ. Идутъ безъ дороги, лѣсами, болотами... А сзади идетъ битва... Уланы пока еще не въ дѣлѣ.

Дурова уже старый солдатъ. Она умѣетъ командовать, знаетъ всѣ порядки, всѣ тонкости и хитрости военнаго дѣла, даже партизанскаго. Она разставляетъ ведеты, смѣняетъ ихъ, по ночамъ рыщетъ отъ ведета къ ведету, чтобъ все было въ порядкѣ, чтобъ страшный непріятель не захватилъ ихъ въ расплохъ...

Ведетъ она отрядъ—но надо, чтобъ непріятель не услыхалъ бряцанья кавалерійской сбруи.—«Я приказываю уланамъ ѣхать по травѣ, прижать сабли колѣномъ къ сѣдлу и не очень сближаться одному съ другимъ, чтобъ не бренчать стременами»...

И это дѣвушка, попавшая въ наполеоновскую бойню изъ-за плетенья кружевъ...

А Наполеонъ все напираетъ, все подвигается вглубь Россіи. Русскія войска все отступаютъ.

Все тяжеле и тяжеле становится для необыкновенной дѣвушки эта воинская страда—она не спитъ ни дни, ни ночи—не сходитъ съ коня—то рыщетъ съ ведетами, то съ квартиргерами отводитъ мѣста подъ лагери, то летаетъ на своемъ скакунѣ какъ ординарецъ.

Наконецъ не выноситъ этого мыканья слабый организмъ молоденькой дѣвушки—и вотъ какъ трогательно ея признаніе въ томъ, что разъ она не вынесла гонки по полямъ и нечаянно заспалась въ своей временной квартиркѣ:

Три дня и три ночи она не смыкала глазъ, пока занимали мѣсто подъ Кадневымъ. «Я не въ силахъ долѣе выносить—говоритъ она въ своемъ журналѣ:—возвратясь изъ лагеря въ мѣстечко, я послала улана на дорогу смотрѣть, когда покажется полкъ, и дать мнѣ знать, а сама пошла въ квартиру въ намѣреніи что-нибудь съѣсть и послѣ заснуть, если удастся. Въ ожиданіи обѣда легла я на хозяйскую постель и болѣе ничего уже не помню... Проснувшись поздно вечеромъ, я очень удивилась,

что дали мнѣ такъ долго спать; въ горницѣ не было ни огня, ни людей. Я поспѣшно встала, и отворя дверь въ сѣни, кликнула своего унтеръ-офицера. Онъ явился: «развѣ полкъ не пришелъ еще?» спросила я. Онъ отвѣчалъ, что нѣтъ, а что пришелъ только одинъ кіевской драгунской.—«Для чего жъ вы не разбудили меня?»—«Не могли, ваше благородіе,—вы спали сномъ смертнымъ; мы сначала будили васъ тихонько, но послѣ трясли за руки, за плечи, посадили васъ, поднесли свѣчу къ самымъ глазамъ вашимъ, наконецъ брызнули холодною водою въ лицо ваше; все напрасно—вы даже не пошевелились. Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы, не успѣвъ разбудить васъ, положили опять въ постель: «бѣдное дитя! онъ какъ мертвый! зачѣмъ вы берете такихъ молодыхъ въ службу?» Она, наклонясь къ вамъ, прислушивалась, дышите ли вы...»

И между тѣмъ все еще не разоблачилась тайна ея пола. Она тихонько отъ своихъ товарищей офицеровъ и отъ солдатъ ходитъ на рѣку купаться, и никто не подозрѣвалъ, что подъ уланскими рейтузами и грубымъ мундиромъ—непривычное къ этой жосткой одеждѣ тѣло женщины, знавшее только кисею да шолкъ.

А Наполеонъ все гонится по пятамъ. Нѣтъ отдыху нашимъ войскамъ. То тамъ, то здѣсь происходятъ стычки, партизанская расправа. Но армія все бѣжитъ вглубь своего неизмѣримаго отечества.

Дѣвушка изнемогаетъ, и всего больше боится, что это изнеможеніе отъ нечеловѣческаго труда припишутъ ея полу, ея хрупкости, неспособности, недостатку энергіи...

«Охота же такъ бѣжать! (восклицаетъ она въ своихъ любопытныхъ запискахъ)... Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Смертельно боюсь изнемочь. Впослѣдствіи это припишутъ не чрезмѣрности столькихъ трудовъ, но слабости моего пола. Мы идемъ и день

и ночь. Отдохновеніе наше состоитъ въ томъ только, что остановя полкъ, позволятъ намъ сойти съ лошадей на полчаса. Уланы тотчасъ ложатся у ногъ своихъ лошадей, а я, облокотясь на сѣдло, кладу голову на руку, но не смѣю закрыть глазъ, чтобъ невольный сонъ не овладѣлъ мною. Мы не только не спимъ, но и не ѣдимъ; спѣшимъ куда-то! Ахъ, бѣдной нашъ полкъ!

«Чтобъ прогнать сонъ, меня одолѣвающій, я встаю съ лошади и иду пѣшкомъ, но силы мои такъ изнурены, что я спѣшу опять сѣсть на лошадь и съ трудомъ поднимаюсь на сѣдло. Жажда палитъ мою внутренность. Воды нѣтъ нигдѣ, исключая канавъ, по бокамъ дороги. Я сошла опять съ лошади и съ величайшимъ неудобствомъ достала на самомъ днѣ канавы отвратительной воды, теплой и зеленой. Я набрала ее въ бутылку, и, сѣвъ съ этимъ сокровищемъ на лошадь, везла еще верстъ пять, держа бутылку передъ собою на сѣдлѣ, не имѣя рѣшимости ни выпить, ни бросить эту гадость. Но чего не дѣлаетъ необходимость! Я кончила тѣмъ, что выпила адскую влагу...»

«Если бъ я имѣла милліоны—говоритъ она далѣе—отдала бы ихъ теперь всѣ за позволеніе уснуть. Я въ совершенномъ изнеможеніи. Всѣ мои чувства жаждутъ успокоенія... Мнѣ вздумалось взглянуть на себя въ свѣтлую полосу своей сабли (вмѣсто зеркала!)—лицо у меня блѣдно какъ полотно и глаза потухли! Съ другими нѣтъ такой сильной перемѣны, и вѣрно отъ того, что они умѣютъ спать на лошадяхъ; я не могу...

«Въ эту ночь Подъямпольскій бранилъ меня и Сазарова за то, что люди нашихъ взводовъ дремлютъ, качаются въ сѣдлѣ и роняютъ каски съ головъ. Полчаса спустя послѣ этого выговора, мы у идѣли его самого ѣдущаго съ закрытыми глазами и весьма крѣпко спящаго на своемъ шагистомъ конѣ. Утѣшаясь

этимъ зрѣлищемъ, мы поѣхали рядомъ, чтобъ увидѣть, чѣмъ это кончится; но Сазаровъ хотѣлъ непремѣнно отомстить ему за выговоръ: онъ пришпорилъ свою лошадь и проскакалъ мимо Подъямпольскаго; конь его бросился со всѣхъ ногъ, а мы имѣли удовольствіе видѣть испугъ и торопливость, съ какою Подъямпольскій спѣшилъ подобрать повода, выпавшіе изъ руки его».

Но вотъ русскія войска уже передъ Смоленскомъ. Имъ объявляютъ манифестъ, что «государь не удерживаетъ болѣе мужества войскъ и даетъ свободу отмстить непріятелю за скуку противувольнаго отступленія, до сего времени необходимаго».

И вотъ дѣвушка заноситъ въ свой любопытный дневникъ:

«Я опять слышу грозный, величественный гулъ пушекъ! Опять вижу блескъ штыковъ. Первый годъ моей воинственной жизни воскресаетъ въ памяти моей... Нѣтъ! трусъ не имѣетъ души,—иначе какъ могъ бы онъ видѣть, слышать все это и не пламенѣть мужествомъ? Часа два дожидались мы приказанія подъ стѣнами крѣпости смоленской; наконецъ, велѣно намъ итти на непріятеля. Жители города, видя насъ проходящихъ въ порядкѣ, устройствѣ, съ геройскою осанкою и увѣренностію въ своихъ силахъ, провожали насъ радостными восклицаніями; нѣкоторые, а особливо старики, безпрерывно повторяли: «помоги Богъ! помоги Богъ!» какимъ-то необыкновенно торжественнымъ голосомъ, который и заставлялъ меня содрогаться и приводилъ въ умиленіе».

Подъ Смоленскомъ дѣвушка участвовала въ битвѣ и была на волосъ отъ смерти.

Когда ея эскадрону велѣно было поворотить отъ непріятеля, чтобъ завлечь его далѣе, въ середину русскаго войска, Дурова скакала позади своего эскадрона, надѣясь на быстрый бѣгъ своего коня.

*

«Удерживая коня—говоритъ она—неслась я большимъ галопомъ вслѣдъ скачущаго эскадрона, но, слыша близко за собою скокъ лошадей и увлекаясь невольнымъ любопытствомъ, не могла не оглянуться. Любопытство мое было вполнѣ награждено: я увидѣла скачущихъ за мною на аршинъ только отъ крестца моей лошади трехъ или четырехъ непріятельскихъ драгунъ, старавшихся достать меня палашами въ спину. При семъ видѣ, я хотя не прибавила скорости моего бѣга, но сама не знаю для чего закинула саблю за спину остреемъ вверхъ».

Дѣвушка, однако, спаслась.

А вотъ описаніе случая, гдѣ видна такая трогательная заботливость о Дуровой ея начальника, ротмистра Подъямпольскаго, которому такъ жаль и страшно было за нѣжнаго мальчика (какъ ему казалось) въ этомъ царствѣ ужаса и смерти.

Войска стоятъ другъ противъ друга. Идетъ артиллерійское дѣло въ перемежку съ ружейнымъ огнемъ.

«На этомъ мѣстѣ мы будемъ до завтра (говоритъ дѣвушка). Бутырскій полкъ смѣненъ другимъ, и теперь пули не только долетаютъ до насъ, но и ранятъ. Подъямпольскому это очень непріятно. Наконецъ, наскучa видѣть, что у насъ то того, то другого уводили за фронтъ, онъ послалъ меня въ Смоленскъ къ Штакельбергу сказать о критическомъ положеніи нашемъ, и спросить, что̀ онъ прикажетъ дѣлать? Я исполнила, какъ было велѣно, сказала Штакельбергу, что у насъ много ранено людей, и спросила, какое будетъ его приказаніе? «Стоять, отвѣчалъ Штакельбергъ, стоять, не трогаясь ни на шагъ съ мѣста. Странно, что Подъямпольскій присылаетъ объ этомъ спрашивать!» Я съ великимъ удовольствіемъ повезла этотъ прекрасный отвѣтъ своему ротмистру. «Что̀—кричалъ мнѣ издали Подъямпольскій—что велѣно?»—«Стоять, ротмистръ!»—«Ну, стоять, такъ стоять», ска-

залъ онъ покойно, и оборотясь къ фронту съ тѣмъ неустрашимымъ видомъ, который такъ ему свойственъ, хотѣлъ было нѣсколько ободрить солдатъ, но къ удовольствію своему увидѣлъ, что они не имѣютъ въ этомъ нужды: взоры и лица храбрыхъ уланъ были веселы; недавняя побѣда одушевила черты ихъ геройствомъ. Весь ихъ видъ говорилъ: бѣда непріятелю! Къ вечеру второй полуэскадронъ спѣшился, и я, имѣя тогда свободу отойти отъ своего мѣста, пошла къ ротмистру спрашивать о всемъ томъ, что въ этотъ день казалось мнѣ непонятнымъ. Подъямпольскій стоялъ у дерева, подперши голову рукою, и смотрѣлъ безъ всякаго участія на перестрѣлку; примѣтно было, что мысль его не здѣсь. «Скажите мнѣ, ротмистръ, для чего вы посылали къ Штакельбергу меня, а не унтеръ-офицера? Не правда ли, что вы хотѣли укрыть меня отъ пуль?»—«Правда, отвѣчалъ задумчиво Подъямпольскій: ты такъ еще молодъ, такъ невинно смотришь, и среди сихъ страшныхъ сценъ такъ веселъ и безпеченъ. Я видѣлъ, какъ ты скакалъ позади всего эскадрона во время безпорядочнаго бѣгства нашего отъ кирпичныхъ сараевъ, и мнѣ казалось, что я вижу барашка, за которымъ гонится стая волковъ. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видѣть тебя убитымъ. Не знаю, Александровъ, отъ чего мнѣ кажется, что если тебя убьютъ, то это будетъ убійство противное законамъ. Дай Богъ, чтобъ я не былъ этому свидѣтелемъ! Ахъ, пуля не разбираетъ. Она пробиваетъ равно какъ грудь стараго воина, такъ и сердце цвѣтущаго юноши».—Меня удивило такое грустное расположеніе духа моего ротмистра и необыкновенное участіе ко мнѣ, какого прежде я не замѣчала; но, вспомня, что у него братъ, нѣжно имъ любимый, остался въ маріупольскомъ полку одинъ, предоставленный произволу судьбы и собственнаго разума, нашла весьма натуральнымъ, что мой видъ незрѣлаго юноши и

опасности войны привели ему на память брата, дѣтскій возрастъ его и положеніе, въ какомъ онъ можетъ случиться при столь жаркой войнѣ».

Не дрогнуло сердце дѣвушки и передъ страшною бородинскою битвою. Она дралась вмѣстѣ съ прочими, изъ коихъ одни погибли, а другіе уцѣлѣли.

Заглянемъ въ ея дневникъ.

«26-е августа. Адской день! Я едва не оглохла отъ дикаго, неумолкаемаго рева обѣихъ артиллерій. Ружейныя пули, которыя свистали, визжали, шипѣли и какъ градъ осыпали насъ, не обращали на себя ничьего вниманія, даже и тѣхъ, кого ранили—и они не слыхали ихъ: до нихъ ли было намъ!.. Эскадронъ нашъ ходилъ нѣсколько разъ въ атаку»... и т. д.

Дурова пишетъ, что она зябла весь бородинскій день, хоть дѣло и было жаркое—вѣтеръ пронизывалъ насквозь; самъ Наполеонъ получилъ насморкъ—историческій насморкъ, помѣшавшій ему выиграть роковую битву...

Дѣвушка получила контузію въ ногу отъ ядра—и все оставалась въ рядахъ, пока ее не отослали къ прочимъ раненымъ.

Въ высшей степени интересно знакомство дѣвушки съ знаменитымъ «дѣдушкою Кутузовымъ», отдавшимъ Москву французамъ.

— Что тебѣ надобно, другъ мой? спросилъ Кутузовъ, смотря пристально на явившагося къ нему молоденькаго, безусаго уланика.

— Я желалъ бы имѣть счастье быть вашимъ ординарцемъ во все продолженіе кампаніи и пріѣхалъ просить васъ объ этой милости, отвѣчалъ молоденькій уланикъ.

— Какая же причина такой необыкновенной просьбы, а еще болѣе способа, какимъ предлагаете ее?

Дѣвушка разсказала, что заставило ее принять эту рѣшимость, и, увлекаясь воспоминаніемъ незаслуженнаго оскорбленія

въ полку за невольное несоблюденіе формальности, говорила съ чувствомъ, жаромъ и въ смѣлыхъ выраженіяхъ.

— Я родилась и выросла въ лагерѣ (говорила она между прочимъ), я люблю военную службу со дня моего рожденія, посвятила ей жизнь мою навсегда, готова пролить всю кровь свою, защищая пользы государя, котораго чту какъ Бога, и, имѣя такой образъ мыслей, и репутацію храбраго офицера, я не заслуживаю быть угрожаемъ смертію...

Она остановилась, какъ сама признается, отчасти отъ полноты чувствъ, частью же и отъ нѣкотораго замѣшательства: она замѣтила, что при словѣ «храбраго офицера» на лицѣ главнокомандующаго показалась легкая усмѣшка. Это заставило дѣвушку покраснѣть: она угадала мысль Кутузова, и чтобъ оправдаться, рѣшилась сказать о себѣ все.

— Въ прусскую кампанію, ваше высокопревосходительство, всѣ мои начальники такъ много и такъ единодушно хвалили смѣлость мою и даже самъ Буксгевденъ назвалъ ее «безпримѣрною», что послѣ всего этого я считаю себя въ правѣ назваться храбрымъ, не опасаясь быть сочтенъ за самохвала.

— Въ прусскую кампанію! Развѣ вы служили тогда? Который вамъ годъ? Я полагалъ, что вы не старѣе шестнадцати лѣтъ.

Дѣвушка сказала, что ей уже 23-й годъ, и что въ прусскую кампанію она служила въ конно-польскомъ полку.

— Какъ ваша фамилія? спросилъ поспѣшно главнокомандующій.

— Александровъ.

Кутузовъ всталъ и обнялъ дѣвушку.

— Какъ я радъ — говорилъ старикъ — что имѣю наконецъ удовольствіе узнать васъ лично! Я давно уже слышалъ объ васъ. Останьтесь у меня, если вамъ угодно,—мнѣ очень пріятно бу-

детъ доставить вамъ нѣкоторое отдохновеніе отъ тягости трудовъ военныхъ. Что жъ касается до угрозы разстрѣлять васъ—прибавилъ Кутузовъ, усмѣхаясь—то вы напрасно приняли ее такъ близко къ сердцу: это были пустыя слова, сказанныя въ досадѣ. Теперь пойдите къ дежурному генералу Коновницыну и скажите ему, что вы у меня безсмѣннымъ ординарцемъ.

Дѣвушка пошла было, но Кутузовъ опять позвалъ ее.

— Вы хромаете? Отчего это?

Дурова сказала, что въ сраженіи подъ Бородинымъ получила контузію отъ ядра.

— Контузію отъ ядра! и вы не лечитесь! Сейчасъ скажите доктору, чтобъ осмотрѣлъ вашу ногу.

Дурова отвѣчала, что контузія была очень легкая и что раненая нога почти не болитъ.

«Говоря это (прибавляетъ дѣвушка), я лгала: нога моя болѣла жестоко и была вся багровая».

Немного послѣ она пишетъ.

«Лихорадка изнуряетъ меня. Я дрожу какъ осиновый листъ... Меня посылаютъ двадцать разъ на-день въ разныя мѣста. На бѣду мою, Коновницынъ вспомнилъ, что я, бывъ у него на ординарцахъ, оказалась отличнѣйшимъ изо всѣхъ, тогда бывшихъ при немъ. «А, здравствуйте, старый знакомый!» сказалъ онъ, увидя меня на крыльцѣ дома, занимаемаго главнокомандующимъ, и съ того дня не было уже мнѣ покоя: куда только нужно было послать скорѣе, Коновницынъ кричалъ: «уланскаго ординарца ко мнѣ!» — и бѣдный уланскій ординарецъ носился какъ блѣдный вампиръ отъ одного полка къ другому, а иногда и изъ одного крыла арміи къ другому».

Наконецъ, Кутузовъ велѣлъ позвать къ себѣ этого блѣднаго ординарца.

— Ну, что̀ — сказалъ онъ, взявъ дѣвушку за руку, какъ только она вошла: — покойнѣе ли у меня нежели въ полку? Отдохнулъ ли ты? Что̀ твоя нога?

Дѣвушка принуждена была сказать правду, что нога болитъ до нестерпимости, что отъ этого у нея всякій день лихорадка, и что она машинально только держится на лошади, по привычкѣ, но что силъ у нея нѣтъ «и за пятилѣтняго ребенка».

— Поѣзжай домой, сказалъ главнокомандующій, смотря на дѣвушку съ отеческимъ состраданіемъ:—ты въ самомъ дѣлѣ похудѣлъ и ужасно блѣденъ. Поѣзжай, отдохни, вылечись и пріѣзжай обратно.

«При семъ предложеніи—говоритъ Дурова—сердце мое стѣснилось».

— Какъ мнѣ ѣхать домой, когда ни одинъ человѣкъ теперь не оставляетъ армію? сказала она печально.

— Что̀ жъ дѣлать! ты боленъ. Развѣ лучше будетъ, когда останешься гдѣ-нибудь въ лазаретѣ? Поѣзжай! теперь мы стоимъ безъ дѣла, можетъ быть и долго еще будемъ стоять здѣсь: въ такомъ случаѣ успѣешь застать насъ на мѣстѣ.

«Я видѣла необходимость (пишетъ Дурова) послѣдовать совѣту Кутузова: ни одной недѣли не могла бы я долѣе выдерживать трудовъ военной жизни».

— Позволите ли, ваше высокопревосходительство, привезть съ собою брата моего?—спросила она. — Ему уже четырнадцать лѣтъ. Пусть онъ начнетъ военный путь свой подъ начальствомъ вашимъ.

— Хорошо, привези — сказалъ Кутузовъ: — я возьму его къ себѣ и буду ему вмѣсто отца.

Черезъ два дня послѣ этого разговора, Кутузовъ опять потребовалъ къ себѣ Александрова—дѣвушку.

— Вотъ подорожная и деньги на прогоны—сказалъ онъ, подавая то и другое: — поѣзжай съ Богомъ. Если въ чемъ будешь имѣть надобность, пиши прямо ко мнѣ, я сдѣлаю все, что отъ меня будетъ зависѣть. Прощай, мой другъ.

«Великій полководецъ обнялъ меня съ отеческою нѣжностію», прибавляетъ дѣвушка въ своемъ дневникѣ.

И вотъ блѣдный, больной офицерикъ скачетъ домой. Путь его лежитъ на Калугу, на Казань, на Каму — къ отцу.

«Лихорадки и телега трясутъ меня безъ пощады (читаемъ мы въ дневникѣ дѣвушки). У меня подорожная курьерская, и это причиною, что всѣ ямщики, не слушая моихъ приказаній ѣхать тише, скачутъ сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугаютъ ихъ, что они, хотя и слышатъ, какъ я говорю, садясь въ повозку—«ступай рысью», но не вѣрятъ ушамъ своимъ, и, заставя лихихъ коней рвануть разомъ съ мѣста, не прежде остановятъ ихъ, какъ у крыльца другой станціи».

Промчались мимо Калуги, Казани. Вездѣ разспросы о Москвѣ, о войскѣ, о Наполеонѣ...

А вотъ и знакомыя мѣста—Кама,—свой городъ.

«Наконецъ, я дома! Отецъ принялъ меня со слезами. Я сказала, что пріѣхала къ нему отогрѣться. Батюшка плакалъ и смѣялся, разсматривая шинель мою, не имѣющую никакого уже цвѣта, прострѣленную, подожженную и прожженную до дыръ. Я отдала ее Натальѣ (старой служанкѣ), которая говоритъ, что сошьетъ себѣ капотъ изъ нея».

Выздоровѣвъ и отдохнувъ у отца, дѣвушка опять хочетъ покинуть его и даже беретъ у него сына.

Весной они выѣхали къ войску. Впереди опять трудъ, опасности, вѣроятная возможность смерти. Но много еще энергіи въ этомъ молодомъ существѣ...

Она въ Москвѣ—въ сожженной, разрушенной. Въ Москвѣ она узнаетъ, что Кутузова уже не стало.

Надо вновь скакать, догонять армію, которая шла брать Парижъ, освобождать Европу.

Дѣвушка показываетъ брату развалины Смоленска, находитъ то мѣсто, гдѣ французскіе палаши махали за ея спиной.

Доскакали до Слонима.

Но таинственное имя необыкновенной дѣвушки уже пронеслось по всей Россіи. Объ ней говорятъ, ею интересуются, объ ней разсказываютъ сказки; однако ее никто не видалъ въ лицо, никто ее не знаетъ, никто не догадывается, что сказочная дѣвушка, предметъ толковъ всей Россіи — это и есть тотъ самый молоденькій, блѣдный уланикъ, котораго всѣ принимаютъ за мальчика, за слишкомъ юнаго офицерика, успѣвшаго однако получить солдатскаго георгія.

«Замѣчаю я—говоритъ она уже въ 1813 году—что носится какой-то глухой, невнятный слухъ о моемъ существованіи въ арміи. Всѣ говорятъ объ этомъ, но никто ничего не знаетъ; всѣ считаютъ возможнымъ, но никто не вѣритъ. Мнѣ не одинъ уже разъ разсказывали собственную мою исторію со всѣми возможными искаженіями: одинъ описывалъ меня красавицею, другой уродомъ, третій старухою, четвертый давалъ мнѣ гигантскій ростъ и звѣрскую наружность, и такъ далѣе. Судя по симъ описаніямъ, я могла бы быть увѣренною, что никогда ничьи подозрѣнія не остановятся на мнѣ, если бъ одно обстоятельство не угрожало обратить наконецъ на меня замѣчанія моихъ товарищей: мнѣ должно носить усы, а ихъ нѣтъ, и разумѣется — не будетъ. Наши офицеры уже часто смѣются мнѣ, говоря: «А что, братъ, когда мы дождемся твоихъ усовъ?» Разумѣется, это шутки; они не полагаютъ мнѣ болѣе восемнадцати лѣтъ; но иногда

примѣтная вѣжливость въ ихъ обращеніи и скромность въ словахъ даютъ мнѣ замѣтить, что если они не совсѣмъ вѣрятъ, что я никогда не буду имѣть усовъ, по крайней мѣрѣ сильно подозрѣваютъ, что это можетъ быть. Впрочемъ сослуживцы мои очень дружески расположены ко мнѣ и весьма хорошо мыслятъ; я ничего не потеряю въ ихъ мнѣніи: они были свидѣтелями и товарищами ратной жизни моей».

Изъ Брестъ-Литовска она вмѣстѣ съ войскомъ опять направляется за границу.

Не станемъ слѣдить за ея походною жизнью: въ ней такъ много чего-то необычайнаго, романтическаго, что всего и передать невозможно въ сжатомъ очеркѣ. Притомъ же записки ея составляютъ цѣлыхъ три тома.

Часть войскъ подошла къ Модлину. Дѣвушка съ своимъ эскадрономъ содержитъ сторожевые пикеты.

«Вчера — говоритъ она — полковникъ прислалъ мнѣ бутылку превосходныхъ сливокъ въ награду за маленькую сшибку съ непріятелемъ и за четырехъ плѣнныхъ».

Послѣ этого она стоитъ съ войскомъ подъ Гамбургомъ. Въ Богеміи дѣвушка описываетъ красоту ташошнихъ горъ. Въ Прагѣ русскіе войска привлекаютъ толпы...

Подъ Гамбургомъ до нихъ дошли вѣсти о взятіи Парижа союзными войсками. Эта вѣсть заставила Даву сдаться той части войска, гдѣ находилась наша героиня.

Военныя дѣйствія на время прекращаются.

Дурова съ однимъ товарищемъ офицеромъ путешествуетъ по Даніи, по Голштиніи. Съ большою занимательностью разсказываетъ она разные случаи изъ своихъ поѣздокъ по этой послѣдней странѣ.

Затѣмъ войскамъ велѣно возвратиться въ Россію. Дуровой особенно грустно было разставаться съ голштинскимъ гостепріимствомъ.

Ужъ не полюбила ли она тамъ кого? А что-то похожее на это.

«Голштинія, гостепріимный край, прекрасная страна! (восклицаетъ она, конечно не даромъ). Никогда не забуду я твоихъ садовъ, цвѣтниковъ, твоихъ свѣтлыхъ, прохладныхъ залъ, честности и добродушія твоихъ жителей. Ахъ, время, проведенное мною въ семъ цвѣтущемъ саду, было одно изъ счастливѣйшихъ въ моей жизни!...

«Я пришла къ полковнику сказать, что полкъ готовъ къ выступленію. Полковникъ стоялъ въ задумчивости передъ зеркаломъ и причесывалъ волосы, кажется, не замѣчая этого. «Скажите, чтобъ полкъ шелъ; я останусь еще на полчаса», сказалъ онъ, тяжело вздохнувъ.—О чемъ вы вздохнули, полковникъ? Развѣ вы не охотно возвращаетесь на родину? спросила я. Вмѣсто отвѣта, полковникъ еще вздохнулъ. Выходя отъ него, я увидѣла меньшую баронессу, одну изъ хозяекъ нашего полковника, прекрасную дѣвицу лѣтъ двадцати-четырехъ, всю расплаканную. Теперь я понимаю, отчего полковнику не хочется идти отсюда... Да, въ такомъ случаѣ родина — Богъ съ ней!»

Покрытыя славою войска воротились въ Россію. Наполеона забросили въ такую даль, куда воронъ костей не заноситъ.

Приходилось и Дуровой прощаться съ боевой жизнью, съ конемъ и товарищами.

Отецъ встосковался по ней и зоветъ ее къ себѣ.

«Мнѣ казалось — пишетъ она, заканчивая свою эпопею — что вовсе не надобно никогда оставлять меча, и особливо въ мои лѣта — что́ я буду дѣлать дома? Такъ рано осудить себя на мо-

нотонныя занятія хозяйства. Но отецъ хочетъ этого — его старость. Ахъ, нечего дѣлать! Надобно сказать всему прости — и свѣтлому мечу, и доброму коню — друзьямъ — веселой жизни — ученью—парадамъ—конному строю—скачкѣ, рубкѣ—всему, всему конецъ!... Все затихаетъ, какъ не бывало, и одни только незабвенныя воспоминанія будутъ сопровождать меня на дикіе берега Камы, въ тѣ мѣста, гдѣ цвѣло дѣтство мое, гдѣ я обдумывала необыкновенный планъ свой...

«Минувшее счастье — слава — опасности — шумъ — блескъ — жизнь кипящая дѣятельностью — прощайте!...»

✗ Дальнѣйшая судьба этой женщины также замѣчательна, хотя уже и теряетъ тотъ высокій драматизмъ, которымъ поражались умъ и воображеніе ея современниковъ и который продолжаетъ поражать и насъ, имѣющихъ передъ своими глазами женщинъ иного закала, иныхъ стремленій, исходящихъ, однако, изъ того же нравственнаго источника — изъ врожденной человѣку любви къ свободѣ, къ самостоятельному труду, къ самостоятельному распоряженію своею личностью и своею волею.

Дурова—это прародительница всѣхъ новыхъ русскихъ женщинъ, всего этого множества дѣвушекъ, ищущихъ знанія, труда, посѣщающихъ публичную библіотеку, лекціи профессоровъ, медицинскіе курсы, жаждущихъ поступленія въ университетъ, въ акушерки, въ доктора, оставляющихъ свои дома, свои примитивныя женскія занятія, бросающихъ родину, чтобы учиться тамъ, гдѣ это представляетъ болѣе удобствъ, больше приспособленности, хотя, повидимому, дорога, которою шла Дурова, такъ широко расходится съ тою дорогою, по которой пошло современное поколѣніе русскихъ женщинъ.

Дурова была первая русская женщина, которая своею собственною жизнью доказала, что съ твердою волею и для жен-

щины, какъ и для мужчины, все достижимо, и что если еще есть противники истиннаго женскаго вочеловѣченія, утверждающіе, будто бы для женщины не все то возможно, что возможно для мужчины, то, напротивъ, защитники женщины, всегда могутъ указать имъ на примѣръ Дуровой и сказать, что то, что возможно для мужчины, возможно и для женщины, и что нѣтъ ничего, доступнаго мускульнымъ и духовнымъ силамъ мужчины, что не было бы, въ одинаковой мѣрѣ, не недоступно и для женщины.

Шестнадцати лѣтъ, когда всякая другая дѣвушка не рискуетъ еще снять съ себя коротенькаго платьица и считаетъ слишкомъ дерзкимъ выѣздъ на балъ, когда сверстницы ея не ходятъ даже въ церковь безъ провожатыхъ, безъ нянекъ, гувернантокъ и маменекъ, подъ предлогомъ, что это неприлично и небезопасно, Дурова, этотъ полудикій ребенокъ, учившійся на мѣдные гроши, не зная ни свѣта, ни людей, въ темную ночь скачетъ глухимъ боромъ, верхомъ на дикомъ конѣ, для соединенія съ казачьимъ полкомъ—и не падаетъ духомъ при всѣхъ трудностяхъ, какіе встрѣчаетъ въ дальнѣйшемъ ходѣ своей жизни.

Вспомнимъ также, что это было семьдесятъ лѣтъ назадъ, когда взглядъ на призваніе женщины былъ еще уже, еще исключительнѣе, чѣмъ теперь.

Каждый рискованный шагъ, каждое неосторожное слово, движеніе—могутъ выдать тайну ея пола, разрушить «необыкновенный планъ» ея—и она не выдаетъ себя ничѣмъ.

Она слышитъ кругомъ себя грубыя шутки казаковъ, далеко недвусмысленныя выраженія своихъ товарищей боевой жизни, далеко недвусмысленные поступки ихъ, потому что они въ своемъ мужскомъ кружку ничѣмъ не стѣснялись, — и хоть ея дѣвственное сердце сжимается, краска молодаго лица обличаетъ ея

тревогу, ея дѣвственную стыдливость и подъ-часъ брезгливость;— но она все-таки не падаетъ духомъ.

Старыя женщины, видя въ ней ребенка, пустившагося въ такой рискованный путь, ласкаютъ ее, жалѣютъ ее одинокую, какъ бы осиротѣлую; дѣвушка глотаетъ тайкомъ слезы; — но духомъ не падаетъ.

Цѣлую зиму, едва вырвалась изъ дому въ одномъ «казацкомъ чекменикѣ», она въ походѣ, ищетъ полка, рискуетъ попасть въ «вербунку», терпитъ униженія—и не отступаетъ отъ своего «необыкновеннаго плана».

Обращаютъ ее въ простаго солдата, одѣваютъ въ грубую солдатскую форму, надѣваютъ на нѣжныя ноги дѣвушки словно желѣзные казенные сапоги, приковывающіе ее къ землѣ, цѣпляютъ къ ногамъ, привыкшимъ къ тонкимъ и мягкимъ ботинкамъ, желѣзныя, громко брячащія шпоры — и желѣзные эти сапожищи не должны жать ея нѣжную ногу, она должна принуждать себя не чувствовать боли ногъ, не слыхать тяжести этихъ желѣзныхъ сапоговъ—и не отступаетъ отъ своего «необыкновеннаго плана».

Даютъ ей въ руку тяжелую дубовую уланскую, словно бревно, пику, заставляютъ дѣлать этимъ бревномъ всевозможныя эволюціи, способныя вывихнуть въ плечѣ самую здоровую, самую грубую мускулистую руку солдата, привыкшаго къ сохѣ и цѣпу— и это дубовое бревно не вывихиваетъ ея нѣжной руки, не заставляетъ ее отступить отъ своего необыкновеннаго плана.

Она голодаетъ по цѣлымъ суткамъ, питается картофелемъ, вырываемымъ ею же съ тяжелымъ трудомъ изъ земли, тогда какъ дома всякая Наталья горничная могла накормить свою барышню самыми лакомыми кушаньями, не спитъ ни дни, ни ночи— и не жалѣетъ о томъ, что промѣняла рабскую жизнь барышни на мучительную, но вольную жизнь улана.

Она тоскуетъ по своемъ отцѣ; мучатъ ее сомнѣнія и опасенія, что, быть можетъ, нѣжно любившій ее «батюшка» встосковался по ней, болѣнъ, умеръ — и она заставляетъ свое сердце молчать, глаза — не плакать, и вихремъ бросается въ первую битву, подъ градъ пуль, картечи, ядеръ.

Первая битва, видъ раненыхъ и убитыхъ товарищей, кровь, весь этотъ адъ и ужасъ человѣческой рѣзни — не пугаютъ ее, сердце дѣвушки не только не коченѣетъ отъ ужаса, но оно полно мужества, и дѣвочка спасаетъ закаленныхъ въ бою товарищей, очертя голову бросается въ самыя жаркія сѣчи, вся пробитая дождемъ до рубашки, до тѣла—и не жалѣетъ о своемъ бѣленькомъ, непромоченномъ дождемъ платьицѣ, которое бросила дома, не жалѣетъ о своей одинокой, теплой постелькѣ, брошенной въ домѣ отца, въ своемъ спокойномъ, садовомъ флигелькѣ.

Сколько именъ, лицъ, міровыхъ событій проходитъ передъ ея глазами—несчастный Фридландъ, битва подъ Смоленскомъ—далѣе Бородино—Наполеонъ—Кутузовъ—Барклай-де-Толли; сколько мучительныхъ сомнѣній, тревоги, боязни; какіе контрасты въ положеніи — стоянки въ сырыхъ литовскихъ лачугахъ — спанье въ болотѣ — тамъ Петербургъ — кабинетъ государя — опять полкъ, жизнь на пикетахъ—отъ однихъ этихъ контрастовъ могла закружиться голова, подкоситься ноги;—а дѣвушка между тѣмъ тверда на ногахъ—все переноситъ, все переживаетъ.

Семь лѣтъ она не знаетъ другого общества, кромѣ общества лихихъ, не совсѣмъ нѣжныхъ гусарскихъ и уланскихъ офицеровъ и солдатъ, которые передъ нею на распашку, не подозрѣвая ея пола.

Въ теченіе семи лѣтъ дѣвушка могла, наконецъ, и полюбить кого-либо изъ своихъ товарищей; — но она и любить не смѣетъ.

Напротивъ, были случаи, что дѣвушки и молодыя женщины,

принимая ее за молодого человѣка, привязывались къ ней, открывались ей въ любви, просили взаимности — и ей предстояла новая нравственная борьба, сожалѣніе о тѣхъ несчастныхъ, которыя принимали ее не за то, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ.

Нѣжное лицо ея горитъ на солнцѣ, осенній вѣтеръ и пыль чернятъ ея розовыя щеки; руки, привыкшія только къ иголкѣ, грубѣютъ отъ таскания тяжелой пики, такой же тяжелой сабли, заступа, лошадиной скребницы — и женщина не жалѣетъ того, что для женщины дороже жизни—не жалѣетъ своей красоты, забываетъ даже то, что и она могла бы нравиться, быть любима.

Но уже въ дѣтствѣ она какъ-бы притупила въ себѣ чувствительность женщины.

Вотъ, напр., что говоритъ она о своемъ дѣтствѣ.

Живя въ Малороссіи и часто гуляя по полямъ и лѣсамъ, она, если находила змѣю, тотчасъ же наступала на нее ногою, «наклонялась, брала ее осторожно рукою за шею, близъ самой головы, и держала, но не такъ крѣпко, чтобъ она задохлась, и не такъ слабо, чтобъ могла выскользнуть. Съ этимъ завиднымъ пріобрѣтеніемъ—говоритъ она—я возвращалась въ комнаты бабушки, и когда ея не было дома, то бѣгала за Гапкою, Хиврею, Вивдею, Миртою и еще нѣсколькими, такихъ же странныхъ именъ, дѣвками, которыя всѣ хотя были гораздо старше меня, но съ неистовымъ воплемъ старались укрыться куда попало отъ протянутой впередъ руки моей, въ которой рисовалась черная змѣя—въ настоящемъ смыслѣ рисовалась, потому что она то яростно шипѣла, выставляя что-то изо рта, то очень картинно обвивала хвостомъ мою руку, обнаженную до локтя, то опять развивала и махала имъ въ воздухѣ».

Собираясь проститься навсегда съ своею лагерною жизнью, съ спаньемъ подъ открытымъ небомъ, она пишетъ:

«Я не знаю, какъ мнѣ привыкать будетъ жить въ комнатахъ. Мнѣ кажется, что иначе (какъ въ полѣ) и не должно помѣщаться; по крайности такъ просторно, какъ на открытомъ воздухѣ, среди обширныхъ полей. Теперь мнѣ уже нисколько не смѣшно, что Торнези (товарищъ ея) брѣется, умывается и одѣвается на большой дорогѣ, по которой то идутъ полки, то скачутъ курьеры, и невѣжливая пыль облакомъ налетаетъ на его намыленную бороду. Я также просыпаюсь поутру, безъ малѣйшаго безпокойства, что открываю глаза на большомъ, столбовомъ трактѣ; встаю, скидаю галстухъ, мундиръ, подбираю рукава до самыхъ плечъ и умываюсь, то есть обливаю водою голову, лицо, руки, шею, и прежде нежели успѣю обтереть все это полотенцемъ, пыль налетитъ и сдѣлаетъ меня чернѣе, нежели я была до умыванья».

Дѣвушкѣ приходилось привыкать и не къ такимъ неудобствамъ. Волосы становятся дыбомъ при чтеніи хоть бы слѣдующихъ строкъ:

«Близъ нашего полка стоитъ новороссійскій драгунскій полкъ. Мы послали къ своимъ сосѣдямъ просить чайника, чтобъ согрѣть воду. Усаковскій принесъ его самъ, говоря, что и онъ будетъ пить съ нами; пришелъ и Стремоуховъ.

— «Вотъ еще какія затѣи! До чаю ли теперь! Можетъ быть, черезъ часъ ты будешь корчиться на самомъ этомъ мѣстѣ, на которомъ теперь грѣется твой чайникъ.

— «Тогда то и будетъ, отвѣчалъ добрый Усаковскій,—а теперь мы напьемся чаю.

«Однакожъ мы не напились чаю: вода только что вскипѣла, раздалось: «муштучь!—садись!» Вмигъ воду вылили; все пришло въ движеніе, въ порядокъ; все построилось, выровнялось, и прежде нежели тронулось съ мѣста, ядра начали скакать по фронту нашему и драгунскому, и — увы!—Усаковскій въ самомъ дѣлѣ кор-

* *

чился съ полминуты съ разшибленной головой на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ кипѣлъ его чайникъ...

«Всякой вечеръ мы сходимся къ огню, всѣ кто уцѣлѣетъ въ продолженіи дня. Если кого уже не станетъ въ кругу нашемъ, о томъ поговоримъ, пожалѣемъ съ четверть часа, а тамъ опять разговоръ нашъ веселъ. Теперь не то время, чтобъ долго сожалѣть о потерѣ друзей, потому что всякой имѣетъ надежду или опасеніе послѣдовать за нимъ на другой же день, если еще не въ эту ночь.

«Въ теперешней жизни нашей нѣтъ ничего такъ обыкновеннаго и такъ мало обращающаго на себя вниманія, какъ смерть. Здѣсь ея владычество и здѣсь именно никто объ ней не думаетъ, не боится и въ грошъ ее не ставитъ.

— «А гдѣ такой-то?

— «Убитъ.

— «Ну, такъ позови ко мнѣ того-то.

— «И онъ убитъ.

— «Ну, глупецъ! затвердилъ: убитъ! убитъ! — Пошли, кто тамъ остался въ-живыхъ изъ унтеръ-офицеровъ.

«И приказанія, и вопросы, и отвѣты дѣлаются такъ холодно, такъ покойно, какъ-бы дѣло шло о людяхъ куда-нибудь посланныхъ, а не отправившихся на вѣчный покой. Все, что мы видимъ, слышимъ, испытываемъ каждой день теряетъ въ разумѣ нашемъ: хорошее—все то, что въ немъ было хорошаго; дурное начинаетъ казаться дурнымъ въ половину, а иногда и съ примѣсью хорошаго».

Замѣчательную психологическую тонкость выказываетъ Дурова, говоря, что она чувствовала себя женщиной только тогда, когда она, какъ кавалеръ, на балѣ, должна была уступать мѣсто дамамъ и исполнять разныя ихъ порученія.

«Эта обязанность моего костюма вовсе мнѣ не нравится. Въ танцахъ я всегда мысленно браню свою даму, если она говоритъ со мной въ полголоса, взглядываетъ на меня чаще, нежели водится, особливо если даетъ глазамъ своимъ выраженіе, которое для мужчины имѣло бы свою цѣну, но для меня... Мнѣ кажется тогда, что она передразниваетъ меня! Но ничто не бываетъ мнѣ такъ досадно, какъ то, когда, уставъ отъ мучительнаго вальса, только успѣю сѣсть на стулъ и вдругъ кто-нибудь изъ моихъ товарищей подводитъ ко мнѣ свою даму и говоритъ: «уступи, братъ, свое мѣсто... Le rage au cloeur!» Я встаю, забываю свой колетъ, шпоры; помню только свои права и хмурю брови, но стулъ все-таки отдаю»...

Послѣ невѣроятныхъ трудовъ боевой жизни, Дурова перенесла свою дѣятельность на другое поприще. Это была богатая натура: убивъ около десяти лѣтъ лучшей поры своей жизни, отъ шестнадцати до двадцати-пяти лѣтъ, она не заглохла въ своемъ уединеніи—напротивъ, она доказала, что непостижимое увлеченіе военною славою было только однимъ изъ проявленій ея богатыхъ силъ, которыя раньше не могли найти исхода, а между тѣмъ силы эти искали живого дѣла.

Въ своемъ камскомъ захолустьѣ дѣвушка никого не видала кромѣ отца-гусара; въ дѣтствѣ знала только фланговаго Астахова да конюшню; возбудить ея творческихъ силъ никто не могъ; научить ее чему-нибудь другому, кромѣ верховой ѣзды, никто же не могъ — и она понесла свои богатыя силы подъ пули и ядра.

Но когда Дурова вышла изъ-подъ вліянія узкой гусарской среды — она понесла свои силы на служеніе другой идеѣ. Самоучка—она стала однимъ изъ замѣтныхъ въ свое время писателей, и всю свою остальную жизнь посвятила литературѣ. Если бы раньше кто-либо натолкнулъ ее на этотъ путь; если бъ раньше

она, подъ вліяніемъ не фланговаго гусара, а хоть бы подъ вліяніемъ одной дѣльной, попавшейся ей книги, а еще больше подъ вліяніемъ умнаго человѣка почувствовала въ себѣ жажду знанія— изъ нея могъ бы выйти, безъ сомнѣнія, одинъ изъ самыхъ крупныхъ дѣятелей мысли и слова.

Литературная дѣятельность ея началась въ 1836 году изданіемъ записокъ о своей жизни, подъ заглавіемъ «Кавалеристъ-дѣвица», а затѣмъ дополненіемъ къ этой книгѣ, изданнымъ въ 1839 году.

Тонкое чутье А. С. Пушкина отгадало въ ней писательницу.

Дурова писала много, печатая свои статьи преимущественно въ тогдашнихъ лучшихъ журналахъ—въ «Библіотекѣ для Чтенія» Сенковскаго и въ «Отечественныхъ Запискахъ» 1837, 1838, 1839 годовъ. Это были романы, повѣсти, разсказы. Изъ нихъ наиболѣе извѣстны: «Гудишки», «Павильонъ», «Елена», «Ярчукъ», «Уголъ», «Графъ Маврицій», «Два слова изъ житейскаго словаря», «Сѣрный ключъ» и другія.

Вообще Дурова, какъ историческая личность недавняго прошлаго, ждетъ исторической оцѣнки.

Стыдно сознаться — но эта замѣчательная женщина умерла, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ крайней бѣдности, въ чинѣ штабъ-ротмистра.

IX.

Настасья Федоровна Минкина.

(Аракчеиха).

На долю рѣдкаго изъ историческихъ дѣятелей выпадало такое единодушное нерасположеніе и современниковъ и потомства, какое выпало на долю Аракчеева, всемогущаго временщика императора Александра I-го. Суровымъ рисуется образъ Аракчеева въ поняніяхъ нашего времени; несимпатичною представляется дѣятельность этого человѣка въ приложеніи имъ къ дѣлу своего могущества; жестокъ онъ былъ и какъ человѣкъ и какъ временщикъ; за то жестко относится къ нему и память ближайшаго потомства, и есть основаніе полагать, что жестокъ будетъ по отношенію къ нему и судъ исторіи, хотя послѣдняя всегда смягчаетъ свой приговоръ по отношенію къ каждому историческому дѣятелю въ той степени, въ какой дѣятель этотъ былъ и продуктомъ и выраженіемъ своего времени.

Какъ бы то ни было, но Аракчеевъ не былъ повидимому никѣмъ любимъ при жизни, какъ остается нелюбимымъ и по смерти. Даже народъ, рѣдко и почти никогда не произносящій въ своей пѣснѣ и былинѣ жесткаго приговора объ исторической личности, какова бы она ни была, если только онъ удостоитъ ее

своею памятью,—народъ не добромъ поминаетъ Аракчеева, распѣвая иногда и донынѣ о томъ, что—

....Ракчей дворянинъ
Солдатъ гладомъ поморилъ.

Но была одна личность при жизни Аракчеева, которая его любила, хотя и тутъ является сомнѣніе, искренно ли она его любила: нѣкоторые факты разоблачаютъ, что едва ли...

Это была женщина, имя которой стоитъ въ заголовкѣ настоящаго очерка.

Едва ли можно считать дѣломъ особенной важности знакомство съ біографическими подробностями Настасьи Минкиной. Достаточно знать, что она была любима Аракчеевымъ, замѣняла ему жену, любовницу, друга, хозяйку дома, слѣдовательно удовлетворяла всѣмъ духовнымъ и инымъ потребностямъ суроваго временщика, и такимъ образомъ можетъ до извѣстной степени служить мѣриломъ той суммы духовнаго содержанія, которое вмѣщала въ себѣ личность Аракчеева.

Послѣ Аракчеева остались въ высшей степени любопытныя письма къ нему Настасьи Минкиной. Въ этихъ письмахъ рисуется цѣликомъ образъ этой женщины, умѣвшей побѣдить и сердце, и волю, и умъ непобѣдимаго государственнаго сподвижника императора Александра Благословеннаго; рисуются ея отношенія къ Аракчееву и роль, какую она играла при временщикѣ и въ обществѣ, самомъ высшемъ въ Россіи, неизбѣжно сталкивавшемся съ Аракчеевымъ въ его государственной и частной жизни и неизбѣжно преклонявшемся предъ нимъ, вслѣдствіе высоты его положенія.

Настасья Минкина—это простая женщина, едва умѣющая писать, но пишущая толково, съ дѣловымъ практическимъ

навыкомъ и легкостью, хотя съ безбожнымъ невѣдѣніемъ, доходившимъ повидимому до дерзкаго пренебреженія всѣми этимологическими, синтаксическими и фонетическими законами письменной русской рѣчи. Это баба самая расторопная, дѣятельная, подвижная, съ характеромъ, который былъ по плечу ея возлюбленному временщику. Это страстная личность, которая какъ львица за дѣтенышемъ слѣдитъ не только за сыномъ любви, за своимъ и Аракчеевымъ сыномъ «Мишей», прижитымъ, какъ она увѣряетъ, отъ влюбленнаго въ нее суроваго временщика, но какъ львица слѣдитъ и за самымъ львомъ Аракчеевымъ, за его любовью къ себѣ, хотя и изображаетъ изъ себя покорную рабу, готовую на всякія жертвы для своего господина.

Настасья Минкина—это и экономка въ богатомъ, почти царскомъ домѣ Аракчеева, и его метръ-д'отель, и управляющій его обширныхъ имѣній, и строгій староста надъ крестьянами, и неумолимый ревизоръ надъ всѣмъ, что касается порученныхъ ему вотчинъ.

Минкина—это дѣйствительно око Аракчеева, и не только его око, но и его правая рука, съ палкой и плетью въ этой рукѣ.

Дѣятельность Минкиной изумительна, и ея глазъ вездѣ доглядаетъ, начиная отъ аракчеевскихъ кухонь, поварскихъ и кладовыхъ, гдѣ она царствуетъ, и кончая аракчеевскими садами, цвѣтниками, прудами, полями, лѣсами, сѣнокосами, аракчеевскими крестьянами, управляющими, старостами, головами, рабочими, архитекторами, фельдъегерями:—она все держитъ въ своихъ крѣпкихъ рукахъ, и обо всемъ даетъ отчетъ постоянно отсутствующему по дѣламъ государства и по личнымъ дѣламъ императора Аракчееву.

О характерѣ и наружности Минкиной вообще говорятъ, что «это была страстная женщина, смуглой кожи, съ магнетизмомъ въ черныхъ глазахъ».

Еще разсказываютъ, что Минкина, кромѣ домохозяйства, очаровывала суроваго графа умѣньемъ гадать на картахъ и предузнавать будущее, что, близкая къ народу черезъ хожалыхъ и богомолокъ, она все знала, что̀ дѣлалось въ Петербургѣ, и потому гаданья ея были иногда удачны до поразительности, чѣмъ она и побѣждала суевѣрнаго, мало развитого, всесильнаго временщика.

Но обратимся къ самымъ письмамъ Минкиной: капитальнѣе этихъ свидѣтельствъ о ней самой ничего нельзя найти другого.

У Аракчеева было богатое имѣніе, село Грузино съ деревнями. Имѣніе это устроено было дѣйствительно богато, поцарски, потому что и Аракчеевъ, управлявшій всею Россіею и устраивавшій ее по своему разумѣнію, умѣлъ конечно устроить и свое собственное богатое гнѣздо, а Минкина, геніальный помощникъ Аракчеева, умѣла дать этому гнѣзду и домашнему въ немъ хозяйству все то, что могла ему дать самая неутомимая и притомъ самая полномочная хозяйка.

Зимой она жила съ графомъ въ Петербургѣ, на лѣто же всегда переѣзжала въ имѣніе, а когда графъ бывалъ въ отсутствіи, что, при его полновластномъ завѣдываньи почти всѣми государственными дѣлами въ имперіи, случалось чрезвычайно часто, Минкина вела съ нимъ самую дѣятельную переписку.

Часть опубликованной въ «Русскомъ архивѣ» переписки Минкиной съ Аракчеевымъ относится къ 1816—1820 годамъ.

Печатая письма Минкиной, редакція помянутаго журнала поясняетъ: «правописаніе возстановлено»; въ подлинникахъ оно, разумѣется, вопіющее.

Вотъ что писала Минкина своему господину и возлюбленному 17-го августа 1816 года:

«Батюшко ваше сіятельство Алексѣй Андреевичъ. Прибывъ въ Грузино 15 числа августа въ ночи, нашла все въ домѣ бла-

гополучно и въ порядкѣ—люди всѣ здоровы, а также и скотъ благополученъ. У флигилей музыканскаго и людскаго крыльца передѣланы; въ погребномъ флигилѣ полъ опустили ниже и лѣстницу для входа въ комнату перенесли къ южной стѣнѣ—къ церкви; теперь дѣлаютъ крыльца у сего флигиля и у башнаго; дорожку изъ плиты, между флигилей музыканскаго и людскаго перестилаютъ вновь и дѣлаютъ подъ плиту изъ щебня бутъ. Въ саду послѣ отъѣзда вашего сіятельства дорога отъ оранжереи къ домику, называющемуся моимъ именемъ, и до чугунныхъ воротъ отдѣлана. Клубника выполота и вновь посажена; деревья и всѣ растенія убраны въ оранжерею 3-го числа; стрижка по дорогамъ кончена, а теперь продолжается обрѣзка по куртинамъ, по лѣсу верхи и прорѣзаютъ липовыя аллеи; изъ еловой рощи назначенныя лишнія елки вынуть—выняты. На цвѣточномъ островѣ по берегу посажено флекусовъ красныхъ дикихъ 300 кустовъ. При семъ посылаю обращики парчи и бархату и перевязь для вашего сіятельства. 12-го числа пріѣзжалъ въ Грузино генералъ Левашевъ съ своимъ адъютантомъ, кои переночевавъ на другой день катались по деревнямъ и предъ отъѣздомъ заходили въ церковь во время службы, а также и въ первый день были въ соборѣ. Цѣлую ручки ваши. Слуга ваша Настасья Федорова».

Никакой управляющій и никакой староста лучше этого дѣлового письма не могли бы, кажется, написать.

Въ письмѣ этомъ обращаетъ на себя вниманіе и то мѣсто, гдѣ Минкина говоритъ о «домикѣ, называющемся ея именемъ».

Письмо отъ 9-го сентября имѣетъ уже совершенно другой характеръ.

Минкина пишетъ о посѣщеніи Грузина Ланскимъ и двумя дамами, о томъ, что она «женила» какого-то Герасима на крестьянской дѣвкѣ, получила коверъ изъ Парижа и проч. Но что осо-

бенно характерно—это ея рѣзкій отзывъ о Ланскомъ, котораго она называетъ то «бѣшенымъ», то «дуракомъ», то «глупымъ» и проситъ даже своего возлюбленнаго графа запретить посѣщать Грузино «такимъ дуракамъ» какъ Ланской, почему-то крайне не полюбившійся строгой Настасьѣ Федоровнѣ.

«Батюшко ваше сіятельство Алексѣй Андреевичъ. Вчерашній день поутру былъ у насъ Ланской Сергѣй Сергѣевичъ съ двумя дамами, былъ въ обоихъ домахъ и въ Лѣтней Горѣ, а послѣ былъ въ соборѣ у обѣдни; предлагали имъ, что не угодно ли чай или кофе и послѣ обѣдни фриштыкать—но отъ всего отказались торопясь ѣхать. Герасима женила на крестьянской дѣвкѣ изъ Черницъ-Мелеховской крестьянина Якова Денисьева, Палагеѣ. Въ домѣ, слава Богу, все благополучно, и люди всѣ здоровы, а также скотъ и птицы благополучны. Ковёръ для собора, присланный изъ Парижа, полученъ, коего мѣрой 22 аршина 15 вершковъ. Настасья Федорова, цѣлую ручку вашу вѣрная слуга.

«Скажу вамъ, отецъ мой, горница гостиная готова, только не повѣсила занавѣски, потому что зимнія рамы буду ставить—какъ хороша вышла эта комната! У насъ былъ бѣшеный Ланской. Ахъ, другъ, этотъ дуракъ не стоитъ, чтобы быть въ Грузинѣ. Повѣрь, графъ, что я столь сердита на него—скакалъ во весь упоръ—я была это время на пристани—подумала, что вы ѣдете во весь духъ, но карета жолтая показалась, догадалась что Ланской, и думала, что спѣшитъ къ обѣдни. Подумай, душа моя—прямо въ садъ и въ домъ, а потомъ въ соборъ, и всего три четверти былъ въ миломъ Грузинѣ. Спросить его, что онъ видѣлъ, то вѣрно не можетъ сказать—какіе глупые были вопросы у человѣка! бѣгалъ почти по саду,—сдѣлайте милость, не позволяйте навѣщать дуракамъ. Скажу, что я обижена оста-

лась и тѣмъ и сѣмъ, дѣлала приглашенія, но не въ часъ все. Прости, ожидаю въ скоромъ времени увидѣть отца своего».

Оказывается, что Минкина считала себя обиженной, зачѣмъ Ланской не принялъ ея любезнаго приглашенія какъ хозяйки—зайти къ ней въ гости, побесѣдовать, умненько все осмотрѣть и «пофриштыкать».—Ясно, что бывшія съ Ланскимъ дамы не рѣшились явиться гостями у Настасьи Федоровны.

Прошло три года послѣ этого письма.

Отношенія Минкиной къ Аракчееву становятся еще задушевнѣе, еще дружественнѣе, интимнѣе: видно, что они—свои люди. Но за то эти письма обнаруживаютъ, насколько Минкина умѣла угождать своему могущественному другу и чѣмъ именно угождать:—всякой мелочью она старалась доказать ему, что думаетъ только о немъ, о его привычкахъ, о его вкусахъ.

Видно также, что и суровый Аракчеевъ отвѣчалъ на ея нѣжности такими же нѣжными письмами—это доказываетъ «приписочка» въ его письмѣ къ своей черноглазой возлюбленной.

Она называетъ его своимъ «единственнымъ другомъ», увѣряетъ, что любитъ его «болѣе своей жизни». Она считаетъ себя нераздѣльною съ нимъ:—«окороки—для стола намъ», «мороженое—замѣна намъ въ десертѣ» и т. д. Она хвалится ему, что ее приглашаютъ къ себѣ люди «превосходительные».

Съ Клейнмихелемъ, сильнымъ лицомъ и какъ-бы преемникомъ Аракчеева въ слѣдующее затѣмъ царствованіе, Настасья Минкина повидимому свой человѣкъ: Клейнмихель даритъ ей разливательную ложку, книжку отъ пьянства, посылаетъ ей записки.

Отвѣчая на письмо графа и извѣщая его о томъ, что она выписала изъ Петербурга новую посуду, Минкина говоритъ: «меня очень тронула ваша приписка: я вамъ говорила, чего недоставало и что выдала изъ запасной у меня посуды. Не думайте,

отецъ мой, — я нарочно все такъ поставлю, чтобы вы увидѣли мою преданность къ вамъ».

Умѣлая предупредительность ея поистинѣ замѣчательна.

«Въ молошникѣ—продолжаетъ она—разбилъ крышку Матюшка, но я хотѣла такую достать, зная, что вы любите ихъ; у меня къ ней крышка хрустальная, но все хотѣла купить точно такую. Я получила отъ Петра Андреевича разливательную ложку, фаянсовую, жолтую, еще книжку какъ излечать пьяницъ, все положено у васъ въ кабинетѣ. Любезный мой отецъ, посылаю вамъ двойную георгину. Вы не изволили ее видѣть, а я боюсь, чтобы не отцвѣла безъ васъ, также письмо—вы увидите, что меня просятъ превосходительные. У меня работаютъ въ саду, именно чистятъ прудъ и косятъ лугъ, который къ Волхову, а я занимаюсь своими варенъями. Васъ прошу, чтобы Тимофея отдать поучиться мороженое дѣлать—намъ будетъ замѣна въ десертѣ, также формочки поискать для мороженаго. Прошу васъ, отецъ, купить два маленькихъ окорока, они выгодны для стола намъ, и лимоноватой воды, дрождей два куш.... Я получила конфекты. Я получила теперь лучше не въ примѣръ, какъ конфекты, такъ и укладка ихъ. Вѣрьте, что ни одна конфетка не испортилась—вы увидите—также ихъ везли какъ прежнія. Вамъ было угодно купить сафьяну для стульевъ, которые изъ Высокаго. Прошу васъ, мой единственный другъ, беречь свое здоровье; я прошу всевышняго отца о сохраненіи вашемъ. Будьте покойны по дому вашему—я сказала, что люблю болѣе жизни васъ—то и хочу всѣмъ доказать, что слуга вѣрная своему графу».

Черезъ три дня она опять пишетъ своему, повидимому покорному ей, повелителю, и это письмо открываетъ новыя стороны въ ея отношеніяхъ къ могущественному временщику: письмо все пересыпано нѣжностями, увѣреніями въ страстной любви, восклицанія-

ми вродѣ того что—«о другъ, сколь любовь мучительна!» и проч.

Сама она увѣренно говоритъ о любви къ ней сильнаго графа, но желаетъ только, чтобъ и его любовь была такова, какую она къ нему чувствуетъ. Она проситъ его не сомнѣваться въ ея любви, и признается, что сама-то въ немъ сомнѣвается, но «все прощаетъ» своему единственному другу. «Что жъ дѣлать—прибавляетъ она—что молоденькія берутъ верхъ надъ дружбою»!

Но тутъ же очень ловко напоминаетъ ему, что у нихъ есть сынъ, «общій сынъ» ихъ, какъ она выражается: это извѣстный Михаилъ Шумскій, обучавшійся тогда въ пажескомъ корпусѣ. Мальчикъ повидимому не зналъ, кто его отецъ; но Минкина открыла ему тайну его происхожденія, и теперь въ письмѣ къ Аракчееву проситъ простить ее за это открытіе.

Послѣ мы увидимъ, что Минкина обманывала и Аракчеева и своего названнаго сына «Мишу» насчетъ происхожденія этого ребенка:—онъ не былъ сынъ Аракчеева.

Но вотъ это замѣчательное письмо:

«20 іюля 1819 года—утро, иду къ обѣдни, мой отецъ.

«Любезный мой отецъ графъ!

«Сколь ваше милое письмо обрадовало — какъ вы ко мнѣ милостивы? Ахъ, душа, дай Богъ, чтобы ваша любовь была такова, какъ я чувствую къ вамъ—единъ Богъ видитъ ее. Вамъ не надобно сомнѣвать въ своей Н.... которая каждую минуту посвящаетъ вамъ. Скажу, другъ мой добрый, что часто въ васъ сомнѣваюсь, но все вамъ прощаю,—что дѣлать, что молоденькія берутъ верхъ надъ дружбою,—но ваша слуга Н.... все будетъ до конца своей жизни одинакова. Желаю, чтобъ нашъ сынъ общій былъ примѣромъ благодарности; я ему всегда говорю, что Богъ намъ далъ отца и благодѣтеля васъ, душа единственная моему сердцу, прости моему открытію: любви много и болѣе не могу любить. У

насъ все, слава Богу, хорошо: люди и скотъ здоровы, я немножко своимъ желудкомъ страдаю—но все пройдетъ. Дай Богъ васъ видѣть въ вашемъ миломъ Грузинѣ. Одное утѣшеніе васъ успокоивать. О другъ! сколь любовь мучительна, прости!—три дня еще ожидать васъ—прошу Мишу поцѣловать, если онъ заслуживаетъ вашихъ милостей. Я занимаюсь домашнимъ—при васъ некогда будетъ—какъ варенъемъ, такъ и сушкою зелени и бѣльемъ и постелями; все хочется до васъ кончить—мой другъ чтобы видѣлъ, что Настасья васъ любитъ».

Опасаясь однако, чтобы «молоденькія» въ самомъ дѣлѣ «не взяли верхъ надъ дружбой», Минкина хочетъ вытѣснить изъ сердца и помышленій графа этихъ соперницъ своею оригинальной красотой и потому проситъ его о пріобрѣтеніи ей нарядовъ—дорогого бархату на капотъ, турецкій платокъ и проч.

«Отцу моему графу—пишетъ она — прошу, прости мою смѣлость.

«Отецъ мой, милый графъ, прости великодушно моей смѣлости, что смѣю васъ безпокоить своими нарядами. Прошу, когда вы будете въ Москвѣ, то купите мнѣ чернаго бархату на капотъ 14 аршинъ хорошаго, за что я буду заслуживать ваши великія ко мнѣ милости. Также когда будете въ Варшавѣ, то, батюшко, прошу по образцу 6, а если можно 12 паръ простынь. Другъ и отецъ мой! еще если будете въ Одессѣ, прошу купить турецкій черный платокъ хорошій. У меня есть жалованья 400 р.; когда буду благополучна до вашего пріѣзда, то вѣрно заслужу. Прости смѣлости моей, если безпокою отца моего. Я бы въ Петербургѣ купила, по зимою очень дорого, а лѣтомъ не живу въ немъ. Умоляю у ногъ вашихъ—не сердитесь на свою Н... Вы знаете, что не могу безъ слезъ просить лично васъ. Цѣлую ручки ваши. Вѣрная слуга ваша Настасья Ф.»

Въ февралѣ 1820 года Минкина переѣзжаетъ изъ Грузина въ Петербургъ, навѣщаетъ въ пажескомъ корпусѣ своего сына и обо всѣхъ подробностяхъ сообщаетъ вѣчно отсутствующему по дѣламъ сіятельному сожителю своему, жалуясь, что скучно безъ него.

«Что могу писать окромѣ своей скуки безъ васъ, мой другъ?»

Далѣе переноситъ рѣчь на сына.

«Когда я пріѣхала въ Петербургъ, нашла Мишу, слава Богу, здоровымъ, и я пріѣхала на вторникъ, но Миша не былъ еще камеръ-пажемъ,—въ середу я была у Ав... Семеновны Ерш.... и слышу, что мой Миша въ лазаретѣ. Ахъ, отецъ мой, какъ мнѣ было тяжко на сердцѣ!»

Въ другомъ мѣстѣ опять возвращается къ тому же предмету:

«5-го числа у меня была Екатерина Григорьевна съ радостной вѣсточкой, что Миша камеръ-пажъ, по все еще въ лазаретѣ, у него болитъ горло»...

Говоря, что во время масляницы къ ней пріѣзжали разные гости, она прибавляетъ, конечно не безъ горечи: «вы можете судить, какъ я веселилась, — нѣтъ отца, нѣтъ сына со мною— однѣ слезы и грусть;—хотя посѣщали довольно, но все ложно— не будь у васъ, то вѣрно не заглянутъ ко мнѣ»...

Безъ сомнѣнія, изъ высшихъ гостей къ ней лично никто не заглянулъ бы, если бъ она не была такъ близка къ Аракчееву и такъ сильна у него.

Но вотъ Миша выходитъ изъ лазарета.

«Въ воскресенье поутру я посылала къ Мишѣ и слышу, что Миша вышелъ—будетъ представляться государынѣ Елизаветѣ Алексѣевнѣ. Ахъ, отецъ мой, какая радость разлилась по сердцу моему! Въ два часа послала я лошадей за нимъ; когда мы увидали другъ друга, однѣ слезы были благодарностію къ Богу и къ вамъ, мой отецъ».

Затѣмъ Минкина выражаетъ безпокойство относительно здоровья Аракчеева.

«Вы пишите, что болитъ у васъ грудь. Прошу, берегите свое здоровье—оно дорого для меня,—вы нашъ отецъ и другъ. Просимъ Бога о сохраненіи вашей жизни и здоровья. Цѣлую ножки и ручки ваши. Ожидаю отца благодѣтеля къ намъ».

Вообще письма ея такъ и пестрятъ выраженіями — «цѣлую ручки и ножки ваши».

Ловкость и умѣнье этой женщины замѣчательны во всѣхъ отношеніяхъ. У Аракчеева заболѣваетъ мать. Сынъ спѣшитъ къ старухѣ. И вотъ Минкина пишетъ своему сожителю новыя нѣжныя письма, говоритъ о его сыновней привязанности, о «чувствительности» его сердца и о томъ, что только она одна можетъ ходить за нимъ и угождать ему.

«Любезный мой отецъ графъ! Что могу сказать вамъ послѣ вашего дружескаго письма? Грусть мучитъ мою душу, не могу придумать, гдѣ вы теперь, мой благодѣтель. Если вашей матушки нѣтъ лучше, и вы у ней, то позвольте мнѣ быть съ вами. Я знаю ваше чувствительное сердце — сколь вы мучите себя — я буду дѣлить съ вами горесть. А если вы останетесь одни тамъ, то вѣрьте, что и я не менѣе буду чувствовать мученіе, не въ силахъ выдержать послушанія. Къ вамъ пріѣду въ тележкѣ, чѣмъ представлять каждую минуту васъ съ растерзаннымъ сердцемъ. Я увѣрена въ Карлѣ Крестіановичѣ, но все не я съ вами! Отецъ, умоляю у ногъ вашихъ, успокойте себя и свою преданную слугу. Вотъ три дня какъ я не найду мѣста, воображая васъ плачевнымъ. Вѣрю, что дорога родительница, но что дѣлать!»

И тутъ же посылаетъ ему списокъ гостей, бывшихъ въ воскресенье въ Грузинѣ «для любопытства».

Съ своей стороны Аракчеевъ проситъ возлюбленную «не оставлять его».

«Вы пишите—отвѣчаетъ она ему—чтобъ не оставила и была бы вѣрная слуга. Одинъ гробъ заглушитъ чувства моей къ вамъ любви,—я люблю васъ столь много, что не могу болѣе любить, этому Богъ свидѣтель».

Тутъ все пускается въ ходъ—и одиночество, и страждующее сердце: «есть облегченіе для страждущаго сердца, когда есть съ кѣмъ дѣлить печаль».

Черезъ нѣсколько дней опять посланіе на нѣсколькихъ листахъ:

«Отецъ мой графъ! Я получила ваши милыя письма, за которыя цѣлую ваши ручки и ножки, за галстукъ также цѣлую ваши ручки. Если васъ мнѣ не беречь и не любить, то я недостойна и по землѣ ходить— вы мой отецъ и все мнѣ сдѣлали— вы любите моего Мишу, неужели я могу все это забыть! Нѣтъ, мой любезный другъ, нѣтъ минуты, чтобъ могла васъ забыть: всегда прошу Бога о сохраненіи вашего здоровья и продолженіи жизни вашей на многіе годы, чтобъ намъ сиротамъ видѣть отца и благодѣтеля веселаго между своихъ подданныхъ. У насъ въ домѣ все, слава Богу, хорошо—люди здоровы, а также скотъ и птицы благополучны; лошадей проѣзжаютъ, какъ при васъ было. Посылаю къ вамъ записку — вы можете видѣть, что я ѣзжу по деревнямъ».

Въ деревняхъ—она и староста, и голова, и управляющій, и ревизоръ, и судья. «Бранитъ голову» за упущенія, распоряжается рабочими, и буквально обо всемъ доноситъ своему повелителю, какъ «подданная» его.

«Также я нашла въ Любуни не порядочно у старшины въ домѣ: онъ худо смотритъ за своимъ домомъ — за что также по-

*

журила: когда у него не порядочно, то можно ли требовать, чтобъ было у другихъ хорошо? И за то голову бранила, что онъ худо смотритъ».

Самымъ обстоятельнымъ образомъ Минкина сообщаетъ графу о происшествіяхъ въ его имѣніяхъ, о томъ, кто изъ крестьянъ захворалъ, кто лѣнится, кого змѣя укусила. Случаются воровства—она тотчасъ дѣлаетъ разслѣдованія и допросы. Это губернаторъ въ вотчинахъ временщика. Но губернаторъ этотъ не прочь заговорить и о цвѣтникѣ — что хорошо-де она его устроила, и прибавляетъ: «Я воображаю, мой отецъ, что вы выходите изъ спальни и цѣлуете за сюрпризъ»...

Сообщаетъ какова погода, каковъ хлѣбъ, каковъ умолотъ, какіе произошли ошибки въ постройкахъ, что не досмотрѣно архитекторомъ.

«Бѣдныхъ не забываю я, если только можно гдѣ помочь, я всегда и буду дѣлать: все ваше, мой другъ, и я ваша, моя душа»...

Заключеніе также трогательно: «Прости, истинно другъ сердцу моему.. Вѣрная слуга ваша по гробъ свой Настасья Федорова—жива, здорова, любитъ очень васъ, мой отецъ».

Мало того, она слѣдитъ за ученьемъ сына въ корпусѣ:

«Отъ Миши получила я письмо, слава Богу, здоровъ. Я писала Екатеринѣ Григорьевнѣ объ учителѣ математическомъ; она пишетъ, что постарается пріискать, но мнѣ Семенъ сказалъ, что Петрушевскаго братъ хорошо знаетъ; я спросила у Петрушевскаго — онъ говоритъ, что-де учениками занимается, когда готовятся къ выпуску—онъ знаетъ хорошо».

Нѣсколько времени Аракчеевъ не пишетъ ей — и она въ отчаяньи.

«Мы писемъ не получали отъ васъ, мой родной отецъ,— видно вы забыли свое милое Грузино, или вы на меня сердитесь—скажи, отецъ мой! Вчерашній день 22-го числа былъ у насъ В. Ф. Ильинъ, сказалъ, что вы къ нимъ пишете. Это сокрушаетъ меня; я не вѣрила ему, потому что вы любите свое Грузино, то вѣрно напишете, чтобъ въ немъ все было хорошо. Не говорю о себѣ, несчастная; скажу, что у васъ все, слава Богу, хорошо и благополучно—какъ по дому, такъ и по вотчинѣ».

Какими средствами Минкина держала Аракчеева въ нравственной отъ собя зависимости, можно отчасти видѣть изъ письма отъ 2-го сентября 1820 года:

«Отецъ мой графъ! Я получила сейчасъ записку отъ Клейнмихеля, что можно писать къ вамъ, но, мой другъ, не знаю, какъ ваше здоровье. Послѣднее письмо писано было вами 17-го августа, за которое благодарю душевно. Цѣлую ваши милыя ручки. Самъ Богъ спасетъ васъ. Онъ единъ утѣшитель намъ. Вы всегда слышали отъ меня, что я надѣюсь на него, а послѣ на васъ, душа моя.

«Слышу, въ Петербургѣ получили письма, ко мнѣ нѣтъ. Скажи, душа, если вы любите кого, то тяжко сердцу вашему было бы— такъ и я, несчастная женщина, которая посвятила свою жизнь собственно для вашего спокойствія, не могу узнать, какъ мой отецъ въ своемъ здоровьѣ, но надѣюсь на всевышняго отца, онъ спасетъ ваше здоровье. За платье и за платокъ цѣлую ваши ручки и ножки. Мишѣ послала письмо и платья Софьѣ Карловнѣ—для меня все хорошо, что вы только пожалуете. Марья Яковлевна цѣлуетъ ваши ручки за подарокъ. Описать мнѣ, душа моя, о своихъ знакомыхъ я не смѣла, и болѣе при горести не пришло въ голову—только думала, гдѣ мой другъ и отецъ? какъ его здоровье? Вотъ что было съ моимъ сердцемъ;

оно видѣло всю мою горесть. Платья людямъ шьютъ; прислали одну пару очень хорошо сшиту; теперь дошиваютъ послѣднія. Думаю, что будетъ готово къ вашему пріѣзду».

Наконецъ, приведемъ отрывки изъ послѣдняго письма, писаннаго на другой день послѣ выше приведеннаго.

Минкина получила письмо отъ Аракчеева, и тотчасъ посылаетъ нарочнаго въ Чудово отслужить молебенъ. Затѣмъ поясняетъ — «сколь оное обрадовало мое сердце, увидѣвъ милый вашъ почеркъ и названія столь лестныя вашему преданному слугѣ и другу. Я сказала единожды: единъ гробъ заглушитъ чувства моей къ вамъ благодарности; служить и беречь и любить—одна моя отрада есть».

Затѣмъ снова высказываетъ радость по случаю полученія письма. «Ахъ, какъ я рада, что получила письмо ваше—вижу, что любима еще. Что не придетъ въ горестное мое сердце! Дай Богъ государю многіе несчетные годы, что любитъ моего отца, и вамъ — прошу Бога о сохраненіи здоровья вашего. Онъ одинъ спасетъ и подкрѣпитъ васъ. Письмо посылаю наудачу—не знаю, дойдетъ ли до рукъ вашихъ милыхъ. Вы поберегите себя, душа моя; когда поѣдете, то не жалѣйте сдѣлать потеплѣе шинель себѣ, тамъ дешевле. Вспомните, что годы не прежніе, молодость прошла,— прошу, ради Бога, поберегите себя. Дай Богъ, чтобы вы скорѣе, мой отецъ, пріѣхали».

Такою рисуется въ своихъ письмахъ эта женщина, умѣвшая словно ягненка укрощать неукротимаго временщика. Ясно, что для того чтобы быть довольными другъ другомъ и посвоему счастливыми, Аракчеевъ и Минкина сошлись характерами, и Аракчееву болѣе развитой женщины чѣмъ Минкина не желалось.

Какъ бы то ни было, но и эта женщина жестоко обманула Аракчеева.

Когда Минкина умерла, Аракчеевъ узналъ, что тотъ мальчикъ Миша, впослѣдствіи извѣстный Михаилъ Шумскій, котораго Аракчеевъ считалъ своимъ сыномъ отъ Минкиной — былъ не только не его сынъ, но даже и не Минкиной: — онъ былъ подложный.

X.

Елизавета Михайловна Фролова-Багрѣева,

урожденная Сперанская.

Если законы физической и духовной наслѣдственности какъ въ животныхъ, такъ и въ людяхъ, указываемые Дарвиномъ и Декандолемъ, до извѣстной степени справедливы, если добрыя и дурныя свойства родителей, ихъ геніальность, умъ и безуміе, ихъ добродѣтели и пороки въ значительной долѣ переходятъ къ дѣтямъ, то болѣе всего явленіе это подтверждается фактомъ по отношенію къ дочери знаменитаго русскаго историческаго дѣятеля Сперанскаго.

Дочь Сперанскаго явилась въ свѣтъ какъ разъ съ наступленіемъ XIX столѣтія, а потому всею своею жизнью и дѣятельностью принадлежитъ первой половинѣ этого вѣка, хотя на первоначальномъ домашнемъ воспитаніи ея отразилась система воспитанія самаго начала нынѣшняго столѣтія.

Но дочь Сперанскаго, по счастью, спаслась отъ господствовавшаго тогда въ высшихъ слояхъ русскаго общества институтско-монастырскаго воспитанія, о которомъ часто самъ Сперанскій, въ своей многосложной перепискѣ съ дочерью, отзывался какъ о воспитаніи, лишающемъ женщину лучшей ея силы—подготовлен-

ности къ семейной жизни во всѣхъ ея положеніяхъ, на всѣхъ высотахъ, при всѣхъ переходахъ счастья и крайняго несчастья, замыкаемаго нищетой.

Елизавета была единственная дочь Сперанскаго, рожденная отъ брака его съ миссъ Стивенсъ, кровною англичанкою.

До двѣнадцати лѣтъ дѣвочка воспитывалась такъ, какъ бы она была рождена въ англійскомъ семействѣ, а потому едва ли не первые стихи, которые она начала писать, были англійскіе.

Отецъ ея, весь поглощенный въ это время кипучею своею, неимовѣрно многоплодною дѣятельностью, преобразовавшею внутренній государственный строй, а равно упорною борьбою съ своими сильными, завистливыми врагами, не могъ удѣлить ни своего времени, ни своего вниманія на личное руководство воспитаніемъ дочери, и старался наверстать это упущеніе уже впослѣдствіи, въ горькіе и долгіе годы своей опалы.

Мать Елизаветы умерла рано, и дѣвочка осталась сиротою въ домѣ отца, поглощеннаго день и ночь своею неутомимою, поистинѣ изумительною дѣятельностью.

Но враги Сперанскаго добились своего: въ памятный всей Европѣ 1812 годъ у императора Александра «отняли», какъ государь самъ выражался, Сперанскаго, и отняли его не только у государя, для котораго онъ, по собственному сознанію императора, былъ «правою рукою», но эту правую руку отняли и у всей Россіи.

Сперанскій поѣхалъ въ ссылку. Съ нимъ поѣхала и единственная дочь его «Лиза», съ которою онъ только въ этомъ изгнаніи познакомился и въ этомъ же изгнаніи отецъ и дочь сблизились такъ, что надо удивляться той страстной привязанно-

сти, которая выросла изъ этого сближенія и которая всю жизнь всецѣло соединяла эти два замѣчательныя существа.

Впослѣдствіи, въ Сибири, Сперанскій вспоминалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ дочери о своей жизни съ ней въ ссылкѣ, въ Великопольѣ: «это было—говоритъ онъ—счастливѣйшее время моей жизни, когда я занимался только Богомъ и тобою: бѣдность, грозя желѣзнымъ своимъ прутомъ, одна могла меня оттуда выгнать».

Около пяти лѣтъ прожилъ Сперанскій съ дочерью въ изгнаніи, и дѣйствительно въ этомъ изгнаніи принадлежалъ только Богу и своей страстно любимой Лизѣ: здѣсь онъ пополнялъ недостаточность ея русскаго образованія — въ исторіи, въ языкѣ, въ литературѣ, и здѣсь-то развивалъ онъ въ ней ту глубоко-сознательную любовь къ Россіи и къ русскому народу, которою проникнуты были потомъ всѣ сочиненія его дочери.

Въ 1816 году, когда прошло время напрасныхъ опасеній относительно питаемыхъ будто бы Сперанскимъ симпатій къ Наполеону, Сперанскій былъ вызванъ изъ ссылки и посланъ губернаторомъ въ Пензу.

Къ этому времени относится его многосложная переписка съ дочерью, которая оставлена была на время этой почетной ссылки отца въ деревнѣ, въ Великопольѣ, на попеченіи г-жи Вейкардтъ, дочери извѣстнаго банкира Амбургера, и въ то время жены домашняго врача у графа Шувалова.

Каждую почту отецъ и дочь посылали другъ-другу письма, и если проходило нѣсколько дней безъ извѣстій другъ-о-другѣ, то оба они страдали и мучились другъ-за-дружку. Письма положительно летали между отцомъ и дочерью раза по два и по три въ недѣлю,—и сколько умилительнаго въ этихъ заботахъ великаго человѣка о своей любимой дѣвочкѣ, которой въ это время

было уже семнадцать лѣтъ, сколько теплоты и геніальной отзывчивости на все въ этомъ замѣчательномъ человѣкѣ, котораго ошибочно обвиняли въ педантизмѣ и бюрократической сухости.

Напротивъ, это была богатая, высоко-даровитая и поэтическая личность — и всѣ эти качества какъ въ зеркалѣ отразились въ его любимой дочери.

Но лучше всего — мы надѣемся — самыя письма познакомятъ насъ и съ дочерью великаго Сперанскаго и съ самимъ Сперанскимъ.

Первое письмо его къ дочери изъ Пензы было отъ 22-го октября 1816 года.

«Третьяго дня—пишетъ онъ—въ три часа утра наконецъ достигъ я Пензы. Въ семь часовъ я былъ уже въ мундирѣ и на службѣ. Стеченіе зрителей необыкновенное. Въ крайней усталости Господь даетъ мнѣ силы. Доселѣ все идетъ весьма счастливо. Кажется, меня здѣсь полюбятъ. Городъ дѣйствительно прекрасной. Всѣ потребности жизни довольно дешевы и въ изобиліи. Но что мнѣ въ изобиліи и потребностяхъ, когда нѣтъ главной, единственной, нѣтъ моей Лизы? — Приносятъ съ почты письма; множество вещей пріятныхъ отъ друзей изъ Петербурга—но отъ тебя ни строчки. Это не упрекъ и не жалоба; я заключаю изъ сего только то, что вы въ Великопольѣ послѣ меня прожили больше недѣли. Съ нетерпѣніемъ ожидаю слѣдующей почты».

Черезъ день: «Почта еще не пришла, а наша отходитъ. Прости моя милая. Поручаю тебя всѣмъ милостямъ небеснаго отца. Не забывай утреннихъ нашихъ молитвъ; не разрывай начатаго знакомства съ единымъ другомъ, съ которымъ ни смерть самая разлучить тебя не можетъ. Лобызаю тебя заочно... Господь съ тобою».

Но вотъ письмо отъ Лизы получено, и Сперанскій отвѣчаетъ:

«Въ другой разъ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ... [illegible] — одни книги не-сравненны. Я предчувствую, что въ сей части ты сдѣлаешь великіе успѣхи. Благодаря промыслу, который, не безъ причины и не безъ благости, посылаетъ намъ несчастія и разлуки, ты скорѣе или вѣрнѣе другихъ будешь ходить безъ подпоры. Можетъ быть, нѣгдѣ и спотыкнешься; но и тутъ бѣда не велика; за то менѣе самолюбія и болѣе снисхожденія къ ошибкамъ другихъ».

...«Обѣдамъ и пирамъ я конца не вижу. Зима угрожаетъ театромъ, балами и собраніями. Еще сносно, ежели бы ты была здѣсь. Но безъ тебя—исчисли всѣ мои жертвы, всю потерю моего времени, всю разлуку съ моими греческими и еврейскими сѣдыми бородами»...

Е л и з а в е т а отвѣчаетъ отцу на первыя его письма. Сперанскій въ восторгѣ отъ писемъ своей Л и з ы.

«Нѣтъ, моя милая Е л и с а в е т а, тебѣ не надобно учиться у Sévigné, чтобы прельщать меня твоими письмами. Желалъ бы расхвалить тебя, но боюся собственнаго своего самолюбія. Пиши, моя прелестница, точно такъ, какъ доселѣ писала; описывай твое общество, твои свиданія, твои разговоры; раздробляй иногда собственныя свои ощущенія: это познакомитъ тебя болѣе съ собою и оживитъ въ мысляхъ моихъ всю картину настоящаго твоего

бытія. Повтори здѣсь переведенную тобою изъ Lady of the Lake пѣсню: «Тѣнь друга вьется» и проч.

Дѣвушка постоянно занята уроками, чтеніемъ въ своемъ уединеніи, и не тяготится имъ. У нея такъ много работы, а съ нею—и знаній: она даже латинскую библію читаетъ въ подлинникѣ. Она даже отъ удовольствій отказывается, и отецъ называетъ такую жизнь дѣвушки «произвольною неволею».

«Я называю ее произвольною по кротости, съ коею входишь ты во всѣ изгибы твоего положенія. Все къ лучшему, мой другъ; неволя сія даетъ еще болѣе мягкости твоему характеру, а ты знаешь, что всего мягче и тягучѣе—золото.

«Благодаренъ, моя милая, и истинно благодаренъ, что ты читаешь латинскую библію. Это совершенно личный мнѣ подарокъ».

Дѣвушка—вся въ отца: это такой же гибкій умъ, способность анализа, обаятельный умъ.

Дѣвушка въ письмѣ къ отцу высказываетъ удивленіе, за что ее находятъ умною.

«Ты дивишься, что тебя находятъ умною—отвѣчаетъ онъ. Я точно въ томъ же положеніи здѣсь. Это доказываетъ вообще слабость разума человѣческаго; одна линія выше обыкновеннаго, и всѣ кричатъ: чудо».

Дѣвушка не останавливается на тѣхъ знаніяхъ, которыя пріобрѣла отъ отца. Она идетъ далѣе — находитъ себѣ учителей и вновь учится.

«Новое твое завоеваніе, нѣмецкій языкъ — пишетъ по этому случаю Сперанскій — весьма меня радуетъ. Нѣкогда ты будешь меня водить, какъ слѣпаго Велисарія. Въ языкахъ ты настоящій русской богатырь: ибо всѣ наши богатыри родились сиднями. Не оставь однако же италіанскаго и напиши, кто будетъ учителемъ».

А эта милая заботливость о своей Лизѣ въ письмѣ отъ 21 ноября 1816 года:

«Прошедшая почта не принесла мнѣ ни одного письма изъ Петербурга; сіи почтовыя запутанности весьма непріятны, а особливо у кого есть за тридевять земель Лиза. Одно утѣшеніе, что завтра получу отъ тебя вдругъ два письма. Тебѣ уже извѣстно, моя милая Елизавета, что государь наградилъ насъ съ тобою арендою и жалованьемъ. Самая справедливость требуетъ, чтобъ я съ тобою подѣлился; дарю тебѣ, мой другъ, съ Сонюшкою (дочь г-жи Вейкардтъ) на обновку къ новому году по вашему выбору — угадай сколько? — по сту рублей каждой. Признайтеся, большія мои дуры, что это очень щедро».

Говоря о томъ, что почетное удаленіе его въ Пензу развязываетъ ему руки и что онъ теперь можетъ быть совершенно свободенъ, выйдя въ отставку, Сперанскій прибавляетъ, что онъ этого не сдѣлаетъ, не посовѣтовавшись съ своею Лизой.

«Ты смѣешься? — прибавляетъ онъ. — Но знаешь ли ты, дурочка, что по мѣрѣ того, какъ мой разумъ съ лѣтами слабѣетъ, твой долженъ укрѣпляться и что я съ тобою только составляю одно цѣлое; безъ тебя же я не могу имѣть всей полноты моего бытія».

Дочь проситъ отца сообщать ей подробно о Пензѣ, о томъ, какъ бы они могли тамъ вдвоемъ устроиться.

Сперанскій отвѣчаетъ, что былъ бы счастливъ жить вмѣстѣ съ нею, но пока проситъ не пріѣзжать къ нему по разнымъ соображеніямъ, потерпѣть, — и прибавляетъ: «Правда, что мы съ тобою и не избалованы... Вся опасность только въ томъ, чтобъ не избаловаться и не принять случайнаго за непремѣнное—чтобъ не отъучиться спать на жесткой постелѣ»...

Свои стихи, переводы, упражненія — дѣвушка все это шлетъ отцу.

«Муза твоя не дремлетъ — отвѣчаетъ между прочимъ Сперанскій.—Стихи твои прекрасны и, что до меня, какъ стараго твоего учителя, всего драгоцѣннѣе, ни одной погрѣшности въ языкѣ!»

Время между тѣмъ идетъ. Дочь и отецъ тоскуютъ другъ о другѣ.

«Уже 12-е декабря! — пишетъ Сперанскій: — уже поворотъ солнца съ зимы на лѣто! какъ время течетъ; мнѣ его не жаль; пусть себѣ течетъ; оно для того и сдѣлано, чтобъ итти и вести насъ къ вѣчности. Сверхъ той большой, таинственной вѣчности, къ которой всѣ мы должны готовиться, у меня есть своя, особенная,—свиданіе и соединеніе съ моею милою Лизою. Когда придетъ этотъ мартъ или май мѣсяцъ? Но онъ наконецъ придетъ; ранѣе или позже, мы будемъ вмѣстѣ и уже будемъ не разлучны».

Дѣвушка спрашиваетъ, можетъ ли она кому-либо показывать письма отца — этого ей не хочется.

«Весьма справедливо не показывать никому моихъ писемъ. Это было бы разглашеніемъ святыни. Совсѣмъ иначе говорятъ съ глаза на глазъ, нежели втроёмъ, даже и между друзьями. А мои письма къ тебѣ суть бесѣда моего сердца съ твоимъ, и я не желалъ бы, чтобъ кто-нибудь насъ подслушалъ».

Сперанскій собирается купить себѣ имѣніе подъ Пензой, и сообщаетъ объ одной деревнѣ. «Я хотѣлъ бы купить ее на твое имя; не знаю, что-то есть для меня привлекательное, чтобъ тебѣ все принадлежало, а мнѣ ничего; мнѣ что-то пріятно отъ тебя, мой другъ, зависѣть».

Много пишетъ онъ своей Лизѣ на первый день рождественскихъ святокъ, и между прочимъ говоритъ: «Прошедшая недѣля была для меня счастливѣе предъидущихъ. Я получилъ отъ тебя

два письма: одно съ почтою, другое съ Агафьинымъ братомъ. Послѣднее есть картина подлинно живописная чтенія твоего Маріи Стюартъ. Съ какимъ удовольствіемъ буду я тебя слушать, моя чародѣйка, когда ты будешь мнѣ волшебнымъ твоимъ жезломъ открывать и указывать сіи неизвѣстныя мнѣ земли! — Письмо твое написано прекрасно и правильно даже! Это значитъ, что ты писала его не торопясь и не была развлекаема».

Говоря о томъ, что онъ любитъ и пріятельницу своей Лизы— «Сюнюшку» Вейкардтъ, Сперанскій оговаривается:

«Истинно я люблю ее, какъ дочь; но не такъ люблю, какъ тебя: она по тебѣ занимаетъ у меня второе мѣсто; но перваго безъ тебя никто бы, кажется, не занялъ; оно безъ тебя осталось бы на вѣки праздно, еслибы ты и дѣйствительно имѣла десять родныхъ сестеръ—и лучше тебя и сто разъ умнѣе. Есть какая-то неизмѣняемая форма для любви родительской, и ты именно для меня вылита въ сію форму».

1-го генваря Сперанскій поздравляетъ свою дочь съ новымъ 1817-мъ годомъ.

«Сегодня мнѣ исполнилось 45 или 46 лѣтъ (прибавляетъ онъ). Сколько времени потеряннаго въ наукахъ тщетныхъ, въ исканіяхъ ничтожныхъ, въ мечтахъ воображенія! Если бы Богъ не даровалъ мнѣ тебя: то я могъ бы сказать, что я 45 лѣтъ работалъ Лавану за ничто. Полезнѣйшимъ временемъ бытія моего я считаю время моего несчастія и два года, которые посвятилъ я тебѣ».

Все, что онъ своимъ великимъ умомъ и своими нечеловѣческими усиліями сдѣлалъ для Россіи—все это онъ считаетъ ничтожнымъ съ тѣмъ, что могъ бы сдѣлать для своей любимицы!

Уже въ генварѣ Сперанскій задумалъ о томъ, какъ переѣдетъ къ нему его Лиза—готовитъ деньги, маршруты, экипажи.

«Съ какимъ восхищеніемъ встрѣчу я тебя на границѣ благословенной нашей губерніи, покажу тебѣ новую нашу деревню и наконецъ водворю тебя, послѣ толикихъ странствованій, въ новомъ твоемъ отеческомъ домѣ!»

Елизавета снова присылаетъ къ отцу свои стихи.

«Благодаренъ за стихи—отвѣчаетъ Сперанскій:—но скажи мнѣ, стихи Къ надеждѣ—переводъ или сочиненіе? это не привѣтъ, но сущая правда. Они имѣютъ такое сходство въ оборотѣ своемъ съ лучшими нѣмецкими стихами, что я въ недоумѣніи. Если это сочиненіе, какъ я и люблю вѣрить, то сіе доказываетъ, что умъ твой занятъ и напоенъ нѣмецкою словесностію. Я радъ: ибо она и изящна и оригинальна. Есть нѣкоторыя неисправности въ языкѣ; но и это мнѣ пріятно; это значитъ, что въ Пензѣ я буду еще имѣть удовольствіе тебя доучивать и содержать тебя въ моей зависимости».

Дѣвушка пишетъ о своихъ занятіяхъ Шекспиромъ и Шиллеромъ. Говоритъ, что увлечена Шиллеромъ, и совѣтуетъ отцу учиться понѣмецки.

Отецъ отвѣчаетъ, что послѣ Шиллера французская словесность будетъ для дочери «казаться безъ цвѣта и безъ вкуса».

«Я о семъ не жалѣю—прибавляетъ онъ; но вотъ о чемъ ты сама, можетъ быть, пожалѣешь: если, увлеченный твоими живописными картинами, пущусь я, по совѣту твоему, въ море нѣмецкой словесности: тогда что̀ будетъ съ моимъ губернаторствомъ? Я долженъ буду все оставить, даже и еврейскій мой языкъ; и ты одна всего будешь виною.—Продолжай однако же писать ко мнѣ о новыхъ твоихъ открытіяхъ, не взирая на всѣ послѣдствія».

Сперанскій теперь ни о чемъ другомъ не думаетъ кромѣ свиданья съ своей Лизой. А между тѣмъ еще генварь.

«Съ слѣдующею почтою пришлю твой маршрутъ. Удивительно, какъ идетъ время. Думаю о тебѣ каждый день, каждый часъ, а писать къ почтѣ не успѣваю. Это отъ того, что думать и любить тебя несравненно легче, нежели писать, хотя и писать пріятно. Прости. Христосъ съ тобою».

Черезъ нѣсколько писемъ, въ которыхъ рѣчь идетъ о поѣздкѣ дочери, Сперанскій не можетъ удержаться, чтобъ не сказать: «Съ какимъ удовольствіемъ слышу я стукъ плотниковъ и слесарей въ комнатахъ, которыя для тебя готовлю! Это сокращаетъ разстояніе предлинныхъ трехъ мѣсяцевъ, кои долженъ я еще провести безъ тебя. Прощай, моя милая. Христосъ съ тобою».

Въ другомъ мѣстѣ, говоря о своей любви къ дочери, Сперанскій оговаривается, что ради ея счастья онъ готовъ на все— даже ее не видѣть, если это необходимо: «Я не чувствую почти тяжести жертвъ, когда онѣ для тебя необходимы и даже когда онѣ тебѣ только полезны. Богъ не попуститъ, чтобъ я изъ тебя когда-нибудь пожелалъ сдѣлать собственную мою куклу».

Переписка между Лизой и отцомъ идетъ неустанная.

Въ первый день пасхи Сперанскій пишетъ первой ей—своей «Лизутѣ». Привѣтствуетъ ее со всею нѣжностью.

«Вмѣсто краснаго яичка посылаю тебѣ собственный мой ликъ; пусть онъ тебя поздравитъ и за меня поцѣлуетъ. Здѣсь находятъ его весьма схожимъ. Его писалъ одинъ здѣшній дворянинъ, amateur, кисть не самая мастерская, но удивительная въ сходствѣ. Онъ и тебя напишетъ, мою милую дуру, когда ты сюда пріѣдешь».

Наконецъ, дочь ѣдетъ. Цѣлая масса писемъ идетъ ей на встрѣчу съ разными распоряженіями, пожеланіями, деньгами, экипажами, нарочными. Ѣдетъ она съ г-жею Вейкардтъ.

«Желаю только, чтобъ дорога ваша какъ можно болѣе походила на прогулку. Спѣшить слишкомъ нѣтъ нужды; лишь бы вы

были покойны и веселы. Не забывайте каждый день поутру и ввечеру по нѣскольку верстъ ходить пѣшкомъ; это существенно. Да не загорите, чтобъ не пріѣхать вамъ сюда арапками».

Еще письмо: ...«Здѣсь полная весна (конецъ апрѣля); деревья распустились; воды упали; все тебя ожидаетъ; все призываетъ твою музу, чтобъ воспѣвать здѣшнія красоты. Ты смѣешься, дура; а я увѣренъ, что ты будешь здѣсь писать и лучше и охотнѣе».

Задержка въ отъѣздѣ. Горе съ обѣихъ сторонъ. Письма еще учащаются. Уже іюнь наступилъ.

«Еще одно письмо къ Лизѣ на удачу, и это уже послѣднее. Какъ не вѣрить мнѣ положительному твоему обѣщанію отправиться 15-го іюня? Я такъ давно сего желаю. И такъ, добро пожаловать; все здѣсь у меня готово; а готовѣе всего мое сердце».

...«Прощай, моя милая; мнѣ такъ близко кажется свиданіе съ тобою, что уже и писать не хочется. Жаль уменьшить предметы разговоровъ. На двѣ недѣли предаю уши и вниманіе мое въ полную твою волю. Прощай. Христосъ съ тобою».

Но и это не послѣднее письмо. Еще одно письмо встрѣчаетъ «милую дуру» на дорогѣ—это поздравленіе съ приближеніемъ къ предѣлу пути.

...«Еще пять, шесть дней—и ты дома!... Цѣлую обѣ руки твоего ангела-хранителя»...

И вотъ «милая дура» съ отцомъ, въ Пензѣ. Какъ одинъ день пролетѣлъ годъ и нѣсколько мѣсяцевъ счастья—общей жизни.

И снова у Сперанскаго отнято его счастье — его «милую дуру» опять увезли въ Петербургъ.

«Какая пустота, любезная моя Елисавета, съ тѣхъ поръ, какъ вы уѣхали—пишетъ онъ 1-го октября.—Вотъ двѣ недѣли уже минуло, а я не имѣлъ еще духу сойти внизъ и быть въ ва-

шихъ комнатахъ. Съ лѣтами, кажется, я становлюся малодушенъ».

Въ слѣдующемъ письмѣ онъ предостерегаетъ дочь отъ извѣстнаго нечистотою своихъ дѣяній Магницкаго.

«Съ Магницкимъ будь осторожнѣе: ибо и въ Петербургѣ поведеніе его не одобряютъ. Пріѣздъ твой вѣрно произведетъ толки. Старайся разрушить ихъ, увѣряя, что въ концѣ зимы или въ началѣ весны ты сюда возвратишься, хотя, впрочемъ, между нами, дѣло не совсѣмъ невѣроятное, что мы зимою будемъ вмѣстѣ». И тутъ же поправляетъ грамматическія ошибки своей Лизы: «Не пиши превозходительству, но превосходительству».

Снова письмо за письмомъ летятъ въ Петербургъ. Изъ Петербурга тоже.

«Первое письмо моей Елисаветы изъ Петербурга; съ сего времени начнется опять письменная наша бесѣда, и Богу одному извѣстно, скоро ли превратится она опять въ разговоры».

Дѣвушка пишетъ о Магницкомъ,—далеко не хвалитъ его.

«Замѣчаніе твое о Магницкомъ весьма справедливо—отвѣчаетъ Сперанскій. — ...Онъ давно пересталъ меня слушать. Въ слабой его головѣ совѣты мои потеряли всю силу съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ счастіе лишило ихъ очарованія. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ умнѣе, а я предъ нимъ глупѣе. Это одно даетъ точную мѣру разсудительной его силѣ. Впрочемъ должно быть справедливымъ: я забавлялся, игралъ нѣкогда умомъ его; теперь должно платить за сіи игрушки»...

...«Ради Бога не оставляй пѣнія: ибо на сто музыкантовъ едва найдешь одну пѣвицу. Тебѣ же и стыдно оставить сіе упражненіе послѣ толикихъ усилій—и дозволь себѣ сказать—успѣховъ».

...«У насъ новаго ничего нѣтъ. Балы наши еще не начались; да и что мнѣ до баловъ, когда нѣтъ моей волшебницы?»...

...«Внизу еще не бывалъ, и быть не могу до зимы»...

Дочь пишетъ, что хочетъ учиться композиціи, генералъ-басу. Отецъ поддерживаетъ эту мысль.

«Вообще во всякой наукѣ—говоритъ онъ—надобно добираться до того, чтобъ мыслить и самому изображать свои мысли. Что̀ за стихотворецъ, который умѣетъ только читать стихи чужіе? Что за стихотворецъ, напримѣръ, я? дѣло другое ты. Вотъ для чего мнѣ всегда хотѣлось, чтобъ ты получила понятіе о генералъ-басѣ... А итальянскій языкъ?»

Говоря, что продаетъ свой домъ въ Великопольѣ и тѣмъ дѣлаетъ себя независимымъ отъ долговъ, Сперанскій прибавляетъ: «независимость есть единое благо, коего намъ не доставало; все прочее, по милости божіей, я имѣю: Лиза, здоровье и друзья, какъ твоя мама (г-жа Вейкардтъ). Чего же болѣе?»..

...«Весьма умно распорядилась ты съ деревьями, и можетъ ли Лиза сдѣлать что либо худо? Вездѣ умъ и особливо здравый, зрѣлый разсудокъ»...

Дѣйствительно, оба эти существа жили какъ бы однимъ умомъ, однимъ сердцемъ.

«По согласію мыслей твоихъ съ моими—пишетъ отецъ—мнѣ остается почти только пожелать чего-либо, чтобъ и считать уже исполненнымъ. Какимъ образомъ двое часовъ на такомъ разстояніи могутъ итти столь согласно?»..

Письмо къ дочери отъ 17-го декабря 1818 года Сперанскій начинаетъ эпиграфомъ изъ «Донъ-Карлоса» Шиллера:

Wie schön ist es und herrlich, Hand in Hand,
Mit einem theuern, vielgeliebten Sohne (Tochter! прибавляетъ Сперанскій),
Der Tugend Rosenbahn zurück zu eilen,
Des Lebens Traum noch einmal durchzuträumen!

«Тебѣ, любезная моя Елисавета, по всей справедливости принадлежатъ всѣ мои успѣхи. На прошедшей недѣлѣ я прочиталъ Донъ Карлоса сперва на черно; теперь читаю на бѣло и съ удовольствіемъ... Но сдѣлай милость, не учись потурецки, ни потатарски; ты меня замучишь, если мнѣ вездѣ за тобой слѣдовать должно. И нѣмецкій твой языкъ мнѣ довольно дорого стоитъ. Были дни, въ кои я сидѣлъ за нимъ часовъ по 12-ти; c'est une rage. Нѣтъ ничего лучше въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ заупрямиться; мнѣ же всегда нужно заняться чѣмъ нибудь весьма труднымъ, чтобъ отбить отъ себя приливъ мыслей и воспоминаній»...

Новый 1819-й годъ по прежнему дочь и отецъ встрѣчаютъ въ разлукѣ.

Сперанскаго тяготитъ мысль, что его въ Петербургѣ забыли, и тяготитъ самая жизнь.

«Поздравляю тебя, любезная моя Елисавета — пишетъ онъ—съ новымъ годомъ, и со днемъ моего рожденія. Если бъ не было тебя: то день сей былъ бы для меня, по истинѣ, днемъ печали и горестныхъ воспоминаній».

Черезъ нѣсколько писемъ Сперанскій какъ бы шутя даетъ знать дочери, что онъ болѣе не вынесетъ своей пензенской ссылки.

«Предваряю тебя, любезная моя Елисавета, пишетъ онъ въ половинѣ генваря, что если въ теченіи сего мѣсяца ты не пришлешь ко мнѣ курьера, чтобъ я явился къ тебѣ въ Петербургъ: то 1-го февраля отправлю я на тебя жалобу государю и буду просить отпуска на 4 мѣсяца. Въ самомъ дѣлѣ, я на сіе рѣшился. Не думаю, чтобъ мнѣ отказали, и такимъ образомъ въ мартѣ я буду въ Петербургѣ, а далѣе что Богъ дастъ».

Графъ Кочубей пишетъ изъ Петербурга Сперанскому, что «дивится» образованію его дочери.

Съ своей стороны дѣвушка, постоянно занятая, сообщаетъ отцу свое мнѣніе о русской литературѣ.

«Разсужденія твои о литературѣ нашей—отвѣчаетъ Сперанскій—справедливы; но мнѣ горько думать, что она осуждена всегда на игрушки. Мнѣ кажется, недостатокъ силы происходитъ отъ ея младенчества. Съ возрастомъ придетъ и сила. Для легкой шутки надобенъ только умъ; но для сильныхъ произведеній потребно размышленіе и сила воображенія, возбуждаемая и управляемая классическими образцами. А у насъ именно сего-то и не достаетъ. Авторы, тобою приводимые, суть не что иное, какъ остроумная неучь. Я ихъ помню. Самъ Крыловъ есть порядочный невѣжда. Впрочемъ есть невѣжество генія и невѣжество остроумія; первое мы видимъ въ Шекспирѣ».

Отецъ и дочь ждутъ свиданья какъ спасенья. Но свиданья не разрѣшаютъ.

«Мысль съ тобою видѣться, любезная моя Елисавета—пишетъ Сперанскій 11-го февраля—такъ мною овладѣла, что мнѣ кажется и писать уже къ тебѣ нечего. Для чего происшествія сего тяжелаго, грубаго, свинцоваго міра не летятъ такъ, какъ мое воображеніе? Еще двѣ или три вѣчныя недѣли я долженъ провесть между страхомъ и надеждою»...

А 18-го февраля онъ вновь пишетъ: «Правда ли, любезная моя Елисавета, что еще двѣ-три недѣли, и мы съ тобою опять вмѣстѣ? Признаюсь, горько мнѣ будетъ въ семъ обмануться; лучше бы не надѣяться. Трудно мнѣ будетъ извинить обстоятельства: трудно, но не невозможно. Въ расчетѣ благоразумія я долженъ бы былъ теперь же готовиться къ отказу; но нещадный разумъ едва смѣетъ прикоснуться къ крыльямъ воображенія. И неумолимый смягчается!»

Но страшнымъ ударомъ былъ для Сперанскихъ не только отказъ въ отпускѣ, но приказъ немедленно ѣхать въ Сибирь генералъ-губернаторомъ.

Враги никакъ не хотѣли выпустить его въ Петербургъ.

«Что̀ сказать тебѣ—пишетъ онъ въ отчаяніи своему единственному другу—о новомъ ударѣ бурнаго вѣтра, который вновь насъ разлучаетъ по крайней мѣрѣ на годъ. Вчера я получилъ вѣсть сію и признаюсь, еще не образумился. Думаю однако же, что Господь дастъ мнѣ силы перенести и сіе огорченіе, по всей вѣроятности послѣднее: ибо есть конецъ всякой силѣ изобрѣтенія и есть же конецъ всякому и терпѣнію. Я надѣюсь, что моего станетъ еще на годъ; но не болѣе».

...«Въ положеніи моемъ есть нѣчто таинственное, почти суевѣрное» — пишетъ онъ въ слѣдующемъ письмѣ, выражая надежду, что черезъ годъ наконецъ онъ доберется до Петербурга—черезъ Сибирь!... «Есть надежда, что я къ той же цѣли приду, хотя путемъ довольно длиннымъ и вмѣсто 1,500 верстъ долженъ буду сдѣлать около 12,000 (оказалось еще больше!). Надежда сія однако же есть тайна, которую тебѣ одной я ввѣряю»...

Черезъ три дня Сперанскій вновь пишетъ:

«Третьяго дня, въ самый день с в ѣ т л а г о воскресенья, отправилъ я съ фельдъегеремъ къ тебѣ м р а ч н о е письмо мое. Не печалься, моя любезная Е л и с а в е т а; чѣмъ болѣе я всматриваюсь въ свое положеніе, тѣмъ болѣе нахожу въ немъ перстъ провидѣнія; а гдѣ провидѣніе, тамъ надежда. Описавъ большой кругъ, я приду къ той же самой точкѣ, къ соединенію съ тобою и къ жизни безмятежной. Богъ дастъ мнѣ силы. Здоровье мое самымъ видимымъ образомъ укрѣпляется; а съ здоровьемъ и съ духомъ бодрымъ чего перенести невозможно!»

Письма дочери поддерживаютъ его энергію: дочь проситъ отца не падать духомъ.

«Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 27 марта, весьма меня обрадовало—отвѣчаетъ Сперанскій.—Я привыкъ всё относить къ тебѣ; всё чувствовать въ тебѣ. Русское твое сердце на сей разъ весьма кстати пособило твоему разсудку. Одна разлука съ тобою составляетъ всю мрачную сторону моего новаго назначенія; все прочее довольно ясно и даже блистательно; а лучше всего то, что сія перемѣна вѣнчаетъ мою службу хотя страннымъ, но весьма приличнымъ и благовиднымъ образомъ. Думаю впрочемъ, что и безъ расчетовъ самолюбія, путешествіе мое для образованія сего края будетъ не безполезно. Можетъ быть Жуковскіе и Мерзляковы изъ рода тунгусовъ и остяковъ воспоютъ нѣкогда мое имя, какъ греки воспѣвали своего Кадма или скандинавцы Одина. Само собою разумѣется, что въ сихъ пѣсняхъ и ты не будешь забыта, и имя Елисаветы — моей дуры, займетъ нѣсколько полустишій въ ихъ гекзаметрахъ».

8-го мая Сперанскій выѣхалъ изъ Пензы. 13-го мая онъ уже пишетъ дочери изъ Казани. 18-го — изъ Перми.

«Сегодня отсюда пускаюсь въ Тобольскъ, гдѣ надѣюсь быть въ самый троицынъ день 25-го мая. Нельзя и для свиданія съ тобою болѣе спѣшить!»

И въ Сибири у него одна дума—его милая Лиза.

«И здѣсь, любезная моя Елисавета—пишетъ онъ изъ Тобольска — то же небо, тотъ же благотворный свѣтъ солнечный, тѣ же люди, смѣшеніе добра и зла, тотъ же отеческій промыслъ, объемлющій всѣ пространства, сближающій меня съ тобою во всѣхъ разстояніяхъ, укрѣпляющій и исполняющій сердце мое довѣріемъ и надеждою».

Какъ новый генералъ-губернаторъ, скачетъ онъ, не зная усталн, вдоль и поперекъ всей Сибири, и вездѣ его разыскиваютъ письма его Лизы, а его письма со всѣхъ мѣстъ летятъ навстрѣчу письмамъ дочери.

«Трудно видѣть луга болѣе тучные, лучше испещренные— пишетъ онъ изъ Томска уже — и еслибъ не былъ я за 4500 верстъ отъ тебя: то можно бы симъ повеселиться; но сердце мое сжато и не прежде раскроется, какъ при обратномъ отсюда путешествіи».

«Письмо твое, любезная моя Елисавета, отъ 8-го іюня, дошло ко мнѣ 14-го іюля — говоритъ онъ въ слѣдующемъ письмѣ:—какое ужасное разстояніе; а черезъ двѣ недѣли я буду отъ тебя еще далѣе. Какъ же не желать, какъ не искать намъ вѣчности все соединяющей, когда здѣсь все раздѣлить насъ можетъ?

«Разсужденіе твое о чувствительности прекрасно и даже весьма основательно. Упражняйся, любезная, чаще въ сихъ размышленіяхъ; но упражняйся съ перомъ въ рукѣ: ибо симъ однимъ образомъ можешь ты установить и удержать полетъ твоихъ мыслей»...

Тоскуетъ дѣвушка, боится будущаго.

«Ты старѣешь—пишетъ ей отецъ на это:—ради Бога не допускай себя старѣть; не теряй розовыхъ твоихъ мыслей; не дозволяй входа въ сердце твое пустымъ страхамъ; не всѣ-ли, не вездѣ-ли мы въ рукахъ всевышняго промысла; не ломаютъ ли себѣ ногъ на паркетахъ, и сверхъ того прошедшее должно тебѣ ручаться за настоящее и будущее. Что бы ни говорили, а есть предчувствіе и сіе предчувствіе удостовѣряетъ меня, что судьба моя еще не исполнилась и не прежде исполнится, какъ по соединеніи съ тобою»...

Положительно можно сказать, что дѣвушка, едва вышедшая изъ дѣтскаго возраста, одна спасала великаго человѣка отъ отчаянья, которому онъ готовъ былъ поддаться, когда будущее его было такъ мрачно.

«Среди нестройныхъ криковъ страстей и жалобъ здѣсь меня окружающихъ я читалъ, любезная моя Елисавета, письмо твое и мысли о несчастіи, какъ музыку Гайдена... Продолжай утѣшать меня; мнѣ нужны твои утѣшенія»...

Много работая надъ своимъ развитіемъ, хорошо подготовленная отцомъ, Елизавета въ то же время беретъ на себя обязанность учить дѣтей.

«Поздравляю тебя въ званіи учительницы дѣтей—пишетъ ей Сперанскій. — Весьма не худо учить и лучшій способъ учиться. Ты будешь современемъ miss Edgeworth»...

5-го сентября, въ день именинъ дочери, Сперанскій пишетъ уже изъ Иркутска: «Давно-ли, любезная моя Елисавета, день твоего ангела праздновали мы въ Пензѣ?—Это кажется вчера. Между тѣмъ сколько происшествій, какая разлука, какая отдаленность! Но сила любви не знаетъ разстояній. И въ Иркутскѣ праздную сей день, счастливѣйшій въ моей жизни, благодареніемъ всевышнему отцу, который, вмѣсто всѣхъ благъ жизни, даровалъ мнѣ тебя. Ангелъ хранитель невинности и чистоты душевной да будетъ съ тобою!»

Въ это время дѣвушка познакомилась съ Жуковскимъ, и сообщаетъ объ этомъ отцу.

...«Свиданіе твое съ Жуковскимъ—отвѣчаетъ на это Сперанскій — есть дѣйствительно происшествіе; рѣдко встрѣчаются геніи, и съ того времени какъ встрѣтился Шиллеръ съ Гёте, нынѣ случилось это въ первый разъ. Тутъ нельзя ошибиться; если онъ Шиллеръ: то ты Гёте. Соразмѣрность почти вѣрная»...

[illegible] ли [illegible]. [illegible] выражаетъ желаніе быть мальчикомъ, чтобъ имѣть свободу пріѣхать въ Сибирь.

«Запрещаю тебѣ желать быть мальчикомъ — отвѣчаетъ Сперанскій — ты рождена именно для того, чтобъ быть моею Елисаветою и мѣнять мальчиковъ на тебя я не желаю. Сверхъ того это и не нужно: даже и въ этомъ предположеніи, въ предположеніи для меня горестномъ и совершенно невѣроятномъ, чтобъ ты принуждена была посѣтить Сибирь, никакое превращеніе къ сему не нужно»...

Въ одномъ письмѣ дѣвушка говоритъ о «твердости», о томъ, что она есть у женщинъ.

«Сильно говоря и разсуждай, любезная моя Елисавета, о твердости—отвѣчаетъ ей на это отецъ:—истинная твердость въ нашемъ вѣкѣ можетъ быть болѣе принадлежитъ женщинамъ, нежели мужчинамъ. И съ чего мужчины взяли присвоить себѣ исключительно сіе достоинство? Можно имѣть въ самой высшей степени чувствительность и вмѣстѣ твердость; я подозрѣваю даже, что одно безъ другаго быть не можетъ и истинная чувствительность едва ли не родная сестрица твердости. Какъ можно напримѣръ быть твердымъ въ несчастіи безъ живаго чувства какой-либо главной идеи нами обладающей? Кто скорѣе бросится въ рѣку за утопающимъ ребенкомъ? Отецъ или мать? Мать безъ сомнѣнія. А развѣ пренебреженіе опасностей не есть твердость?—Можетъ быть намъ можно съ вами подѣлиться; мы возмемъ себѣ на нашу часть твердость продолжительную, упорную; а вы внезапную, стремительную, хотя впрочемъ и не знаю, справедливъ ли будетъ и сей раздѣлъ. Жизнь вашего пола есть почти безпрерывное терпѣніе.

«Какъ бы то ни было, сочиненіе твое о твердости принесло мнѣ много утѣшенія. Мысли вообще основательны; много

есть тонкихъ и счастливыхъ выраженій, одному женскому перу свойственныхъ. Съ небольшими поправками оно могло бы быть съ удовольствіемъ прочитано и не отцомъ. Ты спрашиваешь, неужели въ слогѣ твоемъ нѣтъ ошибокъ? — Есть, но они уменьшаются такъ, что и изъ Пензы поправлять ихъ не стоило бы труда, а изъ Иркутска!»

Наступилъ, наконецъ, и 1820 годъ. Дѣвушка все въ разлукѣ съ отцомъ, и чтобъ хоть чѣмъ-нибудь утѣшить его, посылаетъ ему къ новому году свой портретъ.

Сперанскій благодаритъ свою любимицу за это нѣжное вниманіе. «Предо мною на столѣ всегда стоятъ двѣ твои пензенскія миніатуры—пишетъ онъ:—къ сожалѣнію одна изъ нихъ, въ сарафанѣ, наиболѣе сходная, линяетъ. Теперь будетъ чѣмъ замѣнить».

Передъ одной Елизаветой своей Сперанскій ничего не скрывалъ. «Къ тебѣ одной—говоритъ онъ—моему единственному другу, пишу я съ полною откровенностію и довѣріемъ».

Ей довѣряетъ онъ и слѣдующее: «Сибирь для меня есть театръ довольно выгодный — говоритъ онъ. — Если не много я здѣсь сдѣлалъ: по крайней мѣрѣ много осушилъ слезъ, утишилъ негодованій, пресѣкъ вопіющихъ насилій, и, что можетъ быть еще и того важнѣе, открылъ Сибирь въ истинныхъ ея политическихъ отношеніяхъ. Одинъ Ермакъ можетъ спорить со мною въ сей чести. Все сіе—разумѣется—я пишу только къ тебѣ и для тебя».

Въ февралѣ Сперанскій скачетъ въ Кяхту, оттуда въ Верхнеудинскъ, потомъ въ Нерчинскъ, гдѣ спускается «въ преисподнюю—на 36 саженъ подъ землею, чтобъ видѣть своими глазами послѣднюю линію человѣческаго бѣдствія и терпѣнія», и отовсюду письма его направляются въ Петербургъ—все къ той же Лизѣ: каждое свое впечатлѣніе онъ одной ей довѣряетъ.

Даже подъ заглазнымъ руководствомъ такого отца крѣпнетъ характеръ и воля дѣвушки, закаляемая несчастьемъ.

«Буря застала тебя въ такія лѣта—пишетъ ей отецъ изъ Иркутска—когда ты ее не чувствовала. Ты играла въ Нижнемъ, играла въ Перми и начала чувствовать бытіе твое въ Великополье. Всѣ вѣроятности есть, что оставаясь въ Петербургѣ ни умъ, ни характеръ твой не получили бы ни развитія, ни твердости. Я не могъ бы тобою заниматься; обстоятельства болѣе изнѣжили бы тебя, нежели укрѣпили. Ты была бы по сіе время не что иное, какъ вялый ребенокъ. Таковы суть большая часть женщинъ... Несчастіе! его должно было бы называть другимъ именемъ, именемъ благороднѣйшимъ, какое только есть въ происшествіяхъ человѣческихъ. Въ духовномъ смыслѣ оно есть помѣщеніе въ число чадъ божіихъ, сыноположеніе. Въ моральномъ — сопричтеніе въ дружину великодушныхъ. Несчастіе! его должно было бы вводить въ систему воспитанія и не считать его ни оконченнымъ, ни совершеннымъ безъ сего испытанія».

Ни Сперанскій, ни дочь его не знали, что имъ готовится новое испытаніе. Они надѣялись лѣтомъ 1820 года быть уже вмѣстѣ.

Но враги ихъ не дремали. И на эту предстоящую зиму отца отрывали отъ дочери.

«Какъ бы то ни было—пишетъ Сперанскій въ маѣ 1820 года—я долженъ буду провести будущую зиму въ Сибири и именно въ Тобольскѣ. Мои собственныя огорченія тутъ не должны быть въ счетъ принимаемы; я всегда найду силу ихъ перенести... Чувствительность моя вся въ тебѣ. Если при семъ отдаленіи нашего свиданія нужны тебѣ мои какіе-либо совѣты: требуй ихъ откровенно и не полагай никакихъ предѣловъ моимъ чувствамъ. Не бери въ счетъ моего бытія; думай только о своемъ счастіи и

будь увѣрена, что я буду совершенно счастливъ, когда за 6000 верстъ буду знать, что ты счастлива»...

Безнадежность свиданья еще болѣе учащаетъ письма между отцомъ и дочерью. Они желаютъ знать другъ о другѣ — все, всякую мельчайшую подробность.

«Ты ничего мнѣ не пишешь о твоемъ пѣніи — спрашиваетъ Сперанскій.—Какъ жалко, что люди такъ глупы, что не слышатъ въ твоемъ голосѣ будущаго его раскрытія, не знаютъ цѣны его timbre, который требуетъ только упражненія и гибкости. — Не кому слушать и я очень понимаю, что и пѣть для глухихъ не хочется; но пой для меня и вѣрь, что за 6000 верстъ я услышу!»

Время идетъ медленно. Даже письма дочери не сокращаютъ его для изгнанника. Въ половинѣ іюня къ Сперанскому пріѣзжаетъ изъ Петербурга курьеръ съ бумагами. «Сей курьеръ, глупый человѣкъ, не зналъ, что у меня есть дочь въ Петербургѣ, не привезъ мнѣ ни одного письма», съ горестью говоритъ ссыльный генералъ-губернаторъ.

Но за то другая радость, хотя минутная, оживляетъ его. Изъ Петербурга возвращается одинъ енисейскій купецъ, который видѣлъ своими глазами Лизу. «И онъ и товарищъ его — пишетъ по этому случаю Сперанскій къ дочери—не могутъ тобою нахвалиться и безъ слезъ не могутъ вспомнить, что такіе высокіе люди, какъ Елизавета Михайловна и Марья Карловна такъ съ ними были ласковы».

Дѣла опять загнали Сперанскаго въ глубь Сибири. Въ августѣ онъ пишетъ уже изъ Красноярска. Говоритъ, что письма дочери и выраженныя въ нихъ надежды на свиданье раздираютъ его душу. Кромѣ того изъ нѣкоторыхъ ея писемъ онъ заключаетъ, что его Лиза еще кого-то любитъ кромѣ него. Онъ го-

воритъ ей объ этомъ — дѣвушка не понимаетъ, и спрашиваетъ отца, что́ это значитъ.

«Первое движеніе мое во всякой глубокой душевной скорби есть бѣжать въ горнее мое отечество. Въ семъ расположеніи мыслей я стараюсь скорѣе распорядить земныя дѣла мои и сдѣлать послѣднее мое завѣщаніе, и какое другое могу я имѣть дѣло на землѣ, кромѣ твоего счастія? Письмо мое къ тебѣ было въ существѣ своемъ ничто иное, какъ вопросъ: можешь ли ты найти другаго въ жизни спутника кромѣ меня, который, по странному сцѣпленію судьбы, вмѣсто того чтобъ тебя вести, запинаетъ твой путь. За шесть тысячъ верстъ я не могъ разрѣшить сего вопроса. Ты еще не знаешь всей заботливости, всей тонкости отеческаго сердца. Нѣкоторыя черты твоихъ писемъ открывали мнѣ, что нѣчто лежитъ у тебя на сердцѣ; я не могъ опредѣлить, что́ именно. Я видѣлъ четыре дѣйствующія лица; но не зналъ, какъ ихъ сложить. Все что могъ и долженъ былъ я сдѣлать, было предоставить тебѣ полную свободу, разрѣшить тебя на всѣ случаи, увѣрить, что одно знаніе, одинъ слухъ о твоемъ счастіи есть уже для меня дѣйствительное счастіе. Я долженъ былъ сіе сдѣлать потому, что въ любви къ тебѣ не имѣю я никакого самолюбія, и что жертвуя всѣмъ, я желаю одного — чтобы ты была неприкосновенною, чтобъ на одного меня излили все, что есть горестнаго въ судьбѣ моей. Я не могу чувствовать радостей жизни безъ тебя. Но могу жить и безъ радостей; одного желаю и прошу у Бога, чтобъ ты была счастлива. Вотъ содержаніе письма моего. Никогда не перестанешь ты меня привязывать къ землѣ, доколѣ желаніе сіе не совершится, и если бы должно было еще пять разъ быть въ Сибири, я чувствую себя въ силахъ все перенесть безъ ропота и безъ ослабленія... Мысль отдѣлить мое бытіе отъ твоего счастія есть выше всего моего терпѣнія»...

И это говоритъ Сперанскій—холодный будто бы формалистъ, бюрократъ... Мало того, о томъ, кого его Лиза изберетъ себѣ въ мужья, онъ говоритъ: «тотъ, кто искренно любитъ мою Елисавету, долженъ по первому ея знаку прилетѣть съ того свѣта, иначе онъ ее не знаетъ или любовь его есть игра ума и воображенія»...

Возвращаясь изъ Красноярска на западъ Сибири, Сперанскій находитъ въ Томскѣ новыя письма отъ дочери. «Еще два письма отъ моей Елисаветы—говоритъ онъ.—Если бы и не было другой выгоды возвращаться съ востока на западъ: то одна встрѣча твоихъ писемъ стоила бы путешествія»...

Въ другомъ письмѣ благодаритъ свою Лизу за присланные ею рисунки своей кисти. Пишетъ уже изъ Семипалатинска: «Живопись твоя прекрасна... Италіанскій языкъ есть послѣдняя черта моихъ о тебѣ желаній. Окончивъ ее кажется все будетъ окончено, что было начато и безъ тщеславія можно быть покойнымъ. Ты не отстанешь отъ своего вѣка, сколько бы ходъ образованія его ни былъ обширенъ и стремителенъ. Всѣ двери познаній, всѣ источники чистыхъ удовольствій тебѣ открыты»...

Изъ Тобольска, 9-го октября: «Если сердце моей Елисаветы спокойно: то нѣтъ для меня горестей на свѣтѣ. Сіе одно существенно; все прочее исчезаетъ какъ мечта, какъ призракъ при первомъ нашемъ взглядѣ другъ на друга»...

Дѣвушка слѣдитъ за литературой и замѣчанія свои сообщаетъ отцу. Является, какъ литературная новость, «Русланъ и Людмила» Пушкина. Чутье подсказываетъ дѣвушкѣ, что изъ Пушкина выйдетъ что-то большое, и она дѣлится этимъ открытіемъ съ отцомъ. Сперанскій отвѣчаетъ: «Руслана я знаю по нѣкоторымъ отрывкамъ. Онъ дѣйствительно имѣетъ замашку и крылья генія. Не отчаявайся; вкусъ придетъ; онъ есть дѣло опыта и упраж-

ненія. Самая неправильность полета означаетъ тутъ силу и предпріимчивость. Я также какъ и ты замѣтилъ сей метеоръ. Онъ не безъ предвѣщанія для нашей словесности».

А вотъ какъ превосходно Сперанскій очерчиваетъ характеръ своей дочери:

«И такъ къ тебѣ опять возвратился ребяческій твой нравъ. Увѣряю тебя, что и въ шестьдесятъ лѣтъ онъ тебя не оставитъ, если силою ты его не выгонишь. Это есть печать, которую на извѣстные характеры полагаетъ сама природа; горести могутъ ее затмить, но не изгладить, проглянетъ солнце надежда—и печать тутъ. Я первый ее въ тебѣ примѣтилъ, для другихъ и теперь еще это тайна; они не знаютъ къ чему отнести все это, что есть въ характерѣ твоемъ пріятнаго; а это candeur; это не есть откровенность franchise, ни простота simplicité, ни то, что называютъ naïvété, хотя часто смѣшиваютъ одно съ другимъ (собственно говоря ты не имѣешь naïvété). Это есть нѣчто невыражаемое на словахъ; но въ природѣ это можно отличить и указать. Я бы назвалъ это бѣлизною нрава: ибо и въ самомъ дѣлѣ candeur по нашему означаетъ бѣлизну. Даръ безцѣнный, источникъ тонкой, глубокой, внутренней чистоты и невинности, тихихъ удовольствій и кроткаго веселонравія. Дѣти всѣ почти имѣютъ сей даръ; но у кого онъ не глубоко на сердцѣ положенъ, тотъ теряетъ его скоро. Рѣдкіе сохраняютъ. Но я знаю примѣры, что сохраняютъ до глубокой старости. Я его совсѣмъ не имѣю. У тебя онъ отъ матери».

О литературныхъ занятіяхъ своей дочери Сперанскій пишетъ:

«Я тебѣ предсказывалъ, любезная моя Елисавета, что слава стиховъ твоихъ промчится до предѣловъ міра. Англія есть средоточіе всѣхъ сообщеній; слѣдовательно чрезъ годъ, чрезъ два имя твое извѣстно будетъ и въ Америкѣ... Съ твоими стихами

дѣлается то же, что съ моими мыслями: ихъ печатаютъ на всѣхъ европейскихъ языкахъ».

Мы бы никогда не кончили, если бъ продолжали дѣлать хотя самыя характеристическія выписки изъ писемъ Сперанскаго къ дочери. Ограничимся нѣсколькими строками изъ его послѣднихъ сибирскихъ писемъ.

На новый 1821 годъ онъ между прочимъ пишетъ дочери: «Мнѣ кончилось сегодня пятьдесятъ лѣтъ. По общему счету жизнь довольно долговременная — а готовъ-ли я?... Одно достовѣрно, что собственно для себя я не привязанъ къ міру; но слишкомъ много привязанъ къ твоему счастію и по странному противорѣчію чего не желаю себѣ, того желаю тебѣ. Вотъ тонкая игра самолюбія»...

Все еще подозрѣвая, что дѣвушка, быть можетъ, уже привязалась къ кому-либо и ждетъ только отца, чтобъ сообщить ему о своемъ выборѣ, Сперанскій пишетъ:

«Время еще не ушло и спѣшить я не вижу никакой нужды. У меня есть множество идей, кои должно сообщить тебѣ. Ты знаешь, что я прежде никогда не говорилъ съ тобою о сихъ предметахъ: ибо считалъ сіе неблаговременнымъ. Вотъ почему нужно намъ прежде все сіе разобрать и уложить вмѣстѣ: ибо чтобы ни говорили, но самая пламенная любовь зависитъ отъ идеала и въ правильномъ составленіи сего идеала состоитъ все дѣло. Можно утвердительно сказать, что каждый предметъ любви знакомъ былъ намъ прежде. Мы образъ его нашли уже въ душѣ своей и человѣкъ тутъ есть только подлинникъ сего образа. Тутъ двѣ ошибки быть могутъ. Ошибка въ образѣ и ошибка въ приложеніи его къ человѣку. Сколько слезъ пролито отъ сихъ двухъ ошибокъ; какія ужасныя они имѣли послѣдствія».

*

5-го февраля Сперанскій пишетъ дочери послѣднее свое письмо изъ Сибири: «скоро буду съ тобою въ одной части свѣта... въ Европѣ»...

1-го марта онъ пишетъ уже изъ Пензы. Какъ ни усталъ, но торопится къ дочери: «каждый лишній день безъ тебя—для меня мертва»...

17-го марта онъ уже въ Москвѣ.

«Москва! — восклицаетъ онъ: — Москва! и семь сотъ только верстъ разстоянія отъ моей Елисаветы. Легко понять все, что въ сей мысли есть для меня радостнаго»...

До сихъ поръ, слѣдя за жизнью дочери Сперанскаго, мы по необходимости должны были говорить больше о ея отцѣ. Это потому, что самъ Сперанскій въ своихъ обращеніяхъ къ дочери съумѣлъ очертить ея нравственную физіономію и познакомить съ главными моментами ея дѣвической жизни такъ, что лучшаго источника для знакомства съ его дочерью и желать нельзя.

Теперь мы обратимся къ дальнѣйшимъ эпохамъ жизни собственно Елизаветы Михайловны Сперанской.

Вскорѣ по возвращеніи изъ Сибири отца, она вышла замужъ за Фролова-Багрѣева. Насколько отецъ оправдывалъ ея выборъ въ этомъ случаѣ, насколько «подлинникъ», о которомъ говорилъ Сперанскій въ письмѣ изъ Сибири, отвѣчалъ идеалу его дочери о человѣкѣ, могшемъ замѣнить ей отца на всю послѣдующую жизнь—мы не знаемъ.

Извѣстно только, что, и послѣ замужства, дочь Сперанскаго продолжала жить съ отцомъ: лучшаго общества для такой женщины, какъ дочь Сперанскаго, трудно было бы и желать. Въ домѣ Сперанскаго собиралось все, что было лучшаго, развитого и образованнаго въ Россіи. Пріѣзжія знаменитости, путешественники, иностранные послы, артисты и представители русской

литературы — все это соединялось въ домѣ Сперанскаго, и центромъ всего этого избраннаго общества была молодая и образованная дочь славнаго русскаго государственнаго дѣятеля.

Изъ числа русскихъ литераторовъ она пользовалась особенною дружбою Пушкина, «полетъ генія» котораго она едва ли не раньше другихъ угадала своимъ чуткимъ умомъ, когда отецъ ея былъ еще въ Сибири, и писала объ этомъ отцу.

Въ 1839 году Сперанскій умеръ.

Страстно привязанная къ своему геніальному отцу, Багрѣева-Сперанская не въ силахъ была оставаться послѣ его смерти въ томъ домѣ, гдѣ столько счастливыхъ лѣтъ они провели вмѣстѣ, и потому она бросила не только этотъ домъ, но и Россію надолго.

Багрѣева-Сперанская уѣхала въ Европу. Тамъ лично могла она провѣрить свои знанія на тѣхъ образцахъ и явленіяхъ, которые на каждомъ шагу представляла культурная жизнь образованныхъ народовъ. Явленія эти имѣли такое сильное на нее вліяніе, что она нравственно подчинилась имъ, и хотя отъ отца еще наслѣдовала сознательную любовь къ Россіи и къ ея народу, хотя покойный отецъ усердно поддерживалъ въ ней русскія симпатіи, помогалъ ея литературному развитію и давалъ ему направленіе исключительно русское, однако Европа и первоначальное нерусское воспитаніе осилили: изъ дочери Сперанскаго не вышло русской писательницы; Багрѣева-Сперанская сдѣлалась извѣстною какъ писательница Европейская.

Возвратившись въ Россію, Багрѣева-Сперанская поселилась въ своемъ украинскомъ имѣніи и занялась воспитаніемъ своихъ дѣтей, улучшеніемъ положенія крестьянъ и литературными работами, которыя, однако, сдѣлались извѣстными уже почти подъ конецъ ея жизни, когда она стала печатать ихъ въ Европѣ.

Но тревожная жизнь ея не обошлась безъ катастрофъ и въ этотъ періодъ жизни. Дѣти ея подростали; сынъ подавалъ большія надежды и могъ расчитывать на блестящую будущность; но, поступивъ безъ согласія матери въ военную службу, онъ нашелъ тамъ смерть въ средѣ развращеннаго товарищества: въ одной ссорѣ, за попойкой, желая защитить жизнь своего товарища, онъ самъ палъ отъ руки пьянаго его противника.

Это было страшнымъ ударомъ для матери.

Въ тоскѣ по сынѣ она нигдѣ не могла найти утѣшенія — ни въ Россіи, ни въ Европѣ. Надѣленная отъ природы впечатлительностью и восторженностью отца-энтузіаста, она думала, что найдетъ это утѣшеніе въ пилигримствѣ, и, по старому русскому обычаю, отправилась въ Іерусалимъ на богомолье, отдавъ предварительно свою дочь замужъ за князя Кантакузена и освободивъ такимъ образомъ себя отъ материнскихъ заботъ.

Полтора года она ходила по святымъ мѣстамъ, и, возвратившись въ Россію, вся отдалась единственной страсти, развитой въ ней еще отцомъ—страсти къ литературнымъ занятіямъ.

Первое, что ею было издано въ свѣтъ — это «Русскіе богомольцы въ Іерусалимѣ» (Les pelerins russes à Jerusalem). Собственно же она выступила на литературное поприще еще при жизни отца, именно въ 1829 году, издавъ книгу о воспитаніи дѣтей, которая не прошла незамѣченною въ Россіи, особенно въ то время, когда самыя педагогическія понятія въ русскомъ обществѣ были только въ зародышѣ.

Но такъ какъ уже давно не было въ-живыхъ ея руководителя-отца, который ревниво и съ любовью слѣдилъ за образованіемъ ея русскаго литературнаго языка и вкуса, поправлялъ каждую малѣйшую ошибку въ ея слогѣ, самъ училъ ее писать стихи и серьезные трактаты о разныхъ предметахъ,—то симпатіи

ея вновь перешли на сторону Европы въ такой мѣрѣ, что первое свое большое сочиненіе она издала на французскомъ языкѣ подъ упомянутымъ нами выше заглавіемъ — «Les pelerins russes à Jerusalem».

Однако здоровье ея, разбитое волненіями и несчастіями прежней жизни и потрясенное трагическою смертью любимаго сына, требовало, чтобъ она избрала себѣ мѣсто жительства въ болѣе здоровомъ, чѣмъ въ Россіи, климатѣ.

Багрѣева-Сперанская избрала для своей жизни Вѣну, гдѣ и поселилась съ 1850 года.

И въ Вѣнѣ, какъ и въ Петербургѣ у отца, домъ ея былъ средоточіемъ самаго образованнаго литературнаго и артистическаго кружка.

Въ Вѣнѣ она продолжала свои литературныя занятія, и вскорѣ Европа прочла въ «Revue des Deux-Mondes» отрывокъ изъ большого сочиненія «Xénia Damianowna» («Ксенія Демьяновна»), обратившій на себя всеобщее вниманіе и не безъ удивленія прочитанный русскою публикою, которая почти ничего не знала объ авторѣ.

Съ тѣхъ поръ Багрѣева-Сперанская начала работать еще съ большимъ жаромъ.

Хотя иностранный біографъ ея (Auguste Schnée) и говоритъ, что Багрѣева-Сперанская представляетъ рѣдкій психологическій феноменъ, потому что у нея будто бы уже подъ старость открылся литературный талантъ, однако намъ извѣстно изъ писемъ ея отца, что талантъ этотъ обнаруженъ былъ отцомъ ея лѣтъ тридцать-пять тому назадъ, когда она была еще дѣвочкой, а потомъ она выступила въ свѣтъ въ 1829 году съ самостоятельнымъ педагогическимъ сочиненіемъ.

Послѣ «Ксеніи» написала она еще нѣсколько сочиненій, какъ-то: «Тунгузское семейство» (Une famille tongouse), «Старовѣръ и его дочь» (Le starowèr et sa fille), «Невскіе острова» (Les îles de la Néva), и много другихъ сочиненій.

Но въ то время когда она готовила ихъ къ печати и отдала уже въ переписку, усиленныя умственныя занятія окончательно сломили ея разстроенное здоровье, и она въ четыре дня умерла воспаленіемъ въ мозгу.

Это было 14-го апрѣля 1857 года.

Умирая, она передала свои сочиненія Августу Шнее, который и издалъ большую часть изъ нихъ въ такъ-называемой «Международной библіотекѣ».

Къ сочиненіямъ этимъ принадлежатъ:

1) Irène, ou les bienfaits de l'éducation.
2) La vie de cheteau en Ukraïne.
3) Lettres sur Kiew.
4) Un tzar des cosaques—изъ времени пугачевщины.
5) La couronne de Hongroie.
6) Le prémier Romanoff—трагедія на нѣмецкомъ языкѣ.
7) Souvenir d'un voyage en orient.
8) Le livre d'une femme.

Въ послѣднее время въ Европѣ явилась особая біографія этой женщины, принадлежащая г. Виктору Дюрѣ, подъ заглавіемъ: «Un portrait russe, l'eouvre et le livre d'une femme, de m-me Ragréef-Speranski, par Victor Duret. 1867. Leipzig».

«Доброта, умъ и талантъ суть дары такіе рѣдкіе—скажу болѣе—такіе несовмѣстимые, что тотъ, кто обладаетъ однимъ изъ

этихъ даровъ, можетъ уже считаться избранникомъ неба. Багрѣева-Сперанская обладала всѣми этими дарами.

«Въ жизни она нашла одни горести, за то въ смерти—безсмертіе».

Такъ отзывается о дочери Сперанскаго заграничный издатель ея сочиненій и одинъ изъ друзей этой женщины.

XI.

Марья Аполлоновна Волкова.

Едва ли не болѣе всего на исторіи русской женщины отразилась борьба умирающаго, но живучаго XVIII вѣка съ молодымъ, не установившимся броженіемъ вѣка XIX, и хотя въ этой борьбѣ и въ этомъ броженіи еще не видно, что́ выйдетъ изъ русской женщины, однако начинаетъ уже намѣчаться ея моральный и общественный образъ.

Молодая Поспѣлова, эта юная «муза рѣчки Клязьмы», русскій женскій самородокъ и въ то же время едва ли не послѣдній отколокъ XVIII вѣка, не переживаетъ этого броженія, и, съѣдаемая своимъ собственнымъ внутреннимъ огнемъ, кончаетъ чахоткой, не выполнивъ своего призванія.

Дочь Суворова—историческая Суворочка—исчезаетъ какъ дымъ, едва уложили въ гробъ ея отца, тоже обломокъ XVIII вѣка.

Криднеръ, Татаринова, Свѣчина и почти всѣ женщины высшаго общества, охваченныя этимъ броженіемъ, въ которое вкинули западныхъ дрожжей въ видѣ католическихъ патеровъ и эмигрантовъ-аристократовъ, бѣжавшихъ отъ французской революціи,—эти женщины отворачиваются отъ Россіи для того, чтобы погрузиться въ мистицизмъ, пророчество, ханжество, наконецъ въ католичество.

Тѣ русскія женщины, которыя очутились внѣ этого мистическаго круга или случайно, или по своему общественному положенію, тоже ищутъ выхода изъ нравственнаго хаоса: Хомутова вся отдается умственной жизни, потому что случайно попадаетъ въ подходящую умственную сферу; Дурова, воспитанная на дикой волѣ, выходитъ изъ космическаго хаоса, надѣвъ на себя уланскій мундиръ и взявъ въ руки боевую саблю отца.

У этихъ послѣднихъ женщинъ начинаетъ уже биться сердце за что-то болѣе или менѣе опредѣленное, не изъ-за придворныхъ интригъ, не изъ-за мистическихъ и католическихъ вопросовъ, а изъ-за чего-то болѣе близкаго, за что-то болѣе осязательное и реальное—за Россію, за русскій народъ, за его благосостояніе.

А тутъ нагрянулъ памятный 12-й годъ.

Страшное общественное бѣдствіе могло заставить задуматься и самую пустую женщину, а для личностей болѣе развитыхъ этотъ неожиданный ударъ и этотъ, вслѣдствіе самой оглушительности удара, необычайный подъемъ народнаго духа, этотъ общій крикъ страны, ухватившейся за спасеніе своего послѣдняго достоянія, своей свободы, своей жизни, это сожженіе городовъ, оттѣсненіе Россіи отъ своей исторической сердцевины куда-то на востокъ, къ Волгѣ, за Волгу, въ степи, къ Азіи—все это отозвалось спасительнымъ ужасомъ въ самыхъ беззаботныхъ умахъ и создало женщину новаго русскаго типа, подобно тому какъ севастопольское лихо создало Россію конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, Россію, лучшую, какою она была когда либо, создало всѣхъ насъ такими, какими мы явились въ то хорошее, памятное время.

Такою новосозданною русскою женщиною, женщиною, выдвинутою исключительно «двѣнадцатымъ годомъ», является Марья Аполлоновна Волкова, не похожая ни на тотъ типъ рус-

ской женщины, представительницами котораго служили Криднеръ и Татаринова, ни на тотъ, который выразился въ Свѣчиной, ни даже на тотъ, котораго образцы мы видимъ въ Поспѣловой и Багрѣевой-Сперанской.

Дѣвица Волкова была дочь дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Аполлона Андреевича Волкова и Маргариты Александровны, урожденной Кошелевой.

Росла она въ богатомъ московскомъ домѣ, въ которомъ собиралось все знатное московское общество, князья и графы, княгини и графини, и проводили время такъ, какъ это времяпровожденіе изображено въ «Горѣ отъ ума».

Какъ большинство тогдашнихъ аристократическихъ дѣвушекъ, молоденькая Волкова воспитывалась въ смольномъ монастырѣ и получила шифръ, который ее въ первое время по выходѣ изъ института очень радовалъ, потому что съ этимъ новымъ знакомъ своего ученаго женскаго отличія, съ этимъ женскимъ аксельбантомъ, дѣвушка могла гордо танцовать на балахъ и въ собраніи, могла похвалиться своею ученостью, наконецъ шифромъ могла привлекать къ себѣ толпы поклонниковъ.

Такъ было и начала свою свѣтскую жизнь Волкова по выходѣ изъ смольнаго и по переселеніи на житье въ Москву.

Изъ Волковой могла выйти пустая свѣтская женщина. Но двѣнадцатый годъ передѣлалъ всю ея природу, и изъ нея вышло существо мыслящее, серьезное, думающее о пользахъ своей страны.

А такихъ женщинъ между русскими до этого времени еще не было, по крайней мѣрѣ они не выявились ничѣмъ.

За нравственнымъ переломомъ этимъ можно слѣдить шагъ за шагомъ, моментъ за моментомъ по самымъ письмамъ Волковой, писаннымъ ею въ Петербургъ къ пріятельницѣ, Варварѣ Ивановнѣ Ланской, и сохраненнымъ для потомства дочерью

этой послѣдней, Анастасіею Сергѣевною Ланскою, по мужѣ Перфильевою.

Двѣнадцатый годъ почти только въ началѣ.

Въ то время когда «кавалеристъ-дѣвица» Дурова геройски несетъ уже тяжелую ношу боевой жизни, защищая, вмѣстѣ съ цѣлою русскою арміею, наши границы отъ налетающихъ ордъ Наполеона, Волкова вотъ что пишетъ Ланской 11-го апрѣля изъ Москвы:

«Вчера мы снова появились въ свѣтѣ, на ужинѣ у графини Разумовской: это былъ день ея рожденія. Я слышала у нея Штейбельта, который однако отнюдь не привелъ меня въ восторгъ. Что̀ касается игры, то онъ Фильдова мизинца не стоитъ. При этомъ хвастунъ, всѣхъ презираетъ, лицо у него препротивное и окончательно не понравилось мнѣ. Вотъ какое впечатлѣніе сдѣлалъ на меня вашъ лучшій петербургскій артистъ. Кромѣ его я слышала братьевъ Бауеръ, изъ которыхъ одинъ играетъ на віолончели, а другой на скрипкѣ. У перваго дѣйствительно премилый талантъ. Я слушала его съ большимъ удовольствіемъ, не смотря на то, что другъ Ромбергъ избаловалъ мой слухъ. Вечеръ закончили длиннымъ и вовсе не интереснымъ макаб. Нынче я ѣду ужинать въ небольшомъ обществѣ у графини Соллогубъ, которая сидитъ постоянно дома, такъ какъ собирается родить. Мама отправляется на ужинъ къ Апраксиной и я очень рада, что могу провести вечеръ у Соллогубъ, которая жалуется, что я совсѣмъ у нея не бываю. Мнѣ очень весело въ ея обществѣ.

«Говорятъ, что на пасхѣ въ собраніи будетъ большой праздникъ въ честь статуи императрицы Екатерины. Если это правда, то я буду имѣть случай обновить мой шифръ».

Объ общественныхъ вопросахъ—ни слова. А Россія между тѣмъ уже стонетъ отъ ужасовъ войны.

22-го апрѣля Волкова вновь пишетъ:

«Христосъ воскресе, мой милый другъ. Вчера былъ праздникъ въ собраніи и весьма неудачный. Графъ Мишо очень дурно распорядился, такъ что празднество это своею нелѣпостію вполнѣ соотвѣтствовало уродливымъ украшеніямъ залы. Вообрази себѣ тысячу особъ ризряженныхъ какъ куклы, которыя ходятъ изъ одного угла въ другой, на подобіе тѣней, не имѣя другого развлеченія кромѣ заунывнаго пѣнія хора, состоящаго изъ 30 человѣкъ. Не было ни ужина, ни танцевъ, словомъ ничего. Двѣнадцать болвановъ, стоящіе во главѣ нашего бѣднаго собранія, вчера вполнѣ выказали свою глупость. Надѣюсь, что нынѣшній годъ будетъ послѣднимъ годомъ ихъ царствованія. Четырехъ уже смѣнили, и поступившіе на ихъ мѣсто хотятъ начать съ того, что велятъ нынѣшнимъ лѣтомъ уничтожить страшныхъ чудовищъ, поставленныхъ въ видѣ украшенія ихъ предшественниками.

«Какъ видишь, я весьма неудачно дебютировала съ моимъ шифромъ.

«Вотъ тебѣ новость. Камеръ-юнкеръ Мухановъ женится на маленькой княжнѣ Мещерской, племянницѣ графини Головкиной, которая слѣдовательно приходится тебѣ сродни».

Болтовня и свѣтскія сплетни—больше ничего.

Та же самая свѣтская болтовня повторяется и въ письмахъ отъ 29-го апрѣля, 9-го, 13-го, 18-го, 26-го мая и 1-го іюня.

Въ этихъ письмахъ только и рѣчи о томъ, что «Пушкина выходитъ замужъ за Гагарина»; что «свадьба будетъ пышная и великолѣпная, на подобіе свадьбъ, которыя праздновали пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ»; что «Пушкина непремѣнно хочетъ показать всѣ кружева, купленныя ею въ приданое дочери»; что

«ради этого всѣ московскія маменьки должны подчиняться несносному этикету»; что Соллогубъ «обсчиталась, предполагая, что родитъ въ концѣ марта»; что «графиня Сенъ-При, пріѣхавшая изъ Каменецъ-Подольска, распустила слухъ о свадьбѣ» Волковой «съ герцогомъ де-Граммонъ»; что «это извѣстіе облетѣло всю Москву»; что въ Москвѣ «нѣтъ другихъ новостей кромѣ дуэли Мордвинова съ Шатиловымъ (въ которой первый велъ себя прескверно, а послѣдній былъ раненъ) и еще свадьбы Даши Нащокиной съ Бахметьевымъ, у котораго прекрасное состояніе»; что «у Гудовичъ родился сынъ»; что «всѣ московскія дамы беременны»; что «нынѣшнее лѣто акушерки заработаютъ много денегъ»; что «женихъ молодой Мещерской совершенный олухъ», и такъ далѣе, и такъ далѣе въ подобномъ же родѣ.

Повторяемъ,—это такая болтовня, которая ужъ ни въ какомъ случаѣ не заслужила бы историческаго безсмертія, если бъ болтовнѣ этой не суждено было, подъ ударомъ общественнаго грома, превратиться въ осмысленную рѣчь, полную ума, чувства и гражданскаго такта.

Россія ждетъ бѣды съ часу на часъ. Начальство надъ Москвою ввѣряется Растопчину.

Тонъ писемъ Волковой мѣняется.

Уже 7-го іюня она пишетъ изъ деревни, изъ подмосковнаго имѣнія Высокаго, куда было ея семейство переѣхало на лѣто:

«Вообрази, Растопчинъ нашъ московскій властелинъ! Мнѣ любопытно взглянуть на него, потому что я увѣрена, что онъ самъ не свой отъ радости. То-то онъ будетъ гордо выступать теперь! Куріозно бы мнѣ было знать, намѣренъ ли онъ сохранить нѣжныя расположенія, которыя онъ выказывалъ съ нѣкоторыхъ поръ. Вотъ почти десять лѣтъ какъ его постоянно видятъ влюбленнымъ и, затѣмъ, глупо влюбленнымъ. Для меня

всегда было непонятно твое высокое о немъ мнѣніе, котораго я вовсе не раздѣляю. Теперь всѣ его качества и достоинства обнаружатся. Но пока я не думаю, чтобы у него было много друзей въ Москвѣ. Надо признаться, что онъ и не искалъ ихъ, дѣлая видъ, что ему нѣтъ дѣла ни до кого на свѣтѣ. Извини, что я на него нападаю; но вѣдь тебѣ извѣстно, что онъ никогда для меня не былъ героемъ ни въ какомъ отношеніи. Я не признаю въ немъ даже и авторскаго таланта. Помнишь, какъ мы вмѣстѣ читали его знаменитыя творенія».

Въ письмѣ отъ 14-го іюня она, между прочимъ, говоритъ: «Мнѣ интересно знать подробности перевода «Дмитрія Донского» на французскій языкъ. Признаюсь, я не высокаго мнѣнія объ этомъ произведеніи».

24-го іюня семейство Волковыхъ, въ виду грозныхъ событій, ожидаемыхъ Москвою, возвращается въ этотъ городъ.

Какъ быстро мѣняется языкъ писемъ Волковой!

«Мы дожили—говоритъ она—до такой минуты, когда исключая дѣтей никто не знаетъ радости, даже самые веселые люди. Насъ, быть можетъ, ожидаетъ страшная будущность, милый другъ!»...

Она не обманулась.

О Растопчинѣ она говоритъ: «Третьяго дня у насъ вечеромъ былъ Растопчинъ, и просидѣлъ нѣсколько часовъ. Мундиръ его не украсилъ, и онъ ужасно уродливъ безъ пудры: Громадный лобъ его весь открытъ. До сихъ поръ имъ довольны, быть можетъ потому, что все новое нравится; впрочемъ, я никогда не сомнѣвалась, что у него въ тысячу разъ болѣе ума и дѣятельности, чѣмъ у бывшаго нашего фельдмаршала. Остается знать, какъ онъ будетъ дѣйствовать».

Но Москва еще веселится—не знаетъ, что пируетъ на собственной своей могилѣ. Волкова пишетъ, что московскіе бары всѣ живутъ цинично, развратно, особенно кружокъ близкихъ ея семейству аристократовъ.

«Это общество мужей-холостяковъ устроило за городомъ пикники, на которые дамъ не приглашаютъ, а на мѣсто ихъ берутъ цыганокъ, карты и вообще не стѣсняются. Спрашиваю тебя, каково видѣть это женщинѣ, у которой есть хотя сколько-нибудь чувства. Н. слишкомъ глупа и безалаберна, а Гагарина слишкомъ молода, чтобы видѣть вещи въ настоящемъ свѣтѣ. Одна Соллогубъ все понимаетъ. Я ее застала съ опухшими глазами; она призналась мнѣ, что плакала, не говоря причины, но я готова пари держать, что толстый графъ причина ея слезъ. Меня приводятъ въ негодованіе подобныя вещи. Спрашивается, какъ же не бояться замужества, имѣя подобные примѣры передъ глазами».

И Волкова дѣйствительно всю жизнь осталась въ дѣвушкахъ.

Между тѣмъ страшная драма все болѣе и болѣе усложняется; а развязка еще такъ далека и такъ страшна.

«Мы здѣсь всѣ грустны и пріуныли—пишетъ Волкова 1-го іюля.—Я нахожусь въ постоянномъ страхѣ. До сихъ поръ до насъ доходятъ лишь ложные слухи. Въ Москвѣ говорятъ, что французовъ побили разъ пять или шесть. Хорошо бы, если бы мы въ дѣйствительности одержали хотя одну побѣду, тогда бы мы скоро отдѣлались отъ жестокаго врага человѣчества. Слѣдуетъ желать, чтобы въ настоящемъ случаѣ оправдалась русская пословица: гласъ народа—гласъ божій. Въ настоящее время я чувствую болѣе чѣмъ когда-либо, какое счастіе не быть лишенною вѣры въ провидѣніе: она не даетъ впадать въ отчаяніе, что̀ непремѣнно случилось бы, еслибъ полагались на силы и геній жалкаго человѣчества».

Черезъ недѣлю Волкова пишетъ своей пріятельницѣ очень любопытное письмо, въ которомъ выказался взглядъ тогдашней московской женщины на петербургскую и высокое мнѣніе о себѣ самой Москвы.

Въ Москву пріѣхало семейство графовъ Віельгорскихъ. Молодая графиня—«премилый ребенокъ»; но ребячество ея, по мнѣнію Волковой, слишкомъ безнадежно.

«Что касается до ея ребячества—пишетъ Волкова,—не могу дать тебѣ лучшаго обращика его, какъ разсказавъ, что она понять не можетъ, почему настоящая война всѣхъ интересуетъ. Я изъ силъ бьюсь, объясняя ей, что отъ этого зависитъ общее спокойствіе; слова мои даромъ пропадаютъ: она гораздо болѣе думаетъ о кружевахъ и тряпкахъ, нежели о судьбѣ страны, въ которой живетъ. На первыхъ порахъ я примѣтила въ ней желаніе разыгрывать петербургскую барыню (впрочемъ со мной она очень вѣжлива) въ отношеніи нѣкоторыхъ особъ, которыхъ она даже оттолкнула своимъ обращеніемъ. Третьяго дня, оставшись одна съ ней и Дашей, я начала разговоръ о томъ, какое непріятное впечатлѣніе производитъ важничанье особъ, пріѣзжающихъ изъ Петербурга. Я говорила вообще, никого не называя, и потому свободно могла высказывать, до чего это кажется смѣшно намъ москвичамъ. Я прибавила, что такія особы обыкновенно бываютъ всѣми покинуты, такъ какъ у насъ не любятъ тѣхъ, кто высоко задираетъ носъ.

«Мы очень хорошо знаемъ, что говорится про насъ въ Питерѣ; но такъ какъ это не мѣшаетъ ни нашему счастію, ни спокойствію, ни удовольствіямъ, то мы мало обращаемъ вниманія на то, что̀ объ насъ говорятъ. Но, коль скоро попадаютъ въ наше общество, мы хотимъ, чтобы дѣйствовали по нашему».

Таковою осталась Москва до настоящаго времени.

Въ концѣ вышеприведеннаго письма, Волкова, между свѣтскими новостями, не забываетъ прибавить:

«Сердца, умъ и глаза устремлены у всѣхъ на берега Двины. Только объ этомъ и говорятъ».

Съ каждымъ днемъ дѣвушка повидимому преобразуется—напоръ событій переработываетъ ее, вырабатывая изъ нея мыслящую женщину.

«Въ теченіе прошлой недѣли—говоритъ она 15-го іюля—я столько видѣла, слышала и перечувствовала, что, при всемъ моемъ желаніи, милый другъ, я не могу передать тебѣ словами всего мной испытаннаго въ послѣднее время»...

«Спокойствіе покинуло нашъ милый городъ—пишетъ она черезъ недѣлю.—Мы живемъ со дня на день, не зная, что̀ ждетъ насъ впереди. Нынче мы здѣсь, а завтра будемъ богъ-знаетъ гдѣ. Я много ожидаю отъ враждебнаго настроенія умовъ. Третьяго дня чернь чуть не побила камнями одного нѣмца, принявъ его за француза. Здѣсь принимаютъ важныя мѣры для сопротивленія въ случаѣ необходимости; но до чего будемъ мы несчастны въ ту пору, когда намъ придется прибѣгнуть къ этимъ мѣрамъ»...

Еще черезъ недѣлю она, между прочимъ, пишетъ:

«Я нахожу, что всѣхъ одолѣлъ духъ заблужденія. Все что̀ мы видимъ, что̀ ежедневно происходитъ передъ нашими глазами, а также и положеніе, въ которомъ мы находимся, можетъ послужить намъ хорошимъ урокомъ, лишь бы мы захотѣли имъ воспользоваться. Но къ несчастію, этого-то желанія я ни въ комъ не вижу, и признаюсь тебѣ, что расположеніе къ постоянному ослѣпленію устрашаетъ меня болѣе, нежели сами непріятели... сумасбродство и развратъ, которые господствуютъ у насъ, сдѣлаютъ намъ въ тысячу разъ болѣе вреда, чѣмъ легіоны французовъ».

*

«Народъ ведетъ себя прекрасно», говоритъ эта дѣвушка-аристократка въ письмѣ отъ 5-го августа: едва ли она не первая русская женщина, которая сказала это слово о русскомъ народѣ.

Въ другомъ мѣстѣ она говоритъ: «Мы отложили нашу поѣздку въ деревню, узнавъ, что тамъ происходитъ наборъ ратниковъ. Тяжелое время въ деревняхъ, даже когда на сто человѣкъ одного берутъ въ солдаты и въ ту пору, когда окончены полевыя работы. Представь же, что̀ это должно быть теперь, когда такое множество несчастныхъ отрывается отъ сохи. Мужики не ропщутъ, напротивъ говорятъ, что они всѣ охотно пойдутъ на враговъ и что во время такой опасности всѣхъ ихъ слѣдовало бы брать въ солдаты. Но бабы въ отчаяніи, страшно стонутъ и вопятъ, такъ что многіе помѣщики уѣхали изъ деревень, чтобъ не быть свидѣтелями сценъ, раздирающихъ душу».

Москва запружается ранеными.

«У Татищева, который служитъ въ коммисаріатѣ и слѣдовательно находится во главѣ всѣхъ гошпиталей, не достало корпіи, и онъ просилъ всѣхъ своихъ знакомыхъ наготовить ему корпіи. Меня--пишетъ Волкова—первую засадили за работу, такъ какъ я ближайшая его родственница, и я работаю цѣлые дни. Масловъ искалъ смерти и былъ убитъ въ одной изъ первыхъ стычекъ; люди его вернулись... Сердце обливается кровью, когда только и видишь раненыхъ, только и слышишь что объ нихъ. Какъ часто ни повторяются подобные слухи и сцены, а все нельзя съ ними свыкнуться»...

Въ августѣ пріѣхала въ Москву знаменитая тогда во всей Европѣ женщина—госпожа Сталь—личный врагъ Наполеона.

Вотъ какъ самостоятельно и оригинально отнеслась Волкова къ этой звѣздѣ первой величины:

«Объявляю тебѣ, что я вполнѣ раздѣляю мнѣніе твоего мужа о г-жѣ Сталь. Она недѣлю пробыла въ Москвѣ, бывала въ знакомыхъ мнѣ домахъ, и я не имѣла ни малѣйшаго желанія видѣть ее и ничуть не искала встрѣтиться съ нею. Что же она сдѣлала такого прекраснаго, чтобы возбуждать восторгъ? Сочиненія ея безбожны и безнравственны или безалаберны (extravagantes); послѣднія по моему лучше, по крайней мѣрѣ онѣ никого не совратятъ съ истиннаго пути. Свѣтъ погибъ именно потому, что люди думали и чувствовали такъ, какъ эта женщина. Я почти того же мнѣнія о Коцебу. Правда, они оба извѣстные писатели; но, признаюсь, не стоятъ того, чтобъ ими восхищались».

Назначеніе Кутузова главнокомандующимъ вызвало въ Волковой большую радость.

«По всему видно, что намъ приходится поплатиться за безразсудство двухъ нашихъ главнокомандующихъ», говоритъ она по поводу пораженія русскихъ подъ Смоленскомъ. «Негодяи, продавшіе себя Наполеону, не имѣютъ у насъ вліянія надъ войскомъ, и потому неудивительно, что оно отвергаетъ нововведенія тѣхъ злодѣевъ, которые исключительно овладѣли умомъ нашего бѣднаго монарха... Французы провели нашихъ какъ простаковъ»...

Въ числѣ измѣнниковъ Волкова указываетъ и на Сперанскаго—странное подозрѣніе!

Въ Москвѣ больше оставаться нельзя. Волковы ѣдутъ въ Тамбовъ, чтобъ не видѣть ужасовъ, которые уже совершались въ Москвѣ.

Мастерскою кистью описываетъ дѣвушка и путешествіе свое до Тамбова... Все бѣжитъ вглубь страны, въ глушь... Вездѣ новобранцы... Въ дорогѣ дѣвушка страшно тоскуетъ, не спитъ—

но здорова, и даже усталости не чувствуетъ:—такъ наэлектризована ея мысль.

По дорогѣ дѣвушка видитъ вездѣ плѣнныхъ. Города тоже наполнены французами и всѣми европейскими націями.

Въ Козловѣ ихъ окружили плѣнные турки... «Двое изъ нихъ— говоритъ дѣвушка — влюбились въ Полину Валуеву и въ меня и пришли предложить мамà обмѣнить насъ за двухъ полковниковъ. Матушка замѣтила, что дружба ихъ зашла слишкомъ далеко, и отослала насъ»...

Множество драгоцѣнныхъ замѣчаній, отзывовъ, характеристикъ и сценъ записано Волковою, и письма ея становятся для насъ богатымъ историческимъ матеріаломъ.

Изъ Тамбова она, между прочимъ, пишетъ о Москвѣ: «Растопчинъ отлично дѣйствуетъ; за это я его полюбила болѣе, чѣмъ ты когда-либо любила его. Не можешь вообразить, какъ всѣ и вездѣ презираютъ Барклая»...

Дошли до нея слухи и о Бородинѣ.

«У насъ дыбомъ стали волоса отъ вѣстей 26 и 27 августа—пишетъ она 3-го сентября. — Прочитавъ ихъ, я не успѣла опомниться, выхожу изъ гостиной, мнѣ навстрѣчу попался человѣкъ, котораго мы посылали къ губернатору, чтобы узнать всѣ подробности. Первая вѣсть, которую я услыхала, была о смерти братца Петра Валуева, убитаго 26-го. У меня совсѣмъ закружилась голова; удивляюсь, какъ изъ сосѣдней комнаты не услыхали моихъ рыданій несчастныя двоюродныя сестры. Домъ нашъ не великъ; я выбѣжала во дворъ, у меня сдѣлался лихорадочный припадокъ, дрожь продолжалась съ полчаса»...

Въ это время она получила письмо отъ Ланской, съ извѣстіями о Петербургѣ, о г-жѣ Сталь.

«Въ моемъ грустномъ настроеніи — писала ей на это Волкова—я далеко неблагосклонно встрѣтила твои размышленія о г-жѣ Сталь. Скажи, что̀ сталось съ твоимъ умомъ, если можешь ты такъ ею интересоваться въ минуты, когда намъ грозитъ бѣдствіе. Вѣдь ежели Москва погибнетъ, все пропало! Бонапарту это хорошо извѣстно; онъ никогда не считалъ равными обѣ наши столицы. Онъ знаетъ, что въ Россіи огромное значеніе имѣетъ древній городъ Москва, а блестящій, нарядный Петербургъ почти тоже, что̀ всѣ другіе города въ государствѣ. Это неоспоримая истина. Во время всего путешествія нашего, даже здѣсь, вдалекѣ отъ театра войны, насъ постоянно окружаютъ крестьяне, спрашивая извѣстій о матушкѣ-Москвѣ. Могу тебя увѣрить, что ни одинъ изъ нихъ не поминалъ о Питерѣ. Жители Петербурга, вмѣсто того чтобы интересоваться общественными дѣлами, занимаются г-жею Сталь; имъ я извиняю это заблужденіе, они давнымъ давно впадаютъ изъ одной ошибки въ другую; доказательство — приверженность вашихъ дамъ къ католицизму. Но вѣдь твоимъ, милый другъ, рѣдкимъ умомъ я всегда восхищалась, а ты поддаешься вліянію атмосферы, среди которой живешь! Это меня крайне огорчаетъ. Я этого отъ тебя не ожидала. Да что̀ же такого сдѣлала эта дрянная Сталь, чтобы возбудить такой восторгъ? Коринна сумасшедшая, безнравственная, ее бы слѣдовало посадить въ домъ умалишенныхъ за ея сумасбродство и за бѣганіе по Европѣ пѣшкомъ съ капюшономъ на головѣ, въ намѣреніи отъискать своего дурака Освальда. Послѣдній — такая личность, которой я не могу себѣ вообразить; онъ меня бѣситъ, я не терплю этихъ нерѣшительныхъ характеровъ, которые вѣчно колеблятся; въ мужчинѣ это болѣе чѣмъ нестерпимо. Дельфина, по моему, въ тысячу разъ хуже Коринны. Этотъ отвратительный романъ представляетъ смѣсь беззако-

ній и сумасбродства, его и нельзя читать хладнокровно. Можно ли восхищаться женщиной, осмѣлившейся изобразить такую скверную сцену въ церкви, а именно: женатый Леонсъ требуетъ отъ Дельфины клятвы передъ алтаремъ, что она будетъ принадлежать ему? Развѣ это не отвратительно? И ты восторгаешься авторомъ такой гадости? Меня это крайне огорчаетъ; я понимаю, что мужъ твой долженъ радоваться, что ты противъ собственной воли излечилась отъ этого восторга!.. Г-жу Сталь я не уподоблю Вольтеру. Какъ онъ ни былъ дуренъ, все же онъ геніаленъ, онъ гадости говорилъ и проповѣдывалъ прелестнымъ слогомъ; но и этого достоинства нѣтъ у г-жи Сталь. Я сдѣлала усиліе надъ собою, чтобы толковать съ тобой о постороннемъ предметѣ: лишь одно занимаетъ меня; я не знаю ни минуты покою, и если бы не вѣра въ божіе милосердіе и убѣжденіе, что Богу все возможно, я бы сошла съ ума какъ Зинаида»...

Событія, одно другого поразительнѣе, бьютъ такъ-сказать прямо въ голову и не даютъ опомниться.

Французы въ Москвѣ...

«Что̀ сказать тебѣ, съ чего начать? — пишетъ Волкова 17-го сентября. — Надо придумать новыя выраженія, чтобы изобразить, что̀ мы выстрадали въ послѣднія двѣ недѣли. Мнѣ извѣстны твои чувства, твой образъ мыслей; я убѣждена, что судьба Москвы произвела на тебя глубокое впечатлѣніе; но не могутъ твои чувства равняться съ чувствами лицъ, жившихъ въ нашемъ родномъ городѣ, въ послѣднее время передъ его паденіемъ, видѣвшихъ его постепенное разрушеніе и наконецъ гибель отъ адскаго могущества чудовищъ, наполняющихъ наше несчастное отечество. Какъ я ни ободряла себя, какъ ни старалась сохранитѣ твердость посреди несчастій, ища прибѣжища въ Богѣ, но горе взяло верхъ: узнавъ о судьбѣ Москвы, я пролежала три

дня въ постели, не будучи въ состояніи ни о чемъ думать и ничѣмъ заниматься. Окружающіе не могли поддержать меня, какъ я предвидѣла: ударъ на всѣхъ одинаково подѣйствовалъ, на лица всѣхъ сословій, всѣхъ возрастовъ, всевозможныхъ губерній—произвелъ ужасное впечатлѣніе»...

Понятно, послѣ этого, то недоброе чувство, съ которымъ дѣвушка начинаетъ относиться вообще къ нашему нравственному порабощенію, проявлявшемуся въ высшихъ классахъ русскаго общества въ видѣ—весьма впрочемъ естественнаго—преклоненія передъ всѣмъ западнымъ. Чувство это въ данный моментъ доходитъ у нея до крайности, граничащей съ обскурантизмомъ. «Когда я думаю серіозно о бѣдствіяхъ, причиненныхъ намъ этой несчастной французской націей — говоритъ она въ другомъ мѣстѣ—я вижу во всемъ божію справедливость. Французамъ обязаны мы развратомъ; подражая имъ, мы приняли ихъ пороки, заблужденія, въ скверныхъ книгахъ ихъ почерпнули мы все дурное»...

Но это недоброе чувство не мѣшаетъ ей, однако, вполнѣ человѣчно относиться къ тѣмъ несчастнымъ плѣннымъ врагамъ, которыхъ толпами гоняли изъ одного города Россіи въ другой. «Не смотря на все зло, которое они намъ сдѣлали—говоритъ она:—я не могу хладнокровно подумать, что этимъ несчастнымъ не оказываютъ никакой помощи, и они умираютъ на большихъ дорогахъ, какъ безсловесныя животныя».

Какъ результатъ всего пережитого и передуманнаго, у дѣвушки вырабатывается въ это тяжелое для Россіи время истинная оцѣнка добрыхъ качествъ русскаго народа. Русская аристократка—она начинаетъ вглядываться въ народъ, и любитъ его.

«Мы живемъ — пишетъ она все еще изъ Тамбова — противъ рекрутскаго присутствія, каждое утро насъ будятъ тысячи

крестьянъ: они плачутъ, пока имъ не забрѣютъ лба, а сдѣлавшись рекрутами, начинаютъ пѣть и плясать, говоря, что не о чемъ горевать, видно такова воля божія. Чѣмъ ближе я знакомлюсь съ нашимъ народомъ, тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что не существуетъ лучшаго, и отдаю ему полную справедливость».

Въ другомъ письмѣ она говоритъ: «Крестьяне, видѣнные нами вчера, были разорены нашими же войсками; мнѣ ихъ стало еще жалче оттого, что, разсказывая о всемъ съ ними случившемся, они не жаловались и не роптали. Въ такія минуты желала бы я владѣть милліонами, чтобы возвратить счастіе милліону людей;—имъ же такъ мало нужно!»

...«Что ни говори, а быть русскимъ... есть величайшее счастіе; хотя бы мнѣ пришлось остаться въ одной рубашкѣ, я бы ничѣмъ инымъ быть не желала, вопреки всему»...

За то всякій разъ ее возмущаетъ негодованіе, когда до нея доходятъ вѣсти, что, не смотря ни на что, Петербургъ продолжаетъ веселиться.

«Намъ говорятъ — пишетъ она 15-го октября — что между тѣмъ какъ вся Россія въ траурѣ и слезахъ, у васъ даютъ представленія въ театрѣ и что въ Петербургѣ въ русскій театръ ѣздятъ болѣе чѣмъ когда-либо. Нечего вамъ дѣлать! Не знаю, какъ русскій, гдѣ бы онъ ни былъ теперь, хоть въ Перу, можетъ потѣшаться театромъ!»...

Въ письмѣ отъ 27-го ноября она вновь возвращается къ этому предмету: «Я не могу удержать своего негодованія касательно спектаклей и лицъ, ихъ посѣщающихъ. Что же такое Петербургъ? Русскій ли это городъ, или иноземный? Какъ это понимать, ежели вы русскіе? Какъ можете вы посѣщать театръ, когда Россія въ траурѣ, горѣ, развалинахъ и находилась на

шагъ отъ гибели? И на кого смотрите вы? На французовъ, изъ которыхъ каждый радуется нашимъ несчастіямъ!»

Но страшное время прошло. Въ Россіи не осталось ни одного француза, кромѣ плѣнныхъ и мертвыхъ...

Однако прежней Волковой уже не было. Она сама сознается, что съ іюня по ноябрь состарѣлась на десять лѣтъ — и что уже ей не помолодѣть: она стала другимъ человѣкомъ.

«Я никогда не была щеголихой—говоритъ она въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ — и потому мнѣ ничего не значитъ обойтись безъ щегольства. Но я не могу съ такой же философіей отказаться отъ талантовъ, которые развивала съ самаго дѣтства и коими забавляла тѣхъ, кому желала доставить удовольствіе. Я болѣе не буду въ состояніи позабавить тебя пѣніемъ, потому что я совершенно потеряла голосъ»...

Послѣднее свое письмо, отъ 31-го декабря 1812 года, она заключаетъ слѣдующими словами: «Вообрази—теперь открывается, что величайшія неистовства совершены были въ Москвѣ нѣмцами и поляками, а не французами. Такъ говорятъ очевидцы, бывшіе въ Москвѣ въ теченіи шести ужасныхъ недѣль.

«Я теперь ненавижу Растопчина и имѣю на то причины. О! ежели мы съ тобой когда-нибудь увидимся, сколько мнѣ придется разсказать тебѣ».

Всматриваясь вообще въ нравственную физіономію этой женщины, мы не можемъ не замѣтить, что въ ней довольно явственно уже обозначаются тѣ черты, которыя потомъ вполнѣ опредѣлительно выразились во всемъ—если можно такъ сказать—московскомъ направленіи русской мысли: это — сознательный патріотизмъ въ той исключительной формѣ, которая отрицала всякій компромиссъ съ такъ-называемымъ западничествомъ.

Волкова отражаетъ въ себѣ первыя попытки того направленія, которое болѣе конкретно выразилось въ цѣломъ рядѣ русскихъ дѣятелей и послѣднею формою котораго было—ученіе славянофиловъ: Кирѣевскіе, Аксаковы, Хомяковъ и другіе состоятъ въ такомъ же такъ-сказать двоюродномъ родствѣ съ Волковою, въ какомъ, съ другой стороны, Бѣлинскій можетъ быть поставленъ по отношенію къ Багрѣевой-Сперанской, княгинѣ Голицыной и другимъ.

Издатель писемъ Волковой говоритъ, что «высокими нравственными качествами пріобрѣла она уваженіе самого императора Николая Павловича, который выслушивалъ ея правдивыя рѣчи и около 1839 года вызывалъ ее къ себѣ въ гости въ Петербургъ, гдѣ приказалъ отвести ей помѣщеніе въ зимнемъ дворцѣ и окружалъ вниманіемъ»; что «Волкова не должна быть забыта въ историческихъ преданіяхъ, какъ благороднѣйшая представительница стариннаго московскаго быта»; что письма Волковой напоминаютъ собою извѣстный разсказъ Пушкина — «Рославлевъ», и что не ее ли, можетъ быть, и имѣлъ въ виду поэтъ въ помянутомъ разсказѣ и отъ нея, быть можетъ, собралъ бытовыя черты двѣнадцатаго года.

Двухъ лѣтъ не дожила Волкова до освобожденія крестьянъ, которыхъ она научилась любить въ памятную для нея и для всей Россіи эпоху:—умерла Волкова въ 1859 году, почти въ одинъ годъ съ Багрѣевой-Сперанской, Хомутовой и Свѣчиной.

XII.

Екатерина Филиповна Татаринова,

Урожденная фонъ-Буксгевденъ.

Странное, болѣзненное время переживала Россія во всю первую половину нынѣшняго столѣтія.

Общественная мысль, лишенная возможности безбоязненнаго проявленія, или замыкалась сама въ себѣ, или разбивалась, такъ-сказать, на какіе-то осколки общественнаго мнѣнія, бросалась въ мистицизмъ, въ «иллюминатство», въ «адамитство», въ исковерканное франкъ-массонство, въ разныя неимѣвшія ни числа ни смысла ереси, толки, ученія: — мысль эта, не имѣя возможности быть общественною, подобно крови, лишенной правильной и здоровой циркуляціи, портилась, заражалась отъ недостатка воздуха, загнаивала весь общественный организмъ и, опять-таки подобно испорченной крови, выходила наружу въ видѣ прыщей, злокачественныхъ вередовъ и всякихъ наружныхъ язвъ и нагноеній.

Изъ коноводовъ раскольниковъ вышли раскольничьи боги, христы, богородицы, на которыхъ послѣдователи ихъ молились какъ на чудотворные образа, какъ язычники на своихъ идоловъ. Мистики превратились въ пророковъ и пророчицъ, въ родѣ баро-

нессы Криднеръ. Хлыстовство и скопчество заразило всѣ слои русскаго общества, перекинулось въ самыя высшія сферы, въ придворную знать, заразило войско, гвардію.

Мало того, въ Россіи явилась даже секта—«Наполеоновщина»! «Поклонники» и «поклонницы Наполеону» были изъ православныхъ русскихъ въ Псковѣ и изъ католиковъ въ Бѣлостокѣ. Оттуда «наполеоновщина» перекинулась въ Москву, въ тамошнее богатое купечество. «Поклонники Наполеону» въ собраніяхъ своихъ поютъ разныя нелѣпыя молитвы и поклоняются бюсту Наполеона, какъ образу, пророчествуя (уже послѣ смерти Наполеона), между прочимъ, о томъ, что онъ живъ, а только до-времени вознесся на небо. Они заказываютъ въ Парижѣ изящную гравюру, изображающую это вознесеніе, ставятъ ее къ бюсту— и молятся!

Всѣхъ подобныхъ болѣзненныхъ сумасбродствъ даже перечислить невозможно.

Въ чаду этого умственнаго угара, вслѣдъ за боронессою Криднеръ, выступаетъ другая такая же изступленная, но болѣе темная по своимъ дѣяніямъ личность—это Татаринова, бывшая смолянка, дѣвушка аристократической фамиліи, придворная особа, превратившаяся въ хлыстовскую богородицу!

Изумительное явленіе!

Татаринова родилась въ 1783 году. По отцу и матери она принадлежала къ знатной фамиліи русскихъ нѣмцевъ: отецъ ея былъ изъ рода фонъ-Буксгевденовъ, а мать — баронесса Мальтицъ.

Рожденная въ аристократическомъ кругѣ, маленькая Екатерина фонъ-Буксгевденъ должна была получить и аристократическое воспитаніе: она, какъ водится, поступила въ смоль-

ный институтъ, гдѣ и находилась подъ особымъ покровительствомъ графини Адлербергъ.

Слѣдовательно, по институту, она была совоспитанницей такихъ знаменитостей-смолянокъ какъ любимица императрицы Екатерины, «Алимушка» или Алымова-Ржевская, въ которую былъ влюбленъ славный дѣятель екатерининскаго времени, И. И. Бецкій, какъ красавица Левшина, которую особенно любила Екатерина и въ своихъ письмахъ называла «черномазою Левушкой», затѣмъ какъ любимица великаго князя, а потомъ императора Павла I-го, Екатерина Ивановна Нелидова, и наконецъ Наташа Суворочка.

По выпускѣ изъ института, молоденькая фонъ-Буксгевденъ, какъ говоритъ одинъ изъ послѣдователей ея аристократическо-хлыстовскаго ученія, «награждена была фрейлинскимъ приданымъ», и жила первое время у своего брата, лейбъ-гвардіи измайловскаго полка капитана фонъ-Буксгевденъ, у котораго постоянно видѣла самую высшую знать Петербурга—Чернышовыхъ, Паскевича, Эттингена и другихъ.

Подъ вліяніемъ мистическаго настроенія эпохи, увлекшей такія личности, какъ баронесса Криднеръ, г-жа Свѣчина, и даже высшихъ представителей русской интеллигенціи, какъ, напримѣръ, Новиковъ, а затѣмъ и самъ императоръ Александръ Павловичъ,—молоденькая Буксгевденъ, какъ утверждаютъ ея прозелиты, не любила блистать въ свѣтѣ, а поддалась другой, господствовавшей въ то время, модѣ — внѣшней благотворительности, дѣламъ милосердія и посѣщенію бѣдныхъ. Въ ея время быть аристократкой — значило отдать нѣкоторую дань піетизму, ханжеству.

Юная Буксгевденъ вполнѣ послѣдовала за этой модой.

Находясь въ кружкѣ знатной военной молодежи, между гвар-

дейскими офицерами, дѣвушка избрала себѣ и мужа въ этой сферѣ: она вышла замужъ за офицера Татаринова.

Начавшіеся въ то время походы русскихъ войскъ заставили и Татаринову постоянно слѣдовать за полкомъ мужа, съ которымъ она не разлучалась и въ послѣдующія заграничныя компаніи 1812—1815 годовъ.

Когда она находилась за границей, въ ней окончательно совершился нравственный кризисъ.

Какъ въ Дуровой, «дѣвицѣ-кавалеристѣ», лишенья и трудности походной жизни закалили врожденную энергію до стоицизма, такъ въ Татариновой эта бродячая жизнь, иногда тяжелая, иногда безобразная по обстановкѣ, развила еще болѣе піетическія и мистическія наклонности, особенно же когда у нея умеръ единственный восьми-лѣтній сынъ, такъ что, по возвращеніи изъ походовъ, она уже окончательно готова была замкнуться въ тѣсный кругъ какого-либо мистическаго общества, начиная отъ франкъ-массонства и кончая хлыстовщиной и скопчествомъ. Кризисъ, такимъ образомъ, совершился въ пользу религіознаго фанатизма.

Татаринова попала на одного изъ тогдашнихъ «теософовъ», который и отуманилъ ея и безъ того экзальтированную голову.

Это былъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Багинскій, находившійся въ Варшавѣ.

— Возлюбите, сударыня, Спасителя паче всѣхъ и паче всего— говорилъ Багинскій Татариновой. — Онъ одинъ утѣшитъ и успокоитъ сокровищное сердце ваше. Читайте на первый разъ вотъ эту книжечку—«Капли меда».

Онъ далъ ей эту мистическую книжечку и, кромѣ того, снабдилъ письмомъ въ Ригу къ фонъ-Гюне, тоже одному изъ «теософовъ» еще екатерининскаго времени.

Татаринова явилась къ Гюне.

— Желаете ли вы—сказалъ этотъ послѣдній—я познакомлю васъ съ людьми, которые имѣютъ въ себѣ духа любви божіей?

— Вы осчастливите меня этимъ—отвѣчала и безъ того уже отуманенная Татаринова.

И Гюне ввелъ ее въ свою мистическую сферу.

Раньше этого времени, мать Татариновой, г-жа фонъ-Буксгевденъ, опредѣлена была еще императоромъ Павломъ Петровичемъ къ великой княжнѣ Александрѣ Александровнѣ въ качествѣ главной статсъ-дамы, и потому имѣла свое мѣстопребываніе во дворцѣ, именно въ михайловскомъ.

По возвращеніи изъ заграничныхъ походовъ и послѣ вступленія въ мистическій кружокъ фонъ-Гюне, Татаринова разошлась съ мужемъ, который былъ назначенъ директоромъ гимназіи въ Рязань, и поселилась во дворцѣ, у матери.

«Вскорѣ потомъ отверзлись уста Екатерины Филиповны», говоритъ одинъ изъ послѣдователей ея мистическаго ученія.

Что всего удивительнѣе, такъ это то, что такія фразы какъ «отверзлись уста» для пророчествованія говорятся не въ XVI или XVII вѣкѣ, даже не въ началѣ XIX-го, а почти въ наши дни, въ семидесятыхъ годахъ, какимъ-то статскимъ совѣтникомъ Іоанновымъ, сообщившимъ, въ 1872 году, въ «Русскій Архивъ» свѣдѣнія о «духовномъ союзѣ» Татариновой.

Татаринова, бывшая воспитанница смольнаго института, аристократка, нѣмка по происхожденію и по религіи, вдругъ принимаетъ православіе и изъ придворной особы превращается въ пророчицу, и притомъ хлыстовскую, хотя этотъ оттѣнокъ ея раскольническаго ученія сначала маскировался какимъ-то особеннымъ піетизмомъ и мистицизмомъ, такъ что она казалась чѣмъ-то въ родѣ фанатички Криднеръ.

Къ новой пророчицѣ въ михайловскій дворецъ начали стекаться толпы слушателей, преимущественно изъ военной и статской аристократіи, чтобы внимать ея поученіямъ, нерѣдко безсмысленнымъ, переходившимъ въ горячечный бредъ. Тутъ были Милорадовичи, Миклашевскіе, князья Енгалычевы, князья Крапоткины, Лермонтовы, Урбановичи, Рачинскіе, Пилецкіе, Бригены, Пиперы, знаменитые Головины, князья Голицыны, оберъ-гофмаршалъ Кошелевъ и знатнѣйшій изъ русскихъ живописцевъ, академикъ Боровиковскій, называвшій Татаринову своею «матерью».

Когда Татаринова усомнилась затѣмъ въ божественности своего призванія, а быть можетъ и по другимъ менѣе благовиднымъ причинамъ отказалась отъ роли пророчицы и удалилась было въ деревню, къ ней явились ея духовные ученики и «дѣти»— Милорадовичъ, Миклашевскій и другіе,—и просятъ ее воротиться, не оставлять ихъ безъ своей духовной пищи, безъ поученій, безъ пророчествъ.

Татаринова внемлетъ ихъ мольбамъ и возвращается къ своей паствѣ.

Слава ея піетической жизни и пророчествъ дошла наконецъ до императора Александра Павловича, и онъ пожелалъ ее видѣть — это обстоятельство, кажется, было не послѣднею побудительною причиной мистическаго настроенія тогдашняго высшаго общества: мистиками интересовались такія даже лица, какъ императоръ Александръ I, освободившій Европу отъ тиранніи Наполеона.

Государь, находившійся до того времени въ самыхъ добрыхъ и дружескихъ отношеніяхъ съ баронессою Крюднеръ, два раза призывалъ къ себѣ Татаринову и говорилъ съ нею о ея религіозныхъ мнѣніяхъ. Въ нихъ, говорятъ, не оказалось

ничего предосудительнаго, и государь, какъ утверждаютъ послѣдователи секты Татариновой, остался ею доволенъ.

— Продолжайте — сказалъ будто-бы ей императоръ: — нынѣ распространились на западѣ карбонаріи и проникли уже въ мою державу.

Вообще, по свидѣтельству поклонниковъ Татариновой, Александръ Павловичъ благоволилъ къ этой женщинѣ, и всякій разъ, когда проѣзжалъ черезъ Рязань, гдѣ, какъ мы сказали, Татариновъ былъ директоромъ гимназіи, приглашалъ его къ своему столу и любилъ съ нимъ разговаривать. Съ своей стороны Татариновъ, пріѣзжая иногда въ Петербургъ, оказывалъ своей женѣ знаки глубокаго уваженія.

Огромное стеченіе поклонниковъ Татариновой и ея доктринъ, поклонниковъ, которыхъ она принимала въ отведенномъ ея матери помѣщеніи михайловскаго дворца, стоило пророчицѣ не дешево, такъ что на поддержаніе этихъ духовныхъ бесѣдъ не хватало ея фрейлинскаго содержанія.

Тогда, обитавшая въ ней сила пророчества, по свидѣтельству послѣдователей Татариновой, вывела пророчицу изъ этого финансоваго затрудненія. Они разсказываютъ, будто бы Александръ Павловичъ, по внушенію свыше, вновь призвалъ къ себѣ Татаринову и бесѣдовалъ съ нею о ея ученіи.

— Я на молитвѣ получилъ расположеніе предложить вамъ по восьми тысячъ рублей ассигнаціями ежегодно для вашего вспомоществованія—сказалъ будто бы императоръ пророчицѣ:—прошу васъ принимать ихъ чрезъ князя Александра Николаевича Голицына.

Нѣтъ сомнѣнія, что «расположеніе» это пришло къ государю иными путями и оно явилось у него потому, что за Татаринову кто-либо искусно умѣлъ ходатайствовать; поклонники же пророчицы объясняли это таинственной силой.

*

Вскорѣ, однако, о Татариновой стали ходить темные слухи, такъ что правительство принуждено было обратить на нее вниманіе.

Въ сентябрѣ 1817-го года правительство получило доносъ, что Катерина Татаринова содержитъ какую-то особенную секту и приводитъ въ нее другихъ. Это послѣднее обстоятельство доносъ подтверждалъ письмомъ, писаннымъ Татариновою къ женѣ польской службы майора Францъ, Аннѣ. Въ письмѣ этомъ Татаринова, называя Анну Францъ «дражайшею во Христѣ сестрицею», просила ее не открывать никому ихъ тайны, ибо-де Господь запрещаетъ бросать перлы предъ «нечистыми животными». При этомъ Татаринова изъясняла, что вся тайна ихъ секты заключается въ гл. 14 посл. I-го къ коринфянамъ, въ ст. 1—5, гдѣ говорится: «Держитеся любве, ревнуйте же духовнымъ: паче же да пророчествуете. Глаголяй бо языки, не человѣкомъ глаголетъ, но Богу. Никто же бо слышитъ, духомъ же глаголетъ тайны. Пророчествуяй же, человѣкомъ глаголетъ созиданіе, и утѣшеніе, и утвержденіе. Глаголяй бо языки, себе зиждетъ: а пророчествуяй, церковь зиждетъ», и т. д. Наконецъ, Татаринова въ письмѣ этомъ увѣдомляла Анну Францъ, что мать ея, г-жа Буксгевденъ, уѣдетъ изъ дворца до сентября, и тогда она, Францъ, можетъ занять ея комнату въ михайловскомъ дворцѣ.

При принятіи въ секту, г-жа Францъ приведена была въ безчувствіе, и будто бы явившійся ей пророкъ сказалъ, что вскорѣ явятся ангелы и возьмуть ее отъ сей жизни, а потому совѣтовалъ ей, для пріобрѣтенія спасенія, быть благотворительною (этимъ пророчествомъ, надо полагать, желали выманить у своей жертвы деньги). Другая же жертва Татариновой, Варвара Осипова, разсказывала, что при пріемѣ ея въ секту, она

положена была въ постель, и не знаетъ, отъ чего пришла въ безпамятство; когда же очувствовалась, то явился ей пророкъ, предрекавшій, что придетъ къ ней корабль съ деньгами, и тогда она сама будетъ раздавать бѣднымъ деньги.

Приверженцы секты Татариновой собирались каждое воскресенье, утромъ въ шесть часовъ, въ квартиру пророчицы.

Въ комнатѣ, гдѣ происходили самыя собранія, повѣшенъ былъ на стѣнѣ большой образъ—«тайная вечеря». Всѣ собравшіеся садились вокругъ комнаты, вставали, читали вслухъ «Отче нашъ», потомъ изъ евангелія, а затѣмъ майоръ Пилецкій, бывшій секретаремъ человѣколюбиваго общества, и Федоровъ, отставной придворный музыкантъ, говорили проповѣди по смыслу чтенія, и, наконецъ, всѣ присутствующіе, ставъ на колѣни, пѣли на-распѣвъ слѣдующіе стихи, которые обыкновенно поются въ собраніи хлыстовъ, а равно и у скопцовъ:

Дай намъ, Господи,
Къ намъ Іисуса Христа!
Дай намъ сына твоего!
Господи, помилуй грѣшныхъ насъ!
Изъ твоея полноты,
Дай, Создатель, теплоты;
Наряди изъ насъ пророка,
Чтобы силы подкрѣпить;
Засуди судомъ небеснымъ
И не дай врагу мѣшать;
Ниспосли живое слово
Здѣсь просящимъ всѣмъ сердцамъ;
Ты Христосъ, ты нашъ Спаситель!
Иного Бога нѣтъ у насъ;
Твоей силой укрѣпимся,
За Тобой во слѣдъ идемъ.

Прими слезы твоей твари,
И поставь всѣхъ на пути.

Во время молитвъ, одинъ становился на середину, вертѣлся кругомъ на востокъ, по окончаніи же молитвы подходилъ къ каждому и пророчилъ, большею частью лестными предсказаніями, на-распѣвъ, скороговоромъ, безъ всякаго порядка въ рѣчахъ и часто безъ смысла, такъ что изъ этихъ пророчествъ едва ли что можно было понять. Пророчествовали же больше женщины, и преимущественно «глава союза», сама Татаринова. Вообще всѣ сектанты заражены были мыслью, что на нихъ сходитъ божественное вдохновеніе. Пророки и пророчицы увѣряли притомъ, что когда они бываютъ въ состояніи пророчествованія, то не помнятъ себя и говорятъ не собою, но святымъ духомъ, и потому сами не знаютъ, что кому предрекаютъ.

Изъ этихъ свѣдѣній генераломъ Вязмитиновымъ составлена была записка для государя, который, разсмотрѣвъ ее, приказалъ оставить происходившія у Татариновой собранія безъ вниманія, какъ не заключавшія въ себѣ важности.

При всемъ томъ Татариновой оставаться во дворцѣ больше было не велѣно.

Прошло послѣ этого двадцать лѣтъ.

Въ 1837-мъ году, находившійся въ услуженіи у тайнаго совѣтника Попова одинъ крѣпостной человѣкъ обнаружилъ правительству, что въ Петербургѣ, на выѣздѣ, близъ московской заставы, на дачахъ, принадлежащихъ чиновнику Федорову и медику Косовичу, статскою совѣтницею Татариновою учреждена религіозная секта.

Вслѣдствіе этого показанія, 8-го мая, въ десять часовъ вечера, по высочайшему повелѣнію, петербургскій оберъ-полицеймей-

стеръ генералъ-майоръ Кокошкинъ, начальникъ штаба корпуса жандармовъ генералъ майоръ Дубельтъ и оберъ-прокуроръ синода графъ Протасовъ прибыли на помянутыя дачи и приняли предварительныя мѣры, чтобъ, во время осмотра внутренняго жилья и допроса живущихъ тамъ лицъ, не могло что-либо укрыться отъ наблюденія, а потомъ, послѣ нѣкоторой задержки, были впущены во внутренность дачъ.

Въ этихъ дачахъ найдены были слѣдующія лица:

Статская совѣтница Татаринова; ея пріемышъ и воспитанница Анна Александровна Васильева; генералъ-лейтенантша Елизавета Павловна Головина, ея дочь Екатерина и сынъ Сергѣй; тайный совѣтникъ Василій Михайловичъ Поповъ, членъ совѣта главноначальствующаго надъ почтовымъ департаментомъ; его дочери—Вѣра восемнадцати лѣтъ, Любовь—шестнадцати и Софья—двѣнадцати; статскій совѣтникъ Пилецкій; инженеръ-капитанъ Буксгевденъ, братъ Татариновой; титулярный совѣтникъ Федоровъ, придворный музыкантъ, его жена и дочь.—Кромѣ того, у этихъ лицъ имѣлось четырнадцать человѣкъ прислуги.

Производившіе обыскъ посѣтили сначала тайнаго совѣтника Попова, котораго нашли спящимъ. Онъ указалъ устроенную въ занимаемомъ имъ домѣ особенную молельню, состоящую изъ двухъ покоевъ, внутренность коихъ имѣла видъ церкви, съ образами и огромными церковными подсвѣчниками, но безъ иконостаса и алтаря. Въ одной изъ этихъ комнатъ находился столъ съ ящиками для храненія церковныхъ свѣчей; другая обставлена стульями, между коими одни кресла, назначенныя, какъ показалъ Поповъ для «старшины союза»—конечно Татариновой.

Дочери, поочередно, показали не то, что говорилъ отецъ, а именно—что въ назначенные дни собирались въ одну изъ малелень

всѣ, живущіе на дачѣ Федорова, и нѣкоторые изъ постороннихъ посѣтителей, какъ-то князь Енгалычевъ съ женою, служащій въ канцеляріи государя императора коллежскій ассесоръ Родіоновъ и сынъ генерала Головина, юнкеръ инженернаго училища. Собиравшіеся обыкновенно одѣвались въ бѣлую одежду, женщины въ платья обыкновеннаго покроя, а мужчины въ бѣлые халаты. Тутъ начинали пѣть разныя духовныя пѣсни; одинъ или одна изъ принадлежащихъ къ союзу начинали вертѣться и такое движеніе продолжалось обыкновенно до тѣхъ поръ, какъ вертящійся почувствуетъ въ себѣ «вдохновеніе»; иногда же это круженіе исполнялось всѣми вдругъ.

Средняя изъ дочерей Попова, шестнадцатилѣтняя Любовь, безпрерывно оказывала отвращеніе къ этимъ обрядамъ, и тѣмъ навлекала на себя гнѣвъ отца, и въ особенности Татариновой, которая, выдавая себя вдохновенною, приказывала Попову тѣлесно наказывать дочь свою. Поповъ въ теченіе болѣе года билъ ее палками по два, иногда по три раза въ недѣлю, иногда до крови, не дозволялъ ей имѣть сообщенія съ сестрами, держалъ ее въ строгомъ уединеніи, на ночь запиралъ въ чуланъ и бралъ къ себѣ ключъ. Она дѣйствительно найдена была запертою въ чуланѣ, между жилыми комнатами, не имѣющемъ оконъ, кромѣ одной только двери, отъ которой ключъ былъ у отца. Сестры ея утверждали, что она всегда пользовалась цвѣтущимъ здоровьемъ, и только со времени этихъ истязаній начала чахнуть, и, какъ сказано въ актѣ обыска, «на ней осталась, такъ сказать, одна кожа и кости, такъ что видъ сей дѣвицы внушаетъ невольно состраданіе».

Послѣ этого осмотрѣнъ былъ домъ, занимаемый Татариновою. У ней всѣ пріемныя комнаты украшены были образами огромной величины, съ такими же подсвѣчниками передъ каждымъ.

Образа эти были почти всѣ работы знаменитаго академика Боровиковскаго; каждый изъ нихъ оцѣненъ былъ въ 1500 и 1000 руб.; особенно замѣчательна была икона архистратига Михаила у престола; затѣмъ были образа академика Олешкевича и художника Залѣскаго. Всѣ эти картины оцѣнены въ 10000 руб. сер. и находятся теперь въ соборѣ александроневской лавры.

Въ спальнѣ Татариновой, на маленькомъ столикѣ, стояла дароносица, въ которой найденъ кусокъ бѣлаго сдобнаго хлѣба.

Татаринова, какъ сказано въ актѣ обыска, приняла объявленную ей высочайшую волю съ должнымъ благоговѣніемъ, выдала немедленно всѣ свои бумаги и, въ безусловной преданности православной церкви, старалась, однако же, доказать истину своего ученія. По ея собственнымъ словамъ, она достигаетъ до высочайшей степени духовнаго совершенства исполненіемъ своихъ обрядовъ, и еще слѣдующимъ средствомъ: предъ началомъ какого-либо намѣренія, посредствомъ письма на имя Христа Спасителя, вопрошаетъ его: должно ли исполнить предначертанное, или отказаться отъ своего намѣренія? Письмо это кладетъ она вечеромъ къ подножію образа Спасителя, а утромъ всегда уже въ невольныхъ пѣсняхъ возглашаетъ полученный ею отвѣтъ.

И всему этому вѣрили люди болѣе или менѣе образованные, принадлежавшіе къ высшему кругу!

Въ домѣ, занимаемомъ Федоровымъ, болѣе всего обнаружено было—какъ сказано въ актѣ—признаковъ сильнѣйшей преданности къ этой фанатической сектѣ. У него двѣ молельни, изъ коихъ одна украшена какъ самая лучшая церковь: образа, паникадила, плащаница, хоругви—все въ изящномъ вкусѣ, и, сверхъ того, рядъ отдѣльныхъ комнатъ, также украшенныхъ различными священными предметами и отдѣланныхъ съ нѣкоторою даже роскошью.

Въ заключеніе акта было выражено: «Сколько судить можно изъ сдѣланныхъ вопросовъ упомянутымъ лицамъ, тайный совѣтникъ Поповъ и генералъ-лейтенантша Головина, въ особенности первый, предались ученію Татариновой единственно изъ сильнаго чувства фанатизма. Татаринова же, повидимому, извлекаетъ изъ своего ученія и довольно выгодное средство къ существованію. Пилецкій и Буксгевденъ также находятъ въ своемъ религіозномъ обрядѣ возможность жить спокойно и въ довольствѣ безъ трудовъ. Федорова можно подозрѣвать въ томъ, что онъ, подъ личиною смиренія, скрываетъ свои корыстные виды, и основалъ свои доходы на щедрыхъ приношеніяхъ особъ, принадлежащихъ къ союзу Татариновой, ибо, послѣ неоднократно сдѣланныхъ ему вопросовъ объ источникахъ его избытка, онъ не далъ отвѣта удовлетворительнаго».

Что это былъ «союзъ» отчасти фанатиковъ, отчасти мошенниковъ, видно изъ того, что тайный совѣтникъ Поповъ состоялъ дѣлопроизводителемъ всѣхъ вообще дѣлъ о скопцахъ, и онъ же, послѣ допросовъ извѣстнаго пророка скопческаго, Селиванова, сказалъ: «Господи! Если бы не скопчество, то за такимъ человѣкомъ пошли бы полки полками».

Подобно нѣкоторымъ раскольникамъ, союзники Татариновой не употребляли мясной пищи.

Дѣло о Татариновой, послѣ арестованія главныхъ ея союзниковъ, разсматривалось въ особомъ секретномъ комитетѣ, и пророчица присуждена была къ заключенію въ кашинскій женскій монастырь тверской губерніи. Туда же заключена была и ея воспитанница.

Другіе члены союза также разосланы были по монастырямъ.

Но монастырская жизнь пророкамъ и пророчицамъ была не по душѣ.

Родственники Татариновой и она сама нѣсколько разъ просили объ освобожденіи ея изъ монастырскаго заключенія; но графъ Протасовъ въ 1843 году отозвался, что Татаринова остается упорною въ своемъ фанатизмѣ и увѣряетъ, что «она оскорбитъ святого духа, если плоды, какіе видитъ отъ своихъ религіозныхъ занятій, признаетъ заблужденіемъ».

На всеподданнѣйшемъ объ этомъ докладѣ написано было карандашомъ: «нельзя послѣ такого отзыва».

Въ 1846 году, вслѣдствіе вновь поступившаго ходатайства объ освобожденіи Татариновой, графъ Протасовъ требовалъ у нея отзыва—«согласна ли она дать письменное обязательство оказывать неизмѣнное повиновеніе православной церкви, не входить ни въ какія не благословенныя церковью общества, не распространять ни тайно, ни явно прежнихъ своихъ заблужденій и не исполнять никакихъ особенныхъ обрядовъ, подъ опасеніемъ строжайшаго по законамъ взысканія».

Сперва Татаринова упорствовала; но въ 1848 г. дала подписку, вслѣдствіе которой ей и разрѣшено было жить въ Москвѣ.

Но ей и въ Москвѣ не жилось покойно: она и тамъ завела свое пророческое гнѣздо.

Въ октябрѣ же 1848 года графъ Орловъ получилъ безыменное письмо отъ какой-то женщины, которая извѣщала его, что разсѣянное въ 1837 году общество, носившее имя «тайнаго общества адамистовъ», не совсѣмъ истреблено, а что пагубное сборище это вновь возрождается и т. д.

Дѣйствительно, сборище Татариновой не только возрождалось, но пускало корни еще глубже, завело обширную переписку съ своими прозелитами, и снова перебралось въ Петербургъ.

Замѣчательно, что въ эту хлыстовскую секту Татариновой втянутъ былъ и извѣстный дѣятель и писатель сороковыхъ-

пятидесятыхъ годовъ, Яковъ Владимировичъ Ханыковъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ, состоявшій по министерству внутреннихъ дѣлъ. Ханыковъ женатъ былъ на дочери Головина, Екатеринѣ Евгеньевнѣ Головиной, рьяной послѣдовательницѣ Татариновой, съ которою они и были взяты въ сборищѣ 1837 года.

Ханыковъ, по свидѣтельству лицъ, близко его знавшихъ, «былъ человѣкъ высокаго образованія, но, попавъ въ закоренѣлое сектаторское семейство и общество, не имѣя твердаго характера и къ тому же влюбленный, подчинился вліянію обстоятельствъ и воздуха, его окружившаго, и, мало-по-малу, конечно не раздѣляя сумасбродствъ семейства и близкихъ къ оному посѣтителей, терпѣлъ, для сохраненія семейнаго спокойствія, происходившія тамъ таинственныя чтенія, въ которомъ тесть его принималъ такое живое участіе, образованный и заслуженный генералъ отъ инфантеріи Е. А. Головинъ»; къ нимъ примкнулъ и отецъ Ханыкова, у котораго замѣчались «меланхолическіе приступы», послѣ того какъ младшій сынъ его замѣшанъ былъ въ извѣстномъ дѣлѣ Петрашевскаго.

Какъ бы то ни было, но скопческія собранія Татариновой происходили въ квартирѣ Ханыкова...

До какихъ нелѣпостей доходилъ дикій фанатизмъ учениковъ Татариновой, можно судить, напримѣръ, по слѣдующему обстоятельству.

Одинъ изъ оставшихся повидимому до сихъ поръ учениковъ Татариновой, нѣкій «статскій совѣтникъ Іоанновъ», о которомъ мы уже упоминали, пишетъ въ «Русскомъ Архивѣ» 1872 года, что однажды знаменитый Головинъ, довѣренное лицо государя Николая Павловича, командовавшій отдѣльнымъ корпусомъ,

уходя изъ собранія Татариновой, былъ остановленъ пророчицею.

— Огромная сила взята отъ меня и отражена на васъ— сказала пророчица:—но я не знаю нынѣ, что это значитъ.

Старикъ генералъ перекрестился, и откланялся. Воротившись домой, онъ положилъ двадцать-пять поклоновъ, и затѣмъ «объявилъ объ этомъ событіи Екатеринѣ Филиповнѣ, восходя потомъ до сотенъ, тысячъ и наконецъ до пяти тысячъ еженощно, какъ побуждалъ его духъ съ легкостію полета птицы, въ теченіи пяти часовъ, перемѣняя потное бѣлье каждый часъ и чувствуя себя потомъ чрезвычайно хорошо, душевно и тѣлесно, что и есть отчасти принятая имъ съ довѣренностію сила, дѣйствію коей онъ не воспротивился».

И это говорится въ 1872 году!

Тутъ что либо одно изъ двухъ: или огромная нравственная сила самой Татариновой, сила фанатизма, если она была не обманщица, или неизмѣримая глупость ея послѣдователей.

Странная женщина эта умерла 12-го іюня 1856 года. Уже одно то поразительно, что нѣмка и фрейлина фонъ-Буксгевденъ стала хлыстовскою богородицею.

XIII.

Елизавета Борисовна Кульманъ.

«Елизавета Кульманъ принадлежитъ къ лицамъ, которыхъ имена удерживаются въ памяти, какъ прекрасное мѣстоположеніе тамъ, гдѣ оно встрѣчается рѣдко, какъ свѣтлый день въ глубинѣ нашего мрачнаго и непріязненнаго сѣвера. Она безспорно—необыкновенное явленіе въ нравственномъ мірѣ. Это была одна изъ тѣхъ душъ, въ которую природа бросаетъ горстью сѣмена сильныхъ стремленій и богатыхъ надеждъ; которымъ даетъ все—мысль зиждущую, свѣтлую, образы стройные, къ нимъ звуки или краски животворящіе для представленія ихъ людямъ, наконецъ волю жить единственно для избранной цѣли или мечты. Это была душа геніальная. Представьте же себѣ грубую, отвратительную нищету, оспаривающую у искуства и славы сію душу, рожденную для высокаго назначенія; вообразите себѣ, какъ она, разбивъ цѣпи позорныхъ нуждъ, развертываетъ орлиныя крила свои и, изумивъ насъ быстротою и могуществомъ своего полета, неожиданно падаетъ въ могилу, чтобы изумить насъ снова ничтожествомъ надеждъ, которыя человѣкъ называетъ великими, вопреки урокамъ судьбы; представьте себѣ сію смѣсь высокаго, отраднаго, малаго и злополучнаго, отпечатанную яркими чертами

на одной и той же ткани жизни, и вы, можетъ быть, захотите узнать нѣкоторыя подробности о семъ замѣчательномъ явленіи».

Такъ въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, одинъ изъ извѣстныхъ русскихъ писателей й профессоръ петербургскаго университета говорилъ объ одной, нынѣ почти всѣми забытой, очень молоденькой особѣ, почти дѣвочкѣ, по поводу удостоенія императорскою россійскою академіею изданія ея сочиненій.

Имя этого дѣйствительно необыкновеннаго ребенка было то, которое выставлено въ заголовкѣ настоящаго очерка.

Хотя отзывъ почтеннаго профессора о дѣвицѣ Кульманъ несовсѣмъ свободенъ отъ восторженности и преувеличенія, въ свое время весьма понятныхъ и естественныхъ, но нашимъ поколѣніемъ не вполнѣ раздѣляемыхъ; хотя отодвинутая отъ насъ на полстолѣтія дѣятельность Кульманъ и является передъ нами ввидѣ отрывочныхъ, несовсѣмъ законченныхъ порывовъ дѣйствительно творческой силы, еще не окрѣпшей и недоразвившейся до опредѣленнаго направленія; хотя, наконецъ, самый образъ Кульманъ представляется, правда, какимъ-то свѣтлымъ, фантастическимъ, но въ то же время слабо и блѣдно очерченнымъ облакомъ;—при всемъ томъ, личность эта не должна быть пройдена незамѣченною въ исторіи умственной жизни Россіи.

Въ самомъ дѣлѣ, было что-то обаятельное въ личности этой женщины, почти ребенка, и что-то далеко нерядовое въ процессѣ развитія ея духа, такъ что современники ея были поражены этой личностью, какъ необычайнымъ явленіемъ, и когда дѣвочка умерла (къ Елизаветѣ Кульманъ нельзя даже примѣнить имени «дѣвушка» или «женщина», такъ какъ самое высшее развитіе ея творческихъ силъ проявилось уже между тринадцатымъ и пятнадцатымъ годами ея жизни, а умерла она семнадцати лѣтъ отъ роду) — русская академія спѣшитъ издать все, что осталось отъ

ея мимолетнаго существованія и отъ ея слишкомъ кратковременной дѣятельности, приводитъ въ порядокъ найденныя послѣ нея бумаги, записываетъ устные о ней разсказы, составляетъ ея біографію, и издаетъ все это какъ небывалый образчикъ поразительно ранняго развитія творческихъ силъ человѣка, выявившихся притомъ среди самыхъ неблагопріятныхъ жизненныхъ условій.

Дѣвица Кульманъ вся принадлежитъ уже нашему XIX-му столѣтію.

Родилась она въ Петербургѣ, 5-го іюля 1808 года, въ то самое время, когда другая эксцентрическая женская личность нашего столѣтія, дѣвица Дурова, уже второй годъ носила уланскій мундиръ и въ рядахъ русскихъ войскъ дралась съ непріятелемъ русской земли.

Елизавета Кульманъ представляетъ собою явленіе совершенно иного характера, чѣмъ вышепоименованная личность.

Отецъ ея былъ Борисъ Федоровичъ Кульманъ, служившій прежде въ войскахъ графа Румянцева-Задунайскаго и храбро сражавшійся подъ его знаменами.

Оставивъ военную службу, онъ избралъ гражданское поприще, и съ чиномъ коллежскаго совѣтника продолжалъ свое скромное служеніе въ одной изъ некрупныхъ гражданскихъ должностей, зарабатывая скудное пропитаніе огромному семейству, въ которомъ, кромѣ семи сыновей, имѣлась еще и дочь Елизавета, во всѣхъ отношеніяхъ необыкновенный ребенокъ.

Огромная семья эта скоро осталась безъ опоры: Борисъ Кульманъ умеръ, когда дочь его была совсѣмъ крошечнымъ ребенкомъ, и умеръ—какъ выражается біографъ Елизаветы Кульманъ — «оставивъ въ наслѣдіе дѣтямъ своимъ честное имя и глубокую нищету».

Огромная осиротѣлая семья не только не имѣла на что воспитаться и образоваться, но даже нуждалась въ простомъ прокормленіи.

Но у жены покойника, у матери огромной семьи Кульманъ, не было недостатка въ умѣ и энергіи: это былъ сильный характеръ, и одинокая женщина эта, при глубокой нищетѣ, не только спасла себя отъ отчаянья, но и дѣтей своихъ умѣла вытащить изъ той пропасти, въ которую обыкновенно падаетъ большинство людей бѣдныхъ, не находящихъ ни въ комъ поддержки.

Въ эту нищенскую пропасть не допустила она упасть и свою богато одаренную природою дѣвочку.

«На Васильевскомъ острову—говоритъ упомянутый нами выше профессоръ, біографъ Елизаветы Кульманъ—подъ кровомъ ветхой хижины, нанимаемой за самую скудную плату, жило это дитя, едва имѣя насущный хлѣбъ, купленный цѣною тяжкихъ материнскихъ трудовъ, и, незнаемое свѣтомъ, готовило ему примѣръ рѣдкихъ дарованій и необычайной воли. Природа любитъ свое дѣло совершать въ тайнѣ, безъ шума; какъ-бы ревнуя къ своей славѣ, она не хочетъ, чтобы люди портили его своимъ надменнымъ и своекорыстнымъ соучастіемъ».

До пятаго году дѣвочка была очень слабымъ, хилымъ ребенкомъ, такъ что мать справедливо опасалась за ея жизнь; но ребенокъ выросъ кое-какъ, не умеръ въ періодъ хилости, и скоро затѣмъ началъ крѣпнуть и развиваться физически и умственно.

Уже на пятомъ году дѣвочка проявила необыкновенныя способности.

Порывы творчества начали въ ней сказываться въ самомъ раннемъ дѣтствѣ: такъ, все, что она видѣла, все, что приходилось ей слышать отъ другихъ, дѣвочка превращала въ образы, олицетворяла въ своей поэтической фантазіи.

Около домика, гдѣ жила она съ матерью, расположенъ былъ маленькій садикъ, замѣнявшій для дѣвочки весь пока ею видѣнный міръ. Въ этомъ садикѣ она проводила большую часть лѣтнихъ дней, заботилась о цвѣтахъ, которые тамъ росли и которые составляли предметъ ея страстной привязанности, сохранившейся въ ней въ продолженіе всей ея кратковременной жизни. Особенной ея любовью пользовался небольшой кустикъ жасмина, подаренный ей хозяиномъ дома, гдѣ жило семейство Кульманъ, и сдѣлавшійся предметомъ самыхъ нѣжныхъ ея попеченій.

На этомъ жасминномъ кустикѣ дѣвочка начала свое творчество, потому что съ нимъ она постоянно говорила какъ съ живымъ, думающимъ и чувствующимъ существомъ, которое ее понимало и могло ей отвѣчать: этому кустику дѣвочка повѣряла все, о чемъ ей самой думалось, и если при колебаніи жасмина вѣтромъ, листья его шевелились, дѣвочка увѣрена была, что листья говорятъ съ ней, и сама начинала вести съ ними бесѣду.

На заборѣ ихъ домика часто садились вороны, которые искали для себя корма во всякихъ оброскахъ и въ помойныхъ ямахъ, и дѣвочка думала, что когда воронъ каркалъ, то это онъ благодарилъ Бога за то, что онъ послалъ ему кормъ, когда воронъ голодалъ.

Этого достаточно было, чтобъ дѣвочка создала и вложила въ уста ворону такую рѣчь:

«Хоть я и чоренъ, какъ уголь, и люди меня гонятъ отъ себя, но Богъ, отецъ людей и птицъ, меня не покидаетъ: по его милости у меня все-таки есть пища на день, и дерево, гдѣ провести ночь».

Въ палисадникѣ, недалеко отъ оконъ домика Кульманъ, ростетъ тополь. Когда вѣтеръ качаетъ вѣтви дерева и вѣтви накло-

няются къ окну, у котораго стоитъ дѣвочка, ей кажется, что тополь зоветъ ее къ себѣ.

Дѣвочка бѣжитъ къ матери, проситъ, чтобъ та отпустила ее въ садъ.

— Зачѣмъ?—спрашиваетъ мать:—теперь холодно и ты простудишься.

— Нѣтъ, мама—отвѣчаетъ дѣвочка:—мнѣ непремѣнно надо пойти вонъ къ этому тополю: онъ киваетъ мнѣ головою и что-то шепчетъ; но отсюда ничего не слышно.

Идутъ въ садъ и мать и дѣвочка. Но тополь ничего не говоритъ.

Видитъ дѣвочка мухъ въ паутинѣ.

— Паукъ уложилъ ихъ спать, говоритъ дѣвочка.

— Какъ? спрашиваетъ мать.

— Да вѣдь паукъ — няня мухъ (отвѣчаетъ странный ребенокъ). Я видѣла, какъ онъ сперва уложитъ муху, потомъ качаетъ ее въ сѣточкѣ изъ паутины, пока муха не уснетъ, а тамъ сидитъ надъ ней долго, долго, чтобъ съ ней не случилось чего худого.

Послушная во всемъ, дѣвочка крайне упорна, когда у нея оспариваютъ то, что она создала въ своей не въ мѣру безпокойной фантазіи. Что она выдумала—того у нея нельзя отнять или заставить не вѣрить продуктамъ своего творческаго воображенія.

Воображеніе это было дѣйствительно не въ мѣру безпокойное, развитое до болѣзненности.

Кромѣ того, у дѣвочки была необычайная память: все, что она слышала и видѣла, она помнила необычайно долго и отчетливо, а что ей читали—передавала цѣлыми тирадами.

*

Наконецъ, когда пришло время учить маленькую Кульманъ, то она показала такую же выше мѣры развитую способность усвоивать сообщаемыя ей знанія, какъ выше мѣры развито было творчество ея фантазіи. За отсутствіемъ учителей, которыхъ не на что было нанять, дѣвочку взялъ на свое попеченіе старый другъ ея отца, г. Гроссъ-Гейнрихъ, который былъ наставникомъ во многихъ домахъ Петербурга.

Г. Гроссъ-Гейнрихъ страстно привязался къ своей необыкновенной ученицѣ и рано распозналъ въ ней задатки рѣдкихъ дарованій.

До десятилѣтняго возраста дѣвочка очень хорошо знала языки русскій, нѣмецкій и французскій. Съ десяти лѣтъ она уже начала учиться поитальянски, очень полюбила этотъ языкъ и изучила его въ совершенствѣ, какъ изучала все, за что ни принималась.

Любознательность развивалась въ ребенкѣ въ такой возрастающей прогрессіи, что нельзя было не удивляться; равно изумительна была и ясность ея мысли, быстрота соображенія и способность анализа, комбинацій, выводовъ.

Пристрастившись къ итальянскому языку, она скоро перенесла свои симпатіи на лучшихъ творцовъ итальянской поэзіи, и въ укладистой памяти ея вмѣщались цѣлыя поэмы.

«Нельзя было смотрѣть безъ умиленія на сію одиннадцатилѣтнюю дѣвочку — замѣчаетъ ея біографъ — когда она, сидя въ маленькомъ своемъ садикѣ, проникнутая тайнымъ сочувствіемъ съ геніемъ, пѣвцомъ Іерусалима, повторяла своимъ серебрянымъ голосомъ прелестныя его октавы».

Дѣвочка невидимому скоро переживала всѣ возрасты, какъ-бы торопясь жить и умереть.

Священникъ горнаго корпуса Абрамовъ, овдовѣвшій и потерявшій дочь, предложилъ г-жѣ Кульманъ пріютъ въ своемъ домѣ. Предложеніемъ этимъ воспользовались, и это помогло дѣвочкѣ сблизиться съ директоромъ горнаго корпуса Медеромъ, также имѣвшимъ вліяніе на развитіе богатыхъ дарованій маленькой Кульманъ.

При содѣйствіи Медера, съ дѣтьми котораго дѣвочка подружилась, она съ свойственной ей любознательностью увлеклась изученіемъ исторіи, естественныхъ наукъ, часто посѣщала минералогическій кабинетъ горнаго корпуса, и усвоивала себѣ такимъ образомъ самыя разнообразныя познанія.

Однажды, когда дѣвочкѣ пошелъ двѣнадцатый годъ, она спрашивала своего учителя,—знаетъ ли онъ рай?

Гроссъ-Гейнрихъ сначала затруднился отвѣтомъ, зная, что неполнота и неопредѣленность отвѣта не удовлетворитъ, а только больше возбудитъ любознательность дѣвочки и вызоветъ ее на новые, труднѣйшіе вопросы, но потомъ, воспользовавшись тѣмъ, что онъ помнилъ изъ произведеній Данта и Клопштока о раѣ, а изъ Виргилія объ элизіумѣ, онъ, на основаніи изображаемыхъ этими писателями идеаловъ блаженной жизни, нарисовалъ ей по возможности полную картину того, о чемъ дѣвочка любопытствовала слышать.

Картина рая глубоко поразила ребенка.

— Хорошо! — И я напишу рай, если буду жива, рѣшила дѣвочка.

На двѣнадцатомъ же году она приступила къ изученію еще одного языка—латинскаго. Желаніе это явилось въ ней вслѣдствіе не столько прямой, личной любознательности, сколько желанія сдѣлать пріятное для старика Абрамова.

Дѣвочка рѣшила въ своемъ умѣ сказать старику священнику поздравительное слово на языкѣ Цицерона, и тотчасъ же приступила къ изученію этого языка.

Въ нѣсколько мѣсяцевъ она уже могла читать Корнелія Непота, а потомъ и письма Цицерона.

Въ день именинъ священника она дѣйствительно привѣтствовала его на языкѣ Цицерона въ такой мѣрѣ, въ какой этотъ языкъ могъ быть доступенъ дѣвочкѣ и усвоенъ ею до возможности писать на немъ.

Въ благодарность за латинскую рѣчь, священникъ началъ учить дѣвочку церковно-славянскому языку, и она охотно изучала языкъ Кирилла и Мефодія.

Разъ въ обществѣ зашелъ споръ о классическихъ языкахъ, и нѣкоторые изъ спорящихъ доказывали ихъ практическую безполезность, отдавая преимущество языкамъ живымъ, новѣйшимъ, какъ имѣющимъ ближайшее примѣненіе къ требованіямъ и понятіямъ современной жизни.

Гроссъ-Гейнрихъ доказывалъ, напротивъ, превосходство и безотносительныя достоинства греко-классической рѣчи, превозносилъ красоты и прелесть Гомера, недосягаемость созданія въ новѣйшее время поэтическихъ образовъ древней Греціи.

Услыхавъ это, дѣвочка затосковала. Жадный умъ ея требовалъ новой пищи, которой ему еще не пришлось отвѣдать, требовалъ знакомства съ классическимъ міромъ.

И вотъ она учится погречески.

Необычайная память дѣлаетъ то, что черезъ четыре мѣсяца дѣвочка сама уже читаетъ на языкѣ «семидесяти толковниковъ» евангеліе отъ Матвѣя.

Все это происходило тогда, когда дѣвочка успѣла пережить только двѣнадцать лѣтъ изъ своей коротенькой жизни.

Затѣмъ въ-скорости она уже переводитъ Анакреона, и не останавливается на простыхъ переложеніяхъ, а переводитъ Анакреона русскими, нѣмецкими и итальянскими стихами!

«Не удивительно послѣ всего этого—говоритъ біографъ Елизаветы Кульманъ въ тридцатыхъ годахъ — что такой человѣкъ, какъ г. Гроссъ-Гейнрихъ, сидѣлъ часто возлѣ нея, не говоря ни слова, смѣшанный, сбитый съ своего учительскаго пути могучимъ стремленіемъ сего необычайнаго ума, дѣлался простымъ наблюдателемъ, и вмѣсто того, чтобы учить, самъ учился таинствамъ природы, раскрывавшимся передъ нимъ въ лицѣ ея помазанницы».

На четырнадцатомъ году она уже изучала Гомера.

Скоро потомъ ознакомляется она съ литературами англійскою, испанскою и португальскою: безпокойный умъ ея постоянно требуетъ увеличенія пріемовъ новой пищи, и она не останавливается ни передъ какими трудностями.

Она наконецъ изучаетъ новогреческій языкъ, и притомъ въ такомъ совершенствѣ, что возбуждаетъ изумленіе въ природныхъ грекахъ.

Одинъ грекъ — говорятъ ея біографы — искавшій въ Россіи убѣжища отъ кровавыхъ тревогъ, раздиравшихъ тогда возрождавшуюся Грецію, сталъ говорить съ нею на своемъ языкѣ, и, не бывъ предъувѣдомленъ о ея родинѣ и происхожденіи, совершенно былъ убѣжденъ, что она гречанка, и, судя по ея произношенію, онъ назначилъ даже мѣсто ея родины на одномъ изъ острововъ Архипелага.

Нищета не убиваетъ этой замѣчательной силы.

Стоя въ кухнѣ у печки — такъ какъ дѣвочка сама готовила для своей семьи скудный обѣдъ, таскала дрова и проч.—она въ

то же время успѣвала подбѣгать къ столу и продолжать свои учебныя и авторскія занятія.

Бѣдность повидимому не тяготила ее и не смущала ясность ея духа.

Въ своей нищетѣ она сравнивала себя съ дочерями древнихъ царей, которыя сами ходили за водой и бѣлье въ морѣ полоскали.

— О! я высоко цѣню себя—смѣялась она, держа въ одной рукѣ кухонную ложку, а въ другой перо: — это символы моей верховной власти — одинъ надъ домашнимъ хозяйствомъ, а другой надъ царствомъ мечты.

Біографъ Кульманъ такъ описываетъ ея наружность и интеллектуальныя черты ея:

«Въ этомъ существѣ природа, казалось, хотѣла соединить все, чѣмъ возноситъ она избранныхъ своихъ надъ толпою людей обыкновенныхъ. Дѣвица Кульманъ была отличной красоты. Стройный, довольно высокій ростъ, возвышенное чело, длинные каштановые волосы, алебастровая бѣлизна лица, оттѣненная легкимъ румянцемъ, и совершенно греческая профиль, глаза большіе, ярко-лазуреваго цвѣта,—все это ничего еще не значило въ сравненіи съ удивительною выразительностію ея физіономіи. Въ ней было что-то необыкновенное, поражавшее всякаго при первомъ взглядѣ на нее, — что-то не отъ здѣшняго міра. Какое-то царственное величіе дышало въ чертахъ лица ея; взоръ ея былъ важенъ, большею частію задумчивъ. Но улыбка ея была исполнена невыразимой прелести, точно такъ какъ и ея голосъ, которымъ, по словамъ знавшихъ ее, она особенно отличалась. Гибкій, серебряный, онъ принималъ на себя, казалось, всѣ напечатлѣнія, всѣ тоны ея богатыхъ чувствованій, и онъ доходилъ къ сердцу какъ очаровательная музыка, особенно когда

она говорила что-нибудь отъ полноты души. Она прекрасно пѣла и декламировала. Можно сказать, что геній древней Греціи, воодушевивъ ее своими изящными идеями, разлилъ во всей ея особѣ то очарованіе полной красоты, коего памятники мы видимъ въ классическихъ изваяніяхъ. Въ обществѣ она невольно увлекала къ себѣ вниманіе всѣхъ. Одна знатная дама, увидѣвъ ее въ первый разъ, не могла скрыть своего восхищенія, и сказала окружавшимъ ее: «Кто эта дѣвица?—Она должна быть высокаго рода»...

Относительно процесса ея творчества и внѣшнихъ проявленій этого процесса біографъ говоритъ:

«Въ эти торжественные часы душевнаго преображенія, углубленная въ мысль, которую намѣрена была развить въ сочиненіи, она дѣлалась неподвижною; чело ея было нахмурено, уста полуотверзты, взоръ устремленъ былъ на одинъ предметъ; лицо становилось блѣднымъ и физіономія ея выражала что-то суровое. Все положеніе ея принимало видъ страдательный. Казалось, она принадлежала какой-то мощной, таинственной силѣ, которая налагала на нее знаменіе своей непобѣдимой власти.

«Такое состояніе было не продолжительно.

«Взоръ ея прояснялся, она начинала ходить скорыми шагами по комнатѣ, станъ ея выпрямлялся, голова принимала видъ величавый,—она вся была исполнена радости, сіянія и жизни.

«Это былъ торжественный праздникъ ея духа, та священная минута, въ которую она могла сказать себѣ:

«Созданіе готово!»

При этомъ въ ней замѣчали странное физіологическое явленіе: руки ея во время этого творческаго процесса были холодны какъ ледъ, и она безпрестанно терла ихъ одну о другую, чтобъ отогрѣть.

Это былъ тотъ священный холодъ, о которомъ говоритъ и Гейне, когда къ нему прилетала таинственная птица—его вдохновеніе, и онъ забывалъ все окружающее.

Въ обществѣ Елизавета Кульманъ была застѣнчива, робка, пока не увлекалась, или не была чѣмъ-либо особенно возбуждена, когда голосъ ея переходилъ въ серебряное бряцанье.

Творчество ея было прямымъ продуктомъ избытка внутреннихъ силъ, которыя требовали исхода.

«Она хотѣла—говоритъ ея восторженный біографъ—чтобъ ее нѣкогда прочли и поняли: кто же и изъ ангеловъ не хотѣлъ бы, чтобы прочли и поняли его сердце? Такъ! она была ангеломъ на земли, и умерла въ семнадцать лѣтъ, чтобы не перестать быть имъ».

Такъ можно было увлекаться личностью Кульманъ только въ тридцатыхъ годахъ.

Для болѣе полной характеристики Кульманъ приведемъ еще одно замѣчаніе ея біографовъ, основанное на показаніяхъ людей, лично знавшихъ «русскую Коринну», какъ ее не стѣснилась назвать даже наша академія:

«Въ характерѣ дѣвицы Кульманъ—говорятъ ея біографы—было одно качество, которое неразлучно сопутствуетъ людямъ, предназначеннымъ совершить на землѣ что-нибудь важное,—это постоянство усилій въ достиженіи предположенной цѣли. Ее нельзя было отклонить отъ какого-нибудь предпріятія словами:—оставьте, это трудно. Напротивъ, подобный совѣтъ производилъ только то, что она сосредоточивала свою дѣятельность именно на этотъ трудный предметъ».

Такъ и Дурова, мы видѣли, обыкновенно брала на себя то, что казалось бы ей не по силамъ: — такъ всегда любитъ испытывать себя истинная человѣческая сила, выходящая изъ ряда золотой посредственности.

Самая дѣятельность Кульманъ была не рядовая: внутренняя сила толкала ее дѣлать больше того, что̀ можетъ сдѣлать обыкновенный человѣкъ.

Постоянно занятая и торопящаяся жить, дѣвушка спала обыкновенно не болѣе семи часовъ въ сутки, вставала всегда въ семь часовъ утра, а лѣтомъ раньше, и въ теченіе восемнадцати часовъ въ сутки работала. Отвлеченій отъ работы у нея было не много: при бѣдности, у нихъ не всегда былъ даже чай, который поэтому не отнималъ у нея рабочаго времени, затѣмъ занятія по кухнѣ, раздѣляемыя съ умственною работою, и чтеніе. Выѣздами и гостями она также не убивала своего времени.

Въ работахъ своихъ она всегда держалась извѣстной системы и строго опредѣленнаго порядка. Шутя она говорила, что превосходитъ въ этомъ отношеніи самого Франклина, который въ одномъ изъ своихъ сочиненій сознавался, что ему было очень трудно привыкать къ порядку въ жизни и въ распредѣленіи занятій.

Біографы превозносятъ доброту и нѣжную деликатность Кульманъ въ обхожденіи со всѣми.

Однажды на выставкѣ въ академіи художествъ она замѣтила молодого персіянина, посланнаго Аббасъ-Мирзою въ Европу для развитія замѣченныхъ въ немъ дарованій художника. Картины этого персіянина, выставленныя съ прочими, мало обращали на себя вниманіе публики, занятой другими картинами. Самъ художникъ-персіянинъ стоялъ въ толпѣ, въ надеждѣ узнать, какое впечатлѣніе на зрителей произведутъ работы, и что̀ будутъ о нихъ говорить. Но о нихъ ничего не говорили; ими никто не былъ заинтересованъ. Дѣвушкѣ стало жаль художника, и она подошла къ нему, вызвала его на разговоръ, распросила его о поѣздкѣ въ Англію, о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ имъ изъ

Европы, о его занятіяхъ живописью; хвалила его картины и проч., и такимъ образомъ возбудила въ немъ упавшее-было мужество.

Кульманъ сама занималась рисованіемъ, не смотря на постоянную работу надъ пріобрѣтеніемъ знаній во всемъ, на чемъ только могъ остановиться ея пытливый умъ.

Нельзя не удивляться, какъ у нея на все это хватало времени.

Но этой необыкновенной личности не суждено было жить и довести своего призванія до полной законченности.

«Рука смерти—говоритъ ея восторженный біографъ—держалась за стебель сего прекраснаго цвѣтка въ то самое мгновеніе, когда онъ развертывался во всей полнотѣ жизни и красоты».

Смерть подкосила ее такъ рано не потому, что дѣвушка злоупотребляла своими силами, убивая ихъ излишнимъ умственнымъ трудомъ:—а просто съѣла ее бѣдность.

У Кульманъ теплаго пальто не было, не на что было купить шубу—и она поплатилась жизнью за гнусную нищету человѣческую.

Не усиленный трудъ—говорятъ панегиристы Кульманъ—отнялъ у Россіи будущую гордость русскихъ женщинъ, а недостатокъ лисьей или заячьей шкурки для прикрытія нѣжнаго тѣла дѣвушки: «трудъ для нея былъ наслажденіемъ, а природа человѣческая въ такихъ случаяхъ нѣсколько крѣпче, нежели какъ думаютъ. Судьба не столь изысканными путями привела дѣвицу Кульманъ ко гробу: она употребила для этого самое дѣйствительное средство—бѣдность».

Простудилась она въ половинѣ октября 1824 года. На свадьбѣ у одной своей родственницы, при выходѣ изъ церкви, ей пришлось долго оставаться на крыльцѣ, и ее продуло холоднымъ осеннимъ вѣтромъ.

Она занемогла тотчасъ же, хотя, можетъ быть, и не смертельно.

Но 7-го ноября того же года, какъ извѣстно, было страшное, доселѣ памятное наводненіе.

Васильевскій островъ, гдѣ жили Кульманъ, былъ особенно затопленъ водою, и во время этого наводненія больная дѣвушка еще болѣе простудилась.

Скоро показались признаки опасной болѣзни—скоротечной или такъ-называемой «галопирующей» чахотки.

Когда вѣсть о болѣзни этой замѣчательной дѣвушки дошла до высочайшаго двора, то государыня императрица Александра Федоровна, вдовствующая императрица Марія Федоровна и великая княгиня Елизавета Алексѣевна, знавшія о необыкновенныхъ дарованіяхъ Елизаветы Кульманъ отъ статсъ-секретаря Лонгинова, поспѣшили оказать ей всевозможную помощь; но для больной все уже было безполезно.

Она таяла какъ свѣчка, по мѣткому народному выраженію.

Больная сама поняла, что скоро должна умереть, и, пользуясь послѣдними днями жизни, писала объ этомъ своей подругѣ, говорила, что ей уже снилось, будто она умерла, привыкла къ образу новой, невѣдомой людямъ жизни, и т. д.

Но только матери она не хотѣла пугать своею страшною тайною.

Другу же своему Гроссъ-Гейнриху она все сказала—призналась, что спокойно ждетъ смерти и готова встрѣтить ее.

Гроссъ-Гейнрихъ утѣшалъ дѣвушку—отрицалъ неизбѣжность скорой смерти, говорилъ о выздоровленіи.

На его позднія утѣшенія больная отвѣчала словами своего любимаго поэта Шиллера:

Ein mächtiger Vermittler ist der Tod.

— Два мои брата—прибавила она—пали съ честью на полѣ битвы (въ 1812 году). Они были также молоды. Я не должна уступать имъ въ твердости.

Она, почти уже умирая, диктовала свои сочиненія, поправляла ихъ, дѣлала переводы своихъ поэтическихъ произведеній на другіе языки, читала любимыхъ авторовъ, какъ бы прощаясь съ ними на вѣки.

Передъ смертью, какъ это всегда бываетъ съ чахоточными, она нѣсколько оживилась; но это было уже предсмертное оживленіе.

19-го октября 1825 года сошлись къ ея постели немногіе родные и знакомые. Она потребовала священника и просила читать надъ ней отходную, чтобы самой выслушать эту послѣднюю на землѣ молитву.

Во время чтенія отходной больная оборотилась на лѣвый бокъ, склонилась головой на руку—и умерла; а чтеніе продолжалось надъ мертвой.

Похоронена она была на смоленскомъ кладбищѣ.

Памятникъ надъ нею сдѣланъ изъ каррарскаго мрамора искуснымъ художникомъ Трескорни, въ греческомъ стилѣ.

Памятникъ изображаетъ прекрасную женщину въ гробѣ. Эта мраморная женщина тоже склонилась головой на лѣвую руку, какъ и умиравшая Елизавета Кульманъ.

Гробъ увѣнчанъ листьями аканфа, а межъ ними видна роза, оторванная отъ стебля.

Кругомъ гроба надписи на славянскомъ, греческомъ, латинскомъ и на всѣхъ новѣйшихъ европейскихъ языкахъ, такъ хорошо знакомыхъ усопшей.

Но особенною глубиною смысла, примѣнимаго къ данному случаю, отличается надпись испанская, которая гласитъ:

«Богъ послалъ ее на землю не для того, чтобъ оставить ее здѣсь, но чтобы показать людямъ свое твореніе».

Осуществленіемъ своимъ памятникъ обязанъ участію государынь Александры Федоровны и Елизаветы Алексѣевны.

Въ 1833 году, русская академія, какъ мы сказали выше, издала все, что осталось послѣ Елизаветы Кульманъ, и все, что относилось до ея жизни.

Вторая часть стихотвореній Кульманъ носитъ названіе «стихотвореній Коринны».

Названіе это дано имъ вотъ по какому случаю.

Извѣстно, что греческая стихотворица Коринна, по преданію, одержала побѣду надъ знаменитымъ Пиндаромъ. Елизавета Кульманъ не вѣрила этому преданію о торжествѣ Коринны.

— Я этимъ побѣдамъ Коринны не очень вѣрю, говорила она:—характеръ Пиндара столь возвышенъ, столь стремителенъ, что едва ли можно было кому-либо превзойти его, особенно женщинѣ; или же судьи, присудившіе вѣнецъ Коринѣ, были слишкомъ пристрастны. Однако жъ все жаль, что изъ произведеній ея ничего не осталось намъ: въ Греціи не легко было пріобрѣсть славу поэта, а она имѣла ее.

Гроссъ-Гейнрихъ сказалъ на это, что она сама, Елизавета Кульманъ, можетъ воскресить Коринну:—можетъ написать стихотворенія, а потомъ сказать, что нашла ихъ въ никому неизвѣстномъ манускриптѣ, и перевела, сдѣлавъ при этомъ ученыя примѣчанія, аннотаціи и проч., подобно Макферсону, поступившему такимъ образомъ съ поэмами будто бы Оссіана.

Дѣвушка смѣялась этой выдумкѣ; но вскорѣ послѣ этого разговора показала Гроссъ-Гейнриху написанное ею стихотвореніе въ формѣ обращенія къ Миртѳ, которую, какъ свою воспита-

тельницу, Коринна благодаритъ за развитіе и усовершенствованіе своего таланта.

Стихотвореніе оканчивается такъ:

Когда въ теченьи жизни
И мнѣ своимъ искуствомъ
Плѣнить другихъ удастся,
То я, Мирто, кумиръ мой,
Тебѣ за всѣ успѣхи
Обязанною буду:
Ты, лиры златострунной
И пѣнія царица,
Съ младенчества со тщаньемъ
Коринну пріучала
Къ радивому служенью
Дающимъ славу музамъ.

Гроссъ-Гейнрихъ одобрилъ этотъ опытъ, и съ тѣхъ поръ Кульманъ составила цѣлую серію стихотвореній отъ лица Коринны.

Она и называлась поэтому «русскою Коринною».

Теперь стихотвореній Кульманъ почти никто не знаетъ.

XIV.

Княгиня Зинаида Александровна Волконская,

урожденная княжна Бѣлосельская.

Къ началу XIX вѣка Россія переживала уже цѣлое столѣтіе съ той поры, какъ перестала повидимому быть и казаться старою Россіею. Цѣлое столѣтіе, говоря словами довѣрчивыхъ поэтовъ, русскія двери были открыты настежъ въ Европу для свободнаго циркулированія живительныхъ соковъ цивилизаціи.

Цѣлое столѣтіе, такимъ образомъ, русская женщина имѣла въ своемъ распоряженіи, чтобы, повинуясь естественнымъ законамъ движенія, продолжать наступательный ходъ далѣе отъ того мѣста, на которомъ остановились ихъ допетровскія бабушки.

Мы видѣли уже отчасти, какъ прожиты были русскою женщиною эти сто лѣтъ новой жизни. Мы не могли не замѣтить при этомъ, что женщина большею частью, и въ XVIII столѣтіи, какъ и въ XVI, при Новиковѣ и Державинѣ, какъ и при Сильвестрѣ и Адашевѣ, являлась такою, какою хотѣлъ ее видѣть мужчина.

Когда Новиковъ говорилъ ей, что она будетъ способнѣе исполнять назначеніе человѣка, если ей одинаково будутъ повиноваться игла и перо, рисунокъ на выкройкѣ и корректурный листъ изъ-подъ типографскаго станка, женщина бралась за перо и за корректуру, не оставляя однако иголки. Когда же Баратын-

скій сказалъ ей, что чернилами она только способна свои пальчики испачкать, женщина задумывалась, и бросала перо для канвовой иглы.

Дѣйствительно, и въ первой половинѣ XIX столѣтія все еще далеко не рѣшеннымъ оставался вопросъ о томъ, имѣетъ ли право и должна ли женщина раздѣлять свой трудъ и свой умъ между иглой и перомъ.

Баратынскій едва ли шутилъ, когда обращался къ женщинамъ съ такимъ словомъ:

Не трогайте парнасскаго пера,
Не трогайте, смазливыя вострушки.
Красавицамъ не много въ немъ добра,
И имъ амуръ другія далъ игрушки.
Любовь ли вамъ оставить въ забытьи
Для жалкихъ рифмъ? Надъ рифмами смѣются!
Уносятъ ихъ летійскія струи...
На пальчикахъ чернила остаются.

Ясно, что, по понятіямъ того времени, перомъ женщина могла забавляться какъ несовсѣмъ опрятною «игрушкою» — это было не дѣло, а забава, потому что на перо и мужчины того времени смотрѣли отчасти какъ на игрушку, на забаву ума, дозволенную при сытости желудка.

Въ это-то время и подъ вліяніемъ высказанныхъ нами воззрѣній общества, русская жизнь дала еще нѣсколько болѣе или менѣе замѣтныхъ женскихъ личностей, изъ которыхъ объ однихъ мы уже сказали что могли, а о другихъ постараемся сказать что можемъ.

Въ то время когда изъ Волковой, подъ давленіемъ событій двѣнадцатаго года, вырабатывалась вполнѣ русская женщина, *вѣрнѣе* московская, дошедшая въ своемъ патріотизмѣ до исклю-

чительности; когда дочь Сперанскаго, подъ вліяніемъ генія своего отца, посвящаетъ свои силы на разработку вопроса о необходимости пополнить недостаточность и безсистемность воспитанія юношества, а потомъ, почувствовавъ, что, со смертью горячо любимаго ею отца, связь ея съ Россіею какъ-бы порвалась, окончательно разрываетъ эту связь и отказывается даже отъ русскаго языка, чтобы замѣнить его французскимъ и нѣмецкимъ; когда Хомутова, послѣ разлуки съ другомъ своимъ, поэтомъ Козловымъ, котораго нравственное вліяніе на нее было несомнѣнно, тоже впадаетъ въ какую-то апатію; когда, наконецъ, Дурова промѣняла саблю, которою билась въ рядахъ соотечественниковъ противъ легіоновъ Наполеона I, на перо писательницы едва ли не подъ косвеннымъ воздѣйствіемъ Пушкина, а Кульманъ, чуть ли не единственная женская личность, взявшаяся за перо не для забавы, а по неотразимымъ велѣніямъ своего собственнаго генія, погибла потому лишь, что не имѣла теплаго салопа,—въ это время появляется новая блестящая женская личность, изъ которой могло выйти нѣчто замѣчательное, еслибъ и эта женщина не сдѣлалась жертвою нравственныхъ болѣзней своего времени.

Мы разумѣемъ княгиню Волконскую.

Это была женщина—говоритъ одинъ изъ почтенныхъ знатоковъ исторіи прошлаго и нынѣшняго вѣка—«необыкновенная по уму, красотѣ, разнообразнымъ талантамъ и душевной энергіи, женщина, оставившая довольно яркій слѣдъ въ исторіи нашего общества и въ нашихъ литературныхъ преданіяхъ».

Но «яркій слѣдъ» этотъ, къ сожалѣнію, и остается пока лишь только «слѣдомъ», потому что вообще свѣдѣнія о жизни и дѣятельности этой женщины очень скудны. Между тѣмъ жизнь эта,

по словамъ того же почтеннаго изслѣдователя нашей старины, «возбуждаетъ живѣйшее любопытство».

Княгиня Волконская была дочь оберъ-шенка князя Александра Михайловича Бѣлосельскаго, по матери родного племянника знаменитыхъ графовъ Чернышовыхъ, крупныхъ государственныхъ дѣятелей елизаветинскихъ и екатерининскихъ временъ. Мать ея была изъ роду Татищевыхъ.

Княжна Бѣлосельская рано лишилась матери, которая умерла въ 1792 году, въ Туринѣ, гдѣ жила съ мужемъ, представлявшимъ лицо русскаго посланника. Оставшись на попеченіи отца, маленькая княжна всѣмъ своимъ дальнѣйшимъ развитіемъ обязана личнымъ его заботамъ: подобно Сперанскому, учившему свою Лизу, князь Бѣлосельскій первый далъ литературное и эстетическое развитіе своей дочери, потому что самъ считался страстнымъ любителемъ словесности, хотя, къ сожалѣнію, по обычаю того времени, могъ скорѣе назваться французскимъ писателемъ чѣмъ русскимъ: стихи его читались больше въ Европѣ чѣмъ въ Россіи; князя Бѣлосельскаго, какъ писателя, ближе знали Вольтеръ и Делиль чѣмъ Державинъ и Новиковъ; имя князя Бѣлосельскаго славилось литературною извѣстностью больше на берегахъ Сены чѣмъ на берегахъ Невы и Москвы-рѣки.

Понятно, что и сердце дочери, выросшей на рукахъ этого отца, должно было больше тяготѣть къ Парижу, къ Риму, къ Турину, чѣмъ къ Москвѣ и Петербургу.

Воспитывалась-ли молодая княжна въ смольномъ институтѣ, по обычаю всѣхъ тогдашнихъ юныхъ аристократокъ—достовѣрно неизвѣстно. Мы знаемъ только, что въ 1808 году она была уже фрейлиной и состояла при особѣ королевы Луизы-прусской, бабки царствовавшаго тогда императора Александра Павловича, пріѣзжавшей погостить въ Россію.

Объ этомъ обстоятельствѣ сама княгиня Волконская вспоминала черезъ тридцать уже лѣтъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, именно въ «Пѣсни невской». Въ стихотвореніи этомъ, содержаніе котораго главнымъ образомъ относится къ пожару зимняго дворца, княгиня Волконская говоритъ, между прочимъ (относительно сгорѣвшаго зимняго дворца), слѣдующее:

Тамъ царицы въ фатахъ да повойникахъ
Говорили купцамъ слово ласково.
Изъ Порусьи давно тамъ являлася
Королева краса чужеземная,
Словно лунный цвѣтъ въ окна царскія.
Она много терпѣла за свой край родной
И въ день черный ему всѣмъ пожертвовала!
Ему все отдала, камни, золото
И одни жемчугà сохранила себѣ,
Въ жемчугахъ и слезахъ она помнится мнѣ.

Молодая княжна Бѣлосельская вышла потомъ замужъ за князя Никиту Григорьевича Волконскаго.

Пока она жила съ мужемъ въ Петербургѣ, то, и по сану мужа, и по своему уму, и по красотѣ, и по образованію, занимала самое высокое положеніе при дворѣ. Когда, затѣмъ, послѣ 1812 года, она оставила Россію, то такое же блестящее положеніе занимала и въ Европѣ, особенно въ Теплицѣ и Прагѣ, гдѣ императоръ Александръ, находившійся въ то время въ Германіи, любилъ бывать въ ея обществѣ, равно какъ и тогда, когда она жила въ Парижѣ послѣ 1813 года, а затѣмъ въ Вѣнѣ и Веронѣ, во время блестящихъ европейскихъ конгрессовъ.

Въ это время княгиня Волконская постоянно вращалась въ самомъ центрѣ придворной и дипломатической жизни. Политическія, литературныя и художественныя знаменитости искали

ея знакомства и тяготѣли къ ея кружку, потому что тяготѣніе это вызывалось и обусловливалось благопріятными условіями, которыя соединяла въ себѣ Волконская: знатность ея и богатство еще болѣе казались привлекательными, потому что возвышались ея красотой и любезностью: красотѣ и любезности въ свою очередь помогали признанная всѣми разнообразная ученость княгини и артистическая талантливость. Музыкальныя знаменитости охотно окружали ее потому, что она блестящимъ образомъ исполняла лучшія музыкальныя пьесы того времени и считалась самою даровитою исполнительницею новыхъ произведеній Россини. Знаменитости сценическаго міра уважали въ ней сценическія знанія, потому что она доказывала ихъ практически, сама исполняя на сценѣ модныя пьесы своего времени. Ученыя знаменитости не скучали съ ней потому, что она считалась ученою женщиною—слыла за женщину-филолога, знала латинскій языкъ и признавалась лучшею ученицею члена нашей академіи филолога Андрея Меріана; она же была другомъ извѣстнаго нашего ученаго Гульянова.

Поэтъ и композиторъ—она сама писала кантаты и сочиняла къ нимъ музыку: такъ извѣстна ея кантата, написанная въ память императора Александра Павловича и положенная ею же на музыку. Къ этой кантатѣ, составляющей теперь библіографическую рѣдкость, приложенъ ея портретъ, гравированный съ подлинника работы К. П. Брюлова.

Воротившись изъ Европы въ Россію, она поселилась въ Москвѣ, гдѣ и жила, какъ говорятъ недавно опубликованныя о ней свѣдѣнія, въ богатомъ домѣ брата своего, у тверскихъ воротъ, въ домѣ, «который она умѣла обратить въ настоящую академію наукъ и искусствъ».

По всѣмъ проявленіямъ, это была натура крайне впечатлительная, увлекающаяся, и потому, къ сожалѣнію, не настолько стойкая и постоянная, чтобы отдаться одному какому-либо дѣлу: когда она была въ Европѣ—европейская жизнь всецѣло овладѣла ея симпатіями, и она умѣла сама приковать къ себѣ вниманіе и сочувствіе всего, что́ было въ Европѣ умнаго, образованнаго, талантливаго, ученаго. Въ Россіи—на нее повѣяло новыми вліяніями, и въ свою очередь она стала центромъ тяготѣнія всего, что могла дать въ то время русская жизнь самаго образованнаго и даровитаго.

«Все что было лучшаго въ русской словесности, съ почтеніемъ окружало высокоталантливую княгиню», говоритъ одинъ изъ современныхъ московскихъ писателей, для котораго еще живы преданья двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ.

Пушкинъ подъ вліяніемъ обаянія, разливаемаго на всѣхъ окружавшихъ этою женщиною, пишетъ ей свое знаменитое посланіе при посвященіи одной изъ удачнѣйшихъ поэмъ своихъ—«Цыгане»:

Среди разсѣянной Москвы,
При толкахъ виста и бостона,
При бальномъ лепетѣ молвы,
Ты любишь игры Аполлона.
Царица музъ и красоты,
Рукою нѣжной держишь ты
Волшебный скипетръ вдохновеній,
И надъ задумчивымъ челомъ,
Двойнымъ увѣнчаннымъ вѣнкомъ,
И вьется и пылаетъ геній.
Пѣвца, плѣненнаго тобой,
Не отвергай смиренной дани:
Внемли съ улыбкой голосъ мой,

Какъ мимоѣздомъ Каталани
Цыганкѣ внемлетъ кочевой.

Это она—«царица музъ и красоты».

Баратынскій, по словамъ котораго «смазливыя вострушки» не должны «трогать парнасскаго пера», потому что для нихъ существуютъ другія «игрушки»—любовь, и потому что рифмы—неблагодарное дѣло, такъ какъ отъ занятій литературой «на пальчикахъ чернила остаются»,—этотъ самый Баратынскій посвящаетъ княгинѣ Волконской свои блестящіе стихи: «Изъ царства виста и зимы»...

Солидный и строгій философъ И. В. Кирѣевскій также не спасается отъ неотразимаго обаянія этой женщины и также посвящаетъ ей единственное, написанное имъ въ этомъ несвойственномъ ему духѣ, хвалебное стихотвореніе.

«Жившій тогда въ Москвѣ Мицкевичъ—говоритъ тотъ же московскій писатель—находилъ себѣ восторженное сочувствіе въ княгинѣ Волконской, а молодой Веневитиновъ привязанъ былъ къ ней всѣми силами души. С. П. Шевыревъ былъ у нея домашнимъ человѣкомъ. Словомъ, княгиня Волконская была центромъ московской умственной жизни».

Нѣтъ ничего удивительнаго, что Волконская, налагая обаяніе своей личности на всѣхъ ее окружавшихъ, сама отдалась обаянію окружавшей ее умственной сферы, въ которой было столько свѣжихъ силъ, и взаимно служила этимъ силамъ.

Изъ европейской женщины она стала русскою повидимому до мозга костей, но только повидимому—это было опять-таки что-то вродѣ нервнаго увлеченья, результатъ темперамента и фантазіи.

Въ то время когда на ея литературно-музыкальныхъ вечерахъ собирались всѣ знаменитости, русскія и пріѣзжія, всѣ тогдашніе маэстро смычка и пера, она стремительно бросилась въ

изученіе русской литературы, въ непосредственное ознакомленіе съ русскою народностью, съ русскими древностями и съ современнымъ бытомъ страны. Она, говорятъ, «готова была даже составить особое русское общество для обнародованія памятниковъ старины и народности».

Къ этому періоду ея увлеченія принадлежитъ одно изъ археологическо-литературныхъ ея произведеній—именно археологическій романъ, подъ именемъ «Ольга», который, страннымъ образомъ, при двойственности натуры этой женщины, явился изъ-подъ ея пера разомъ на русскомъ и на французскомъ языкахъ!

Романъ этотъ уцѣлѣлъ только въ отрывкахъ.

Но моментъ увлеченья какъ быстро пришелъ, такъ быстро и прошелъ:—такіе люди ничего прочнаго не сдѣлаютъ.

Одна страсть вытѣснила другую, какъ постоянно во всей ея жизни одно увлеченье смѣнялось другимъ, еще болѣе порывистымъ и также скоропреходящимъ.

«Все это соединеніе благопріятныхъ условій, какъ часто бываетъ у насъ, пропало для Россіи быстро и безвозвратно—говоритъ съ прискорбіемъ почтенный издатель отечественныхъ памятниковъ прошлаго и нынѣшняго вѣка.—Вслѣдствіе ли частныхъ или общественныхъ причинъ, Богъ вѣсть, княгиня Волконская въ 1829 году уѣхала въ свою издавна любимую Италію, и съ тѣхъ поръ, кажется, не возвращалась домой. Она поселилась въ Римѣ, посвятила себя дѣламъ милосердія и скончалась въ 1862 году строгою подвижницею иного закона. Съ глубокою скорбью будущій историкъ отмѣтитъ, что всѣ высокіе дары, коими столь щедро надѣлена была покойная княгиня, не принесли для Россіи той пользы, какой можно было ожидать».

Да они и Европѣ не принесли никакой пользы—никому не принесли...

Княгиня Волконская, подобно другой такой же даровитой русской женщинѣ, Свѣчиной, стала католичкою, и насильно хотѣла забыть Россію.

Но забыть ее повидимому было не легко. Есть основанія думать, есть даже факты, доказывающіе, что вольная отшельница изъ Россіи часто думала о Россіи.

Такъ она русскимъ воспоминаніямъ посвящаетъ особое стихотвореніе, о которомъ мы говорили выше—именно «Пѣснь невская». Оно написано уже въ 1837 году, черезъ восемь лѣтъ послѣ того какъ Россія для отшельницы стала чужою страною и народъ ея чужимъ.

Вотъ это стихотвореніе, въ которомъ до извѣстной степени отражается личность самой писательницы:

Стоитъ царскій дворецъ на Невѣ-рѣкѣ,
Передъ нимъ лежитъ площадь бѣлая,
А на ней стоитъ царь гранитный столпъ.
Петербургскій мужикъ притащилъ его,
Притащилъ его изъ пороговъ лѣсныхъ.
На столпѣ томъ стоитъ ангелъ родственный.
Заглядѣлся родной на старинный свой домъ.
И себѣ на умѣ: Благодарствуй, братъ!
Хорошо—высоко ты поставилъ меня,
Наводненій, огня не терпѣть мнѣ здѣсь!
У дворца въ глазахъ рѣка бурная,
Рѣка бурная, безпокойная.
На другой сторонѣ люди вѣщіе,
А за ними лежатъ прахи царскіе.
Тамъ палаты стоятъ и купеческія,
Гдѣ купцы послѣ думы собираются,
И мудренымъ издѣліямъ цѣну кладутъ;
Милліонъ языковъ тамъ коверкаютъ,
А причина всему—изба вѣтхая,

Изба вѣтхая на Невѣ видна.
Стоялъ царскій дворецъ на Невѣ-рѣкѣ,
Стѣны крыты всѣ тканью шелковою,
Зеркала на стѣнахъ исполину въ ростъ,
А подъ ними столы все сибирскіе,
Малахитовы, чудо дивное,
А въ окнахъ все цвѣты кашемирскіе,
Итальянскіе и голландскіе.
Вился плющъ на ширмахъ рѣшетчатыхъ,
А подъ плющемъ царица сиживала,
Думу думала съ дѣтенышками.
Поджидала царя, какъ проглянетъ на нихъ
Промежъ дѣлъ и заботъ государственныхъ.
Тамъ бывало народъ начиналъ съ царемъ
Новый русскій годъ въ гридняхъ свѣтлыхъ, златыхъ.
. . . . . .
Что гудитъ рѣка? Что ворчитъ Нева?
«Охъ ты Ладога! Ты зачѣмъ на меня
Повалила свой ледъ? Онъ мѣшаетъ мнѣ!
Ты не слышишь тамъ что-то кроется,
Словно въ крѣпость тать забирается.
Тамъ трещитъ вездѣ... мнѣ не нравится.
Скоро воды мои всѣмъ понадобятся,
Не всегда жъ отъ меня злу потопному быть!
Ой готовьте вы, братцы, ломы острые,
Топоры, да пешни, ведры новыя!
Да смотрите жъ въ ведрахъ чтобъ не мерзла вода!»
Загорѣлся дворецъ, и сгорѣлъ дворецъ.
И народъ готовъ, какъ вездѣ, за царя
Положить свои тамъ головушки.
Золы чорныя ужъ надъ ними курганъ.
Гдѣ надёжамъ-царямъ хорошо было,
Тамъ валятся снѣга въ жерло чорное!
Вы зачѣмъ собрались, люди умные,

Люди умные, мастера-столяры,
А и плотники новгородскіе!
Ужъ не новый дворецъ ли затѣяли.
Ахъ и впрямь ужъ дворецъ въ мысли строится,
Скоро сказывается сказка русская,
Скоро дѣлается дѣло съ русскими.
Станетъ скоро дворецъ что волшебный домъ,
Живописный дворецъ и весь мраморный.
А искусство у насъ вѣдь привозный цвѣтъ;
Хоть привозный цвѣтъ, да сроднился онъ
Съ почвой русскою, съ русскимъ разумомъ.
Грудь ея ужъ полна сѣмянъ собственныхъ.
Ахъ, рости, южный цвѣтъ, ты на сѣверѣ!
Ты въ теплицѣ цвѣти, какъ на солнышкѣ!
И туда вѣдь глядитъ оно ясное,
Вѣтеръ ласковый, сила южная,
Благодатная роса райская!

Ясно, что на языкѣ этого стихотворенія лежитъ еще печать увлеченія русскимъ народнымъ говоромъ, русскимъ народомъ, русскою стариною.

Вообще достойно глубокаго вниманія замѣчательное явленіе въ исторіи русской женщины первой половины XIX вѣка—это католическій прозелитизмъ.

Явленіе это и его историческія причины ожидаютъ еще самостоятельнаго ученаго изслѣдованія, и желательно было бы, чтобы этотъ важный пробѣлъ въ исторіи русской женщины былъ возможно скорѣе пополненъ.

На этотъ пробѣлъ должно занестись имя княгини Волконской, какъ и имя Свѣчиной и иныхъ.

XV.

Прасковья Александровна Осипова.

Для исторіи русской женщины, какъ и для исторіи всей Россіи, драгоцѣнны и такія женскія личности, нравственный обликъ которыхъ, даже при положительной недостаточности біографическихъ подробностей о ихъ жизни, какою-либо хотя лишь одною чертою ярко выступаетъ изъ хаоса обыденной жизни и становится неизгладимымъ по отношенію къ исторіи нашего развитія вообще и въ особенности по отношенію къ другимъ историческимъ личностямъ, которыя налагали свою собственную, индивидуальную печать на это развитіе и помогали ему своею нравственною силой.

Какъ дорогъ для потомства цѣльный осколокъ какого-либо древняго, въ мусорѣ отысканнаго произведенія геніальнаго ваятеля, если цѣлое изваяніе и утратилось, такъ дороги для цѣлой картины исторической русской жизни цѣльные такъ-сказать осколки женскихъ личностей, осколки, по которымъ до нѣкоторой степени возсоздается цѣльный образъ человѣка и само собой уясняется его значеніе, его удѣльный вѣсъ среди всего, что̀ его окружало, на что этотъ человѣкъ имѣлъ прямое или рефлективное, отраженное вліяніе.

Такимъ — можно сказать — осколкомъ художественнаго произведенія русской жизни представляется намъ Прасковья Александровна Осипова—этотъ спасительный другъ Пушкина и оживляющій другъ Языкова, можетъ быть болѣе воздѣйствовавшій на возбужденіе творческихъ силъ двухъ наиболѣе любимыхъ когда-то Россіею поэтовъ русскихъ, чѣмъ самыя сложныя и самыя вліятельныя условія жизни, среды и обстановки.

Есть историческія женскія имена, которыя такъ и останутся лишь именами; но имена эти безсмертны: исторія не сохранила ни какихъ-либо подробностей о ихъ жизни и дѣятельности, ни даже яснаго представленія о ихъ нравственномъ образѣ; она и не сохраняетъ этихъ подробностей, какъ ничтожныхъ частицъ въ общей массѣ крупныхъ историческихъ фактовъ, но историческое безсмертіе за этими именами все-таки сохраняетъ.

Имя Форнарины стоитъ рядомъ съ именемъ Рафаэля — и этого достаточно, чтобы и первое имя было безсмертно какъ безсмертно второе. Имена Стеллы и Ванессы входятъ въ жизнь безсмертнаго Свифта, потому ли что эти женщины обѣ любили поэта, потому ли что поэтъ любилъ обѣихъ этихъ женщинъ, и если кромѣ этого простого, примитивнаго такъ-сказать факта ничего не было бы извѣстно о Стеллѣ и Ванессѣ, то все-таки безсмеріе этихъ женщинъ не могло бы стереться съ страницъ исторіи, и скорѣе сотрутся безличные образы скифовъ, даковъ и другихъ народовъ на безсмертной колоннѣ Траяна, скорѣе время истребитъ бронзу и мраморъ, увѣковѣчивавшіе нѣкоторыя имена древности, чѣмъ сотрутся съ исторической памяти имена женщинъ, какъ тѣхъ, о которыхъ мы кстати упомянули, такъ и другихъ, о которыхъ мы не упоминали.

Да исторія и не нуждается въ мелкихъ, анекдотическихъ подробностяхъ о нѣкоторыхъ личностяхъ: для потомства достаточно

знать имя лица и единый рельефъ его жизни, чтобы преемственно возсоздавать его нравственный обликъ... Гекуба, Андромаха, Аспазія, Клеопатра, Мессалина, Беатриче — все это лишь облики...

Такъ по двумъ-тремъ чертамъ возсоздается и образъ русской женщины, имя которой освѣщается однимъ воспоминаніемъ рядомъ съ именами Пушкина и Языкова — этого для насъ достаточно: мы можемъ обойтись и безъ біографическихъ подробностей, которыя могутъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ составлять лишь историческій балластъ.

Прасковья Александровна Осипова была сосѣдка Пушкина по его псковскому имѣнію, селу Михайловскому, гдѣ впослѣдствіи и похороненъ поэтъ.

Осипова жила въ сосѣдствѣ съ селомъ Михайловскимъ, въ своемъ имѣніи, селѣ Тригорскомъ, вмѣстѣ съ безсмертными именами дѣятелей русской мысли тоже получившемъ историческое безсмертіе, какъ остается цѣлыя тысячелѣтія безсмертнымъ невѣдомое мѣстечко на берегу Чернаго моря, гдѣ жилъ въ изгнаніи Овидій.

Осипова давно была дружна съ семействомъ Пушкина— съ его отцомъ Сергѣемъ Львовичемъ и матерью Надеждою Осиповною, и всегда оказывала самое теплое расположеніе къ молодому поэту, котораго значеніе въ исторіи русскаго развитія уже провидѣло общество. Осипова, съ своей стороны, женскимъ чутьемъ угадывала геніальныя силы, таившіяся въ молодомъ писателѣ, и всегда радушно принимала его въ своей семьѣ: у Осиповой, когда она особенно оказалась спасительною силою для Пушкина, придавленнаго временнымъ несчастьемъ, были уже взрослыя дочери, и оттого радушная семья ея представляла еще бо̀льшую такъ-сказать духовную полноту и закон-

ченность, гдѣ можно было тоскующему изгнаннику, какимъ былъ на то время Пушкинъ, вполнѣ отдохнуть душой.

Осипова была для Пушкина больше чѣмъ мать, и именно тогда, когда Пушкинъ нуждался въ поддержкѣ и ласкѣ.

Вотъ тотъ свѣтлый историческій лучъ, который освѣщаетъ обликъ этой женщины.

Въ 1824 году, Пушкинъ, за свои литературныя вины и за неосторожность въ словахъ, былъ привезенъ съ юга Россіи къ отцу въ село Михайловское и отданъ подъ надзоръ мѣстнаго жандармскаго начальства, мѣстной полиціи и мѣстнаго, псковскаго губернатора, которымъ тогда былъ Адеркасъ.

Отецъ Пушкина, встревоженный ссылкою сына, неосторожно вызвалъ его на рѣзкіе и непочтительные отвѣты — и между отцомъ и сыномъ вышли крупныя неудовольствія.

Въ этомъ случаѣ нетерпѣливая горячность Пушкина безъ сомнѣнія окончательно бы погубила поэта, если бъ его не спасла именно Осипова.

Въ раздраженіи противъ отца, Пушкинъ имѣлъ неосторожность послать губернатору Адеркасу слѣдующее странное прошеніе.

«Милостивый государь, Борисъ Александровичъ! Государь императоръ высочайше соизволилъ меня послать въ помѣстье моихъ родителей, думая тѣмъ облегчить ихъ горесть и участь сына. Но важныя обвиненія правительства пали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нѣжной любви его къ протчимъ дѣтямъ. Рѣшаюсь для его спокойствія и своего собственнаго просить его императорское величество, да соизволитъ меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей. Ожидаю сей послѣдней милости отъ ходатайства вашего превосходительства».

Осипова случайно узнала объ этомъ сумазбродномъ посланіи своего друга, и желая по возможности поправить дѣло, поспѣшила написать въ Петербургъ къ Жуковскому, который былъ въ то время приближеннымъ къ государю лицомъ, прося его содѣйствія въ томъ критическомъ и опасномъ положеніи, въ которое самъ себя поставилъ Пушкинъ.

Вотъ это письмо Осиповой къ Жуковскому, безспорно имѣющее историческое значеніе.

«Милостивый государь Василій Андреевичъ. Искреннее участіе (не свѣтское), которое я, съ тѣхъ поръ какъ себя понимать начала, принимаю въ участи Пушкина, пусть оправдываетъ въ сію минуту передъ вами меня, милостивый государь, въ томъ, что, не имѣя чести быть вамъ знакомою, рѣшилась начертать сіи строки. Изъ здѣсь приложеннаго письма усмотрите вы, въ какомъ положеніи находится молодой, пылкой человѣкъ, который, кажется, увлеченный сильнымъ воображеніемъ, часто къ несчастію своему и всѣхъ тѣхъ, кои берутъ въ немъ участіе, дѣйствуетъ прежде, а обдумываетъ послѣ.—Въ слѣдствіе нѣкоторыхъ недоразумѣній, или лучше сказать разныхъ мнѣній, по одному же однако предмету, съ отцомъ своимъ, вотъ какую просьбу послалъ Александръ къ нашему Адеркасу. Я все то сдѣлала, что могла, чтобъ предупредить слѣдствіе оной; но я не знаю, удачно ли; потому что г. Адеркасъ, хотя человѣкъ и добрый, но былъ прежде полицеймейстеръ. Я трепещу слѣдствій для нѣжной матери, да и отца! Можетъ вогнать прежде времени во гробъ. Не смотря на все, что теперь происходило, Александръ, кажется, имѣетъ счастіе пользоваться вашимъ доброжелательствомъ. Не дайте погибнутъ сему молодому, но право хорошему любимцу музъ. Помогите ему тамъ, гдѣ вы; а я, пользуясь нѣсколько его дружбою

и довѣріемъ, постараюсь, если не угасить вулканъ, по крайней мѣрѣ направить путь лавы безвредно для него.

«Если вамъ угодно отвѣчать Александру Сергѣевичу такъ, чтобы кромѣ его никто не видалъ вашихъ писемъ, то мое имя да служитъ вамъ эгидою».

Въ этомъ письмѣ Осипова удачно характеризуетъ Пушкина какъ человѣка, который прежде дѣйствуетъ, а послѣ ужъ обдумываетъ то, что сдѣлалъ. Письмо обнаруживаетъ также, что женщина эта принимала зависѣвшія отъ нея мѣры, чтобы сдѣлать безвредною для Пушкина посланную имъ къ губернатору просьбу.

Къ счастью, просьба не попала въ руки Адеркаса, потому что посланный Пушкина не засталъ губернатора въ Псковѣ.

Жуковскій отвѣчалъ на письмо Осиповой, и какъ видно изъ слѣдующаго письма этой послѣдней къ Жуковскому, писалъ и самому Пушкину и его отцу повидимому въ примирительномъ духѣ.

На письмо Жуковскаго Осипова отвѣчаетъ ему новымъ, въ высшей степени замѣчательнымъ письмомъ, обнаруживающимъ и свѣтлый умъ этой женщины и глубокое пониманіе натуры любимѣйшаго изъ русскихъ поэтовъ, погибшаго, черезъ тринадцать лѣтъ, именно такимъ образомъ, какъ предвидѣло умное сердце женщины.

Приводимъ вполнѣ и это письмо, ставшее теперь для Россіи драгоцѣннымъ историческимъ памятникомъ.

«Вчерашній день получила я письмо ваше и пріятною обязанностію себѣ поставлю исполнить желаніе ваше на счетъ положенія дѣлъ любезнаго нашего поэта. Къ похожденію письма его можно смѣло сказать, что на сей разъ Pouschkine fût plus heureux que sage. У васъ былъ ужасный потопъ (знаменитое на-

водненіе Петербурга 7-го ноября 1824 года), а у насъ распутица; нигдѣ нѣтъ проѣзду. Посланный его, не нашедъ губернатора во Псковѣ, черезъ недѣлю возвратился, не отдавъ письма никому. Теперь отдалъ его Александру Сергѣевичу, и онъ сказалъ мнѣ вчера, что его уничтожилъ, и душѣ моей стало легче.

«Желаю искренно, чтобъ совѣты ваши приняты были Сергѣемъ Львовичемъ и исполнены. Мнѣ пріятно было замѣтить изъ письма вашего, что мы съ вами совершенно согласны во мнѣніи на счетъ несогласія сихъ двухъ особъ, отца и сына. А причина сихъ вѣчныхъ между ними несогласій есть странная мысль, которая, не знаю отчего, вселилась съ обѣихъ сторонъ въ ихъ умахъ. Сергѣй Львовичъ думаетъ, и его ничѣмъ не можно разувѣрить, что сынъ его не любитъ, а Александръ увѣренъ, что отецъ къ нему равнодушенъ и будто бы не имѣетъ попеченія о его благосостояніи. Отъ сего происходитъ, что они обоюдно толкуютъ каждый въ свою очередь поступки одинъ другого ложно, а потому дѣйствуютъ равно ошибочно. Бывъ лишь чуждая и посторонняя совершенно между ими, я болѣе правды говорила любезному нашему анахорету, чѣмъ бы онъ выслушалъ отъ своей нѣжной Надежды Осиповны.

«Я живу въ двухъ верстахъ отъ села Михайловскаго, гдѣ теперь Александръ Пушкинъ, и онъ бываетъ у меня всякій день. Желательно бы было, чтобъ ссылка его сюда скоро кончилась; иначе я боюсь быть нескромною, но желала бы, чтобы вы, милостивый государь, Василій Андреевичъ, меня угадали. Если Александръ долженъ будетъ оставаться здѣсь только, то прощай для насъ русскихъ его талантъ, его поэтическій геній, и обвинить его не можно будетъ. Нашъ Псковъ хуже Сибири, и здѣсь пылкой головѣ не усидѣть. Онъ теперь такъ занятъ своимъ положеніемъ,

что безъ дальняго размышленія изъ огня вскочитъ въ пламя;—а тамъ поздно будетъ размышлять о слѣдствіяхъ.

«Все здѣсь сказанное не пустая догадка, но прошу васъ, чтобы и Левъ Сергѣевичъ (братъ поэта) не зналъ того, что я вамъ сіе пишу. Если вы думаете, что воздухъ и солнце Франціи или близъ лежащихъ къ ней, черезъ Альпы, земель, полезенъ для русскихъ орловъ, — и оный не будетъ вреденъ нашему, то пускай останется то, что̀ теперь написано, вѣчною тайною. Когда же вы другого мнѣнія, то подумайте, какъ предупредить отлётъ.

«Я не буду извиняться передъ вами, что пишу такъ много. Сердце было на концѣ пера, и я слишкомъ искренно привержена къ семейству Пушкиныхъ, чтобы равнодушно видѣть ихъ въ горестяхъ. Я забывала въ недавнемъ времени всю грусть души своей и каждую минуту думала только о Сергѣѣ Львовичѣ и Надеждѣ Осиповнѣ»...

Пушкинъ былъ спасенъ.

Въ приведенномъ нами письмѣ сказывается хорошая женщина и хорошій человѣкъ, который могъ быть дѣйствительнымъ другомъ нашихъ поэтовъ.

«Пушкинъ болѣе счастливъ чѣмъ благоразуменъ»... если Пушкинъ будетъ оставленъ въ Псковѣ, «то прощай для русскихъ его талантъ, его поэтическій геній»... «Псковъ хуже Сибири, и тамъ пылкой головѣ Пушкина не усидѣть»... «Пушкинъ безъ дальняго размышленія изъ огня вскочитъ въ пламя»...—это такія мысли, которыя очерчиваютъ всего Пушкина, тѣмъ болѣе, что опасеніямъ Осиповой, къ несчастью, суждено было сбыться: именно эта горячность, за которую преимущественно боялась Осипова, заставила Пушкина стать подъ пулю, которая и уложила его въ могилу. Дѣйствительно, у Осиповой сердце было на концѣ пера, когда перо это высказывало тѣ роковыя опасенія, которыя

тяготѣли надъ всею жизнью Пушкина и изъ опасеній перешли въ дѣло.

Нѣсколько инымъ характеромъ отличались отношенія Осиповой къ Языкову.

Лѣтомъ 1826 года, молодой поэтъ, еще въ качествѣ студента дерптскаго университета, пріѣхалъ въ Тригорское, чтобъ погостить у радушной хозяйки этого села. Тамъ Языковъ подружился съ Пушкинымъ, и эта страстная дружба поэтовъ кончилась лишь со смертью старѣйшаго изъ нихъ.

Въ семействѣ Осиповой и Языковъ, какъ и Пушкинъ, былъ какъ-бы любимымъ и баованымъ сыномъ: молодой студентъ тѣмъ болѣе подходилъ подъ положеніе сына для Осиповой, что съ сыномъ ея, Вульфомъ, Языковъ связанъ былъ самой тѣсной дружбой.

Лѣто, проведенное Языковымъ въ гостяхъ у Осиповой, осталось самымъ дорогимъ для него воспоминаніемъ на всю жизнь.

«Я вопрошалъ совѣсть мою и внималъ отвѣтамъ ея—писалъ онъ къ Вульфу въ началѣ 1827 года—и не нахожу во всей моей жизни ничего подобнаго красотою нравственною и физическою, ничего пріятнѣйшаго и достойнѣйшаго сіять золотыми буквами на доскѣ памяти моего сердца, нежели лѣто 1826 года».

Мало того, черезъ двадцать лѣтъ, 17-го сентября 1846 года, за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, Языковъ, больной, разбитый морально и физически, снова вспоминалъ лѣто, проведенное имъ въ гостяхъ у Осиповой, и такъ писалъ тому же Вульфу:

«Вези мой поклонъ и почтеніе въ Тригорское всѣмъ и каждому, кто меня помнитъ, и всѣмъ мѣстамъ, кои я помню о сю пору и никогда не забуду»... Не долго, впрочемъ, оставалось ему помнить...

Съ временемъ пребыванія Языкова у Осиповой связаны не только лучшіе годы его жизни, но и лучшія его поэтическія произведенія, изъ которыхъ одно носитъ названіе «Тригорскаго», другое — посланіе къ Пушкину, и два посланія къ П. А. Осиповой.

Отпуская, послѣ каникулъ, Языкова въ Дерптъ, Осипова приглашала его пріѣхать погостить и на слѣдующія каникулы; просили его пріѣзжать и дочери Прасковьи Александровны; но молодой поэтъ, страдавшій крайнею застѣнчивостью, не рѣшился пріѣхать на слѣдующій годъ.

...«Я тяжело виноватъ передъ Прасковьей Александровной—писалъ онъ къ Вульфу въ 1827 году—... моя многогрѣшная (добро) застѣнчивость принудила меня не отвѣчать на почтенное письмо: зане стыдилась отвѣчать отрицательно»...

Но вмѣсто себя Языковъ 1-го мая отправилъ къ Осиповой слѣдующее граціозное посланіе въ благодарность за присланные ему цвѣты:

Благодарю васъ за цвѣты,
Они священны мнѣ: порою
На нихъ задумчиво покою
Мои любимыя мечты;
Они плѣнительно и живо
Тѣ дни напоминаютъ мнѣ,
Когда на волѣ въ тишинѣ,
Съ моей Каменою лѣнивой
Я своенравно отдыхалъ
Вдали удушливаго свѣта
И вдохновеннаго поэта *)
Къ груди кипучей прижималъ!
И нынѣ съ грустью безутѣшной

*) Пушкина, конечно.

Мои желанія летятъ
Въ тотъ край возвышенныхъ отрадъ,
Свободы милой и безгрѣшной,
И часто вижу я во снѣ:
И три горы, и домъ красивый,
И свѣтлой Сороти извивы,
Златаго мѣсяца въ огнѣ,
И тамъ, у берега, тѣнь ивы, —
Пріютъ прохлады въ лѣтній зной,
Наяды пологъ пологъ продувной;
И тѣ отлогости, тѣ нивы,
Изъ-за которыхъ, вдалекѣ,
На ворономъ аргамакѣ,
Заморской шляпою покрытый,
Спѣша въ Тригорское одинъ—
Вольтеръ и Гёте и Расинъ—
Являлся Пушкинъ знаменитый;
И ту площадку, гдѣ въ тиши
Насъ нѣжила, насъ веселила
Вина чарующая сила—
Оселокъ сердца и души;
И все божественное лѣто,
Которое изъ рода въ родъ,
Какъ драгоцѣнность, перейдетъ,
Зане Языковымъ воспѣто!
Златые дни! Златые дни!... и т. д.

И дѣйствительно, память о лѣтѣ 1826 года, воспѣтомъ Языковымъ, переходитъ изъ рода въ родъ, какъ перейдетъ, конечно къ позднѣйшимъ временамъ и имя воспѣтой и Пушкинымъ и Языковымъ П. А. Осиповой.

Другое посланіе Языковъ написалъ Осиповой изъ Дерпта въ благодарность за присланные ею изъ тригорскаго сада плоды.

Вотъ это стихотвореніе, связанное съ памятью женщины, которая становится безсмертною рефлективнымъ безсмертіемъ другихъ историческихъ именъ:

Плоды воспѣтаго мной сада,
Благословенные плоды.
Они души моей отрада,
Какъ славы свѣтлая награда,
Какъ вдохновенные труды,
Прекрасныхъ рядъ воспоминаній
Они возобновляютъ мнѣ,
И волны прежнихъ упованій
Встаютъ въ сердечной глубинѣ!
Скучаю здѣсь: моя Камена
Оковы умственнаго плѣна
Еще носить осуждена;
Мнѣ жизнь горька и холодна,
Какъ вялый стихъ, какъ Мельпомена
Ростовцева иль Княжнина;
Съ утра до вечера я занятъ
Мірскимъ и тягостнымъ трудомъ,
И Богъ поэтовъ не помянетъ
Его во царствіи своемъ.
И долго сонному забвенью
Мой не потухнетъ фиміамъ;
Но я покоренъ провидѣнью
И жду чего?... не знаю самъ...
Я утѣшаюсь горделиво
Мечтой, что въ вашей сторонѣ
Самостоятельное живо
Воспоминанье обо мнѣ.
И благодаренъ вамъ душою
За вашъ подарокъ, и въ отвѣтъ
Изъ края скуки и суетъ,

Вы благосклонною рукою
Мои убогіе дары
Примите—пару книжекъ модныхъ
Произведеній ежегодныхъ
Словоохотной нѣмчуры.
Мои жъ стихи да будутъ знакомъ,
Что скоро и легко для васъ
Мой пробуждается Парнассъ,
И что поэтъ Языковъ лакомъ
Вездѣ всегда воспоминать
Свой рай и вашу благодать.

Хотя какъ мы видѣли въ предшествующемъ очеркѣ, и княгиня Волконская, подобно г-жѣ Осиповой, принадлежала уже къ числу русскихъ женщинъ, завершающихъ собою циклъ того женскаго поколѣнія, которому современная русская женщина, женщина шестидесятыхъ и начала семидесятыхъ годовъ приходится, можно сказать, родною дочерью, хотя и Волконской и Осиповой выпало на долю служить до нѣкоторой степени центромъ нравственнаго тяготѣнія такихъ умственныхъ силъ русскаго общества, какъ Пушкинъ и вся современная ему интеллигенція наша,—однако разными путями шли обѣ эти женщины, и въ то время когда первая, при своихъ безспорно богатыхъ внутреннихъ задаткахъ, потерявъ почву подъ ногами, перенесла свои симпатіи на чуждые и ей и ея родной землѣ интересы, другая, сколько могла и сколько научена была своимъ временемъ, всецѣло сберегла свои симпатіи къ тому близкому и родному ей міру, которому всякая живая сила должна служить по мѣрѣ возможности.

Въ этомъ явленіи достойно глубокаго вниманія то обстоятельство, что и современная намъ женщина, подобно этимъ двумъ,

только-что нами упомянутымъ, женскимъ личностямъ, унаслѣдовала отъ женщины сороковыхъ и тридцатыхъ годовъ эту необъяснимую повидимому двойственность стремленій: болѣе шаткія изъ нихъ не знаютъ сами, чему отдать свои симпатіи, и готовы отдать ихъ хотя бы, живучему при своей дряхлости, католицизму; болѣе же цѣльныя женскія натуры дѣйствительно поняли назначеніе женщины, и честно, съ изумительною стойкостью учатся служить дѣлу своей родины, какъ служила ему, насколько умѣла и могла, и та симпатичная женская личность, блѣдный обликъ которой мы сейчасъ старались сколько возможно воспроизвести.

XVI.

Унтеръ-офицерша Надежда Кирилова.

Римская исторія сохранила намъ поэтическій образъ несчастной дѣвушки, красота которой была причиною ея трагической смерти, а смерть этой невинной дѣвушки вызвала народное волненіе: отецъ собственноручно зарѣзалъ свою любимую дочь, чтобъ она не досталась сластолюбивому патрицію, а народъ, въ виду окровавленнаго трупа жертвы-красавицы, жестоко отмстилъ всѣмъ патриціямъ и смерть дѣвушки и свои старыя, давно накопившіяся обиды.

У насъ, въ тридцатыхъ годахъ, повторилось нѣчто подобное въ Севастополѣ; но это было далеко не то что въ Римѣ—не тѣ краски, не тѣ тѣни, не тѣ образы: вмѣсто поэтической римлянки и ея гордаго отца-плебея у насъ является унтеръ-офицерша Надежда Кирилова и ея мужъ, а вмѣсто сластолюбиваго патриція—выходитъ на сцену сластолюбивый штабъ-лекарь Верболозовъ.

Уже прежде мы высказали мысль, что какъ ни рѣдко женщина вообще появляется на страницахъ исторіи, какъ ни блѣдны вообще историческіе образы женщинъ какъ у насъ, такъ и у всѣхъ народовъ, какъ ни прикрыта отъ постороннихъ глазъ ея

закулисная историческая роль, однако несомнѣнно то, что вліяніе женщины на ходъ историческихъ событій неотразимо, что повидимому слабая рука ея руководитъ, невидимо для другихъ, волею мужчины, и изъ своей скромной области, изъ спальной, изъ дѣтской, женщина такъ или иначе направляетъ событія своего времени то мольбой, то совѣтомъ, то любовью, то лаской, то своею женскою слезою.

Но когда женщина оставляетъ спальную и дѣтскую, когда страсть и общее дѣло увлекаетъ ее на улицу, на площадь—сила ея бываетъ неотразима.

Примѣромъ этому можетъ служить такъ-называемый «женскій бунтъ въ Севастополѣ» — событіе, случившееся въ 1830 году, страшное по той формѣ, въ которой оно выразилось, и ужасное по своимъ послѣдствіямъ.

Хотя событіе это не исключительно связано съ именемъ женщины, стоящей въ заголовкѣ настоящаго очерка, однако ближайшимъ исходнымъ пунктомъ его такъ или иначе служила именно эта женская личность.

Лѣтомъ 1829 года въ Севастополь завезена была чума изъ Бессарабіи, гдѣ она тогда свирѣпствовала во время турецкой войны. Зараза завезена была въ Севастополь не сухимъ путемъ, а моремъ, на корабляхъ.

Для предупрежденія распространенія заразы городъ былъ отрѣзанъ отъ моря и отъ всѣхъ окрестностей строгою карантинною цѣпью. Карантинное оцѣпленіе продолжалось около года. Бѣдное населеніе, лишенное всякихъ средствъ имѣть посторонній заработокъ, пришло въ самое ужасное положеніе, и хотя къ веснѣ 1830 года зараза повидимому совершенно прекратилась, однако мѣстное начальство, изъ предосторожности, не снимало карантинной цѣпи и тѣмъ привело населеніе до положительнаго отчая-

нія. Въ самомъ бѣдственномъ положеніи находилось населеніе примыкавшихъ къ городу слободокъ, особенно же Корабельной.

«Жители Корабельной слободки—говорится въ одномъ оффиціальномъ документѣ, относящемся къ этому событію — въ сіе бѣдственное для нихъ время, которое, по причинѣ необыкновенно въ то время холодной зимы, было весьма для нихъ ощутительно, столько претерпѣли, что не имѣютъ словъ достаточно изъяснить тогдашнее ихъ бѣдственное положеніе. Будучи лишены всякаго съ городомъ и ближними селами сообщенія, не имѣя что̀ ѣсть и пить, равно и отопить свои жилища, они ежедневно видѣли несчастныя свои семейства и малолѣтнихъ дѣтей своихъ изнуряемыхъ голодомъ и холодомъ, и, при малѣйшей кому либо изъ нихъ приключившейся болѣзни, по освидѣтельствованіи медицинскихъ чиновъ, были забираемы въ карантинъ, на Павловскій мысокъ, гдѣ и были содержимы по пятидесяти и болѣе дней, и многіе изъ нихъ тамъ умирали, возвратившіеся же изъ онаго находили дома свои совершенно опустошенными. Раздаваемое имъ продовольственною коммисіею въ сіе время пособіе было столь незначительно, что онаго многимъ изъ нихъ и на одну недѣлю не было достаточно, какъ-то: по одной мѣркѣ муки на цѣлое семейство за все время оцѣпленія, по одной или по двѣ вязанки дровъ, нѣкоторымъ же по сорока и пятидесяти копеекъ, а многіе совсѣмъ ничего не получали. Представляя себѣ будущее свое состояніе въ настоящемъ его видѣ, они усматриваютъ, что будетъ едва ли не хуже прошедшаго относительно продовольствія ихъ будущею зимою, ибо они прежними годами въ продолженіи лѣтнихъ мѣсяцевъ выходили изъ мѣста жительства и въ ближнихъ мѣстахъ нанимались къ уборкѣ сѣна, для жатвы хлѣба, гдѣ и заработывали въ теченіи лѣта по сту и болѣе рублей и симъ способомъ зимою содержали и кормили свое семейство. Но какъ уже второе

лѣто проходитъ въ непрерывномъ оцѣпленіи города отъ окрестностей, гдѣ они и старались что либо заработать, и не имѣя къ зимѣ ни хлѣба, ни топлива и едва ли какое рубище для прикрытія наготы своей и дѣтей своихъ, умоляли всѣхъ членовъ коммисіи войти въ ихъ жестокое положеніе и довести оное до свѣдѣнія благодѣтельнаго начальства. Положеніе ихъ представляется имъ тѣмъ ужаснѣе, что въ теченіи прошедшей зимы всѣ они вообще прежде заработанныя кое-какія деньги принуждены были истратить; кромѣ того, не будучи въ состояніи, по дороговизнѣ, въ достаточномъ количествѣ покупать дрова, принуждены были сожигать многія свои необходимыя вещи, какъ-то: столы, скамейки, сундуки, кровати, полы и даже выламывали кусками кровли домовъ, только бы не замерзнуть отъ холода».

Положеніе населенія было тѣмъ болѣе отчаянно, что рабочая пора проходила, а оцѣпленіе съ города не было снято, и жители справедливо заявляли, что если не скоро освободятъ ихъ отъ карантинной цѣпи, то они совсѣмъ погибнутъ «и начальство о семъ не узнаетъ, ибо оное никогда, исключая сіе время существованія заразы, не имѣло надобности входить въ ихъ положеніе и снабжать ихъ хлѣбомъ и топливомъ, а потому открытіе города не только не представляетъ ни малѣйшей для нихъ пользы, но еще наводитъ страхъ отъ голоду и холоду».

Между тѣмъ, чума дѣйствительно давно прекратилась, а карантинная цѣпь все стоитъ, народъ не смѣетъ пробраться за цѣпь даже тайно, а кто пробирается—того хватаютъ и отсылаютъ на Павловскій мысокъ; голодный скотъ, не имѣя корма, тоже рвется за цѣпь, а сторожевые солдаты его пристрѣливаютъ. Ужасные «мортусы», съ ногъ до головы зашитые въ кожи и облитые смолою, вооруженные желѣзными крюками, все еще рыщутъ по городу, и всякаго подозрѣваемаго въ чумѣ хватаютъ и

тащутъ въ карантинъ. Обязанности «мортусовъ» исполнялись людьми, приговоренными къ каторжной работѣ. По городу, вмѣстѣ съ «мортусами», продолжаютъ рыскать доктора, и ищутъ зачумленныхъ. На улицахъ, на площадяхъ—мертвая тишина, унынiе; церкви заперты; звона колоколовъ не слышно. Больныхъ пріобщаютъ посредствомъ лжицы, навязанной на длинный шестъ. Имущество и платье умершаго сожигается. Народъ гоняютъ въ бухту и силой купаютъ въ водѣ «подобно скотамъ». Подозрительныхъ окуриваютъ.

Народъ начинаетъ думать, что причиной этого бѣдствiя—доктора, что они держатъ въ осадномъ положенiи городъ и въ заблужденiи начальство, чтобы получать двойной окладъ жалованья. Въ городѣ распространяется слухъ, какъ это было и во время холерныхъ эпидемiй, будто «мортусы», подкупленные начальствомъ и докторами, морятъ народъ, бросая ядовитыя вещества въ колодцы и источники.

Эти нелѣпые народные толки превратились въ непоколебимое убѣжденiе, когда унтеръ-офицерская жена Надежда Кирилова заявила, что штабъ-лекарь Верболозовъ уморилъ все ея семейство, и хотя она сама спаслась, но двое ея дѣтей дѣйствительно умерли отъ отравы.

Надежда Кирилова была отчасти права; но она бросила въ массу слишкомъ горючiй матерiалъ.

Кирилова нравилась Верболозову и онъ ухаживалъ за нею. Русская Лукрецiя отвергала всѣ предложенiя влюбленнаго доктора, и тогда онъ рѣшился поступить съ нею поримски, но только пріемы для этого употребилъ болѣе современные, далеко не героическiе.

У Кириловой умеръ отецъ, восьмидесятилѣтнiй старикъ. Такъ какъ, по карантиннымъ правиламъ, всякаго умершаго во

время чумы нужно освидѣтельствовать, чтобы удостовѣриться, не умеръ ли онъ отъ заразы, и по этому уже назначать способъ и пріемы его погребенія, то Верболозовъ, желая хотя косвенно побѣдить упрямую красавицу, объявилъ отца Надежды умершимъ отъ чумы и распорядился оцѣпить домъ ея, какъ чумный.

Но и эта мѣра не побѣдила цѣломудренной унтеръ-офицерши: — она вела себя какъ настоящая римлянка.

Тогда Верболозовъ прибѣгъ къ другимъ мѣрамъ: онъ не послалъ за своею жертвою, подобно римскому консулу, своихъ ликторовъ—«мортусовъ», а употребилъ для этого орудіемъ робкую еврейку, Ривку Зильбербергъ.

— Поди уговори Надежду Кирилову—сказалъ онъ ей—а не то я тебя объявлю чумною и отправлю на Павловскій мысокъ.

Напуганная еврейка отправилась исполнять порученіе страшнаго доктора; но и ея посредничество не имѣло успѣха.

Но сластолюбивый и изобрѣтательный старикъ не остановился и на этомъ: видя безполезность угрозъ, онъ прибѣгъ къ задобриванью предмета своей страсти. Верболозовъ принесъ Кириловой коробку конфектъ; но когда она и ея маленькія дѣти попробовали этого приношенія, то съ ними тотчасъ же сдѣлалась рвота, перешедшая въ кровавый поносъ. Хотя сама Надежда осталась жива, но двое ея малютокъ на другой же день померли.

Народъ положительно и громко заговорилъ, что лекаря морятъ народъ для своихъ выгодъ, и потому продолжаютъ держать городъ на чумномъ положеніи.

Другой случай, послѣ происшествія съ Кириловой, раздражилъ населеніе еще болѣе.

Жена одного солдата заболѣла чумною горячкой и три дня мучилась ужаснымъ образомъ. Боясь дать знать объ этомъ медикамъ, чтобы они не объявили больную чумною и не оцѣпили

всего дома, мужъ этой женщины обратился къ «мортусу» Тыщенку, прося прекратить ея страданія. «Мортусъ» далъ больной растворъ яду, послѣ котораго несчастная и умерла. Объ этомъ происшествіи узнали власти и нарядили слѣдствіе: оказалось, что Тыщенко не первый уже разъ давалъ больнымъ свои сильныя лекарства на случай предсмертныхъ мученій, и всѣ его паціенты умирали быстро.

Тогда народъ пришелъ къ положительному убѣжденію, что лекаря и «мортусы» морятъ людей и для своихъ выгодъ объявляютъ городъ чумнымъ, тогда какъ, по его понятіямъ, чума давно оставила городъ.

Однимъ словомъ, чаша была полна съ краями — оставалось только влить въ нее еще одну каплю, чтобы глухой ропотъ перешелъ въ открытый мятежъ.

Этою каплею была смерть матросской вдовы Зиновьи Щеглової, въ Корабельной слободкѣ.

Щеглова умерла 31-го мая 1830 года. Между тѣмъ за нѣсколько дней до этого, именно 27-го мая, карантинное оцѣпленіе было снято съ самаго Севастополя, какъ признаннаго уже не чумнымъ городомъ, а съ Корабельной слободки, вѣроятно изъ осторожности, велѣно было снять карантинную цѣпь только 3-го іюня.

По карантиннымъ правиламъ, Щеглову нужно было освидѣтельствовать, и для этого въ слободку командированъ былъ штабъ-лекарь Шрамковъ.

Объ этой личности слѣдуетъ сказать, что онъ, къ несчастію, былъ одною изъ главныхъ причинъ женскаго бунта въ Севастополѣ. Подобно Верболозову, преслѣдовавшему Надежду Кирилову, Шрамковъ нагло относился ко всѣмъ женщинамъ, и изъ девятисотъ показаній, отобранныхъ, послѣ бунта, отъ женщинъ слѣдственною коммисіею, каждое оканчивалось такою фразою:

«претерпѣвала истязанія отъ штабъ-лекаря Шранкова», который самымъ неизвинительнымъ образомъ нарушалъ женскую скромность, и если въ числѣ показаній нѣкоторыя и были безъ вышеупомянутой фразы о Шранковѣ, то показанія эти принадлежали женщинамъ, перешедшимъ уже сорокалѣтній возрастъ.

По освидѣтельствованіи умершей Щегловой, Шранковъ объяснилъ ея смерть чумою.

Народъ пораженъ былъ этимъ извѣстіемъ. Когда начальство, чтобы удостовѣриться окончательно въ истинѣ донесенія Шранкова, командировало для освидѣтельствованія трупа еще старшаго врача Ланга, то этотъ послѣдній, къ несчастью, найдя у покойной на шеѣ нарывъ, съ своей стороны призналъ ее умершею отъ чумы и распорядился взять тѣло Щегловой въ карантинъ для преданія его землѣ, по карантиннымъ правиламъ, какъ чумное.

Случай этотъ повелъ къ тому, что начальство города должно было вновь признать существованіе чумы и постановить: «такъ какъ чума въ Корабельной слободкѣ прошла еще не совершенно, то продлить срокъ ея оцѣпленію еще на четырнадцать дней». При этомъ постановлено было, чтобы слободка не сообщалась съ населеніемъ самаго Севастополя, уже свободнаго отъ оцѣпленія раньше установленнаго для слободки срока.

Тогда населеніе Корабельной, не видя конца карантиннымъ мѣрамъ, рѣшилось не выдавать тѣла Щегловой и кромѣ того настаивать на томъ, что она умерла не отъ чумы, а отъ преклонныхъ лѣтъ, потому что ей было уже шестьдесятъ лѣтъ.

Пока карантинное начальство распорядилось прислать «мортусовъ» за трупомъ Щегловой, около трупа собралось уже до пятидесяти женщинъ, готовыхъ силою защищать тѣло отъ перенесенія въ карантинъ.

Явились четыре «мортуса» съ чиновникомъ Яновскимъ, чтобы взять трупъ. Женщины, защищая его, вступили съ «мортусами» въ драку, избили самого Яновскаго и такъ пробили камнями головы двумъ «мортусамъ», что тѣ вскорѣ послѣ этого и умерли.

Дали знать объ этой неожиданной вспышкѣ военному губернатору, которымъ былъ тогда генералъ-лейтенантъ Сталыпинъ.

Но пока губернаторъ успѣлъ прислать вооруженныхъ солдатъ, женскій бунтъ уже вспыхнулъ: разъ что раздраженіе прорвалось наружу, его уже трудно было затушить, пока горючій матеріалъ самъ не перегоритъ и не потухнетъ.

Раздраженіе женщинъ прежде всего опрокинулось на докторовъ, и въ особенности на того, который прежде подвергалъ ихъ неприличнымъ истязаніямъ—на штабъ-лекаря Шрамкова, объявившаго притомъ, что слободка продолжаетъ быть чумною: разъяренныя женщины окружили несчастнаго доктора, били его по головѣ, по шеѣ, подъ бока, таскали по землѣ, рвали на немъ мундиръ, и, кромѣ того, наиболѣе озлобленныя изъ нихъ и наименѣе скромныя дѣлали съ нимъ и то, о чемъ говорить въ печати неприлично. Затѣмъ, обезумѣвшія отъ своего собственнаго увлеченія тигрицы стали обыскивать свою жертву, надѣясь найти у него отраву, раздѣли несчастнаго до-нага, таская его съ рукъ на руки разбили стекло находившихся у него въ карманѣ часовъ и приняли осколки стекла за слѣды пузырька съ ядомъ. Обобравъ у него деньги, женщины не взяли ихъ себѣ, а передали часовому, оставивъ у своей жертвы только одинъ рубль. Затѣмъ подняли несчастнаго съ земли, повели по улицамъ Корабельной и кричали, что поймали его съ отравой.

Случай Верболозова съ Кириловой былъ у всѣхъ въ памяти—доктора должны быть отравители!

*

День былъ знойный. Чтобы удобнѣе производить допросы своей жертвѣ, женщины притащили изувѣченнаго доктора подъ тѣнь одного дома, и начали надъ нимъ свой судъ.

— А скажи, Шрамковъ, кто тебя послалъ морить людей? спрашивали его.

— Зачѣмъ ты ихъ опаивалъ? допытывались другія.

— Какой это мы у тебя разбили пузырекъ?

— Отчего умерла Щеглова и мортусы ли ее задавили?

Требуя отвѣтовъ на всѣ эти вопросы, женщины въ то же время принуждали его дать имъ подписку въ справедливости ихъ подозрѣній относительно чумы, и увѣряли, что послѣ подписки его отпустятъ.

Докторъ умолялъ ихъ не требовать отъ него подписки; говорилъ, что онъ не имѣетъ на это права; но его не слушали— отъ него требовали подписку.

— Да что вы его слушаете! онъ заодно со всѣми, кричали изъ толпы.

Снова началось битье и тасканье по землѣ злополучнаго доктора. Затѣмъ его повели въ бухту и искупали въ наказаніе за то, что и ихъ гоняли для купанья въ бухту «подобно скотамъ».

Послѣ купанья докторъ приведенъ былъ снова въ слободку, запертъ въ тотъ самый домъ, въ которомъ умерла Зиновья Щеглова, и снова потомъ выпущенъ.

Между тѣмъ съ такъ-называемой «южной стороны» Севастополя показался небольшой отрядъ вооруженныхъ солдатъ, но, замѣтивъ толпу болѣе чѣмъ изъ пятисотъ женщинъ, не рѣшился идти на явную опасность, а воротился назадъ за подкрѣпленіемъ.

Съ «сѣверной стороны» Севастополя видно было, что дѣлалось на «южной»: тамъ происходили приготовленія войскъ къ формальному походу противъ «сѣверной стороны».

Замѣтивъ это, женщины пришли въ ужасъ, и подняли вой. На этотъ вой выбѣжало еще до полуторы тысячи женщинъ съ дѣтьми—вопли и крики отозвались во всемъ городѣ.

Узнавъ въ чемъ дѣло, матросы, въ числѣ трехъ сотъ человѣкъ, пришли на помощь своимъ женамъ, дѣтямъ и родственницамъ. Улицы оказались тѣсны для такой многочислепной толпы, и вся масса волнующейся черни повалила на площадь. Тѣло Щегловой было также вынесено на площадь.

Наконецъ съ «южной стороны» является и войско. Нѣсколько взводовъ вооруженныхъ солдатъ, подъ предводительствомъ контръ-адмирала Скаловскаго, войдя въ слободку, обложили бунтовщиковъ съ двухъ сторонъ.

Такъ какъ Скаловскій не имѣлъ отъ губернатора полномочія дѣйствовать силою оружія, то онъ приказалъ одной ротѣ солдатъ пробиться сквозь толпу женщинъ къ трупу Щегловой, чтобы взять ее и похоронить по карантиннымъ правиламъ.

Толпа, впрочемъ, вела себя благоразумно, и, не оказывая никакого сопротивленія, выдала солдатамъ не только трупъ Щегловой, но и доктора Шрамкова, бывшаго какъ бы въ плѣну, съ тѣмъ чтобы онъ отправленъ былъ на Павловскій мысокъ для выдержанія установленнаго карантина, такъ какъ на нѣкоторое время онъ былъ заключенъ, по его же увѣреніямъ, въ чумномъ домѣ и [illegible] поэтому заразиться чумою.

Но Скаловскій имѣлъ еще два другихъ порученія отъ губернатора — уговорить толпу разойтись по домамъ и потомъ склонить все населеніе Корабельной слободки къ тому, чтобы оно вышло во временный лагерь, такъ какъ мѣра эта всегда считалась самою успѣшною для искорененія чумы.

Но на оба предложенія контръ-адмирала толпа отвѣчала дерзостью и негодованіемъ.

Скаловскій, видя неудачу, долженъ былъ удалиться на «южную сторону», а приведенное войско оставилъ на «сѣверной» для того, чтобы оно препятствовало сообщенію бунтовщиковъ съ Севастополемъ.

Тогда Сталыпинъ посылаетъ къ бунтовщикамъ новую вооруженную силу. Тотъ же Скаловскій привелъ еще три роты елецкаго пѣхотнаго полка, чтобы поддержать уже высказанныя толпѣ свои требованія; но толпа продолжала стоять на своемъ — ни по домамъ не расходилась, ни въ лагерь не уходила.

Такъ прошелъ первый день мятежа.

1-го іюня въ Севастополь пріѣхалъ таврическій гражданскій губернаторъ и настойчиво совѣтовалъ Сталыпину принять противъ бунтовщиковъ самыя рѣшительныя мѣры. Мнѣніе гражданскаго губернатора поддерживали и всѣ прочія военныя власти, сознававшія невозможность дѣйствовать на раздраженную толпу увѣщаніями. Но Сталыпинъ, вслѣдствіе своего мягкаго характера и все еще надѣясь, что бунтовщики образумятся, никакъ не рѣшался прибѣгнуть къ вооруженной силѣ.

Гражданскій губернаторъ, поссорившись съ Сталыпинымъ, уѣхалъ въ Симферополь, ничего не сдѣлавъ для подавленія мятежа.

Къ бунтовщикамъ снова являются власти—Скаловскій, генералъ-губернаторскій чиновникъ по особымъ порученіямъ Семеновъ и другіе.

Вмѣсто увѣщаній начинаются жосткія и неумѣстныя угрозы.

— Если вы не покоритесь — кричитъ Семеновъ къ толпѣ— то васъ погонятъ на купанье какъ скотовъ, пожгутъ ваше имущество и насильно выведутъ въ лагерь.

На эти угрозы женщины отвѣчали:

— Ни по домамъ не пойдемъ, ни въ лагерь не выйдемъ, ни купаться не станемъ и ни на какую новую окурку не согласны.

Сталыпинъ посылаетъ, наконецъ, къ бунтовщикамъ священниковъ.

Бунтовщики со слезами говорятъ священникамъ, что они нисколько не хотятъ упорствовать передъ начальствомъ, что они съ радостью разошлись бы по домамъ, но что они дольше не могутъ выносить оцѣпленія.

— За все время оцѣпленія—говорили они—у насъ, по причинѣ окурки и карантинныхъ мѣръ, не осталось никакой одежды и обуви, ни у кого нѣтъ чего ѣсть, чѣмъ избу вытопить. Весь скотъ нашъ или подохъ съ голоду, или проданъ за безцѣнокъ, или его пострѣляли. Мы сами отъ голоду пришли въ совершенное изнеможеніе и не можемъ кормить грудныхъ ребятъ, которыя отъ этого страждутъ и неминуемо должны умереть. Мы не бунтовщики, мы ѣсть хотимъ, а Семеновъ говоритъ, что насъ будутъ купать какъ скотовъ и имущество наше пожгутъ.

Ушли и священники, а толпа все стоитъ на площади въ осадномъ положеніи.

Сталыпинъ посылаетъ къ толпѣ съ новыми предложеніями: чтобы склонить толпу выйти въ лагерь, онъ обѣщаетъ, сверхъ положеннаго провіанта, топлива и воды, по пяти копеекъ ассигнаціями на душу на приварокъ.

Сталыпину отвѣчаютъ, что прежняго провіанта было недостаточно, а на пять копеекъ никакого приварка приготовить нельзя по причинѣ страшной дороговизны припасовъ.

Старикъ губернаторъ теряетъ, наконецъ, терпѣніе и велитъ разыскать всѣхъ зачинщиковъ: «буде такими окажутся мужчины, то предать ихъ военному суду, а если женщины, то наказать ихъ сильно розгами черезъ мортусовъ въ разныхъ частяхъ города,

для лучшаго примѣра». Бунтовщикамъ, кромѣ того, объявляютъ, что противъ нихъ употребятъ оружіе.

— Мы не бунтовщики и зачинщиковъ между нами никакихъ нѣтъ, и намъ все равно — умереть ли съ голоду, или отъ чего другого.

Въ заключеніе толпа объявила, что она намѣрена быть въ оцѣпленіи только до 3-го іюня, когда кончится первый семидневный срокъ, и что никоимъ образомъ не желаетъ быть въ оцѣпленіи второй, четырнадцатидневный срокъ, назначенный для снятія цѣпи по случаю смерти Зиновьи Щегловой.

Положеніе дѣлъ было критическое. Женскій бунтъ переходилъ въ общій мятежъ. Всѣ матросы, которые и не находились на площади, а оставались въ гавани и въ бухтѣ при своихъ обязанностяхъ, пришли въ то же непокорное состояніе, потому что у многихъ изъ нихъ между оцѣпленными на площади были или жены, или дѣти, или другіе родственники.

Сталыпинъ понялъ опасность положенія города и доносилъ генералъ-губернатору князю Воронцову, между прочимъ, слѣдующее:

«Я не долженъ скрыть отъ вашего сіятельства, что расположеніе умовъ частей морскихъ экипажей, въ Севастополѣ находящихся, весьма неблагонадежно, такъ что они, почти не скрываясь, говорятъ, въ случаѣ если бы начальство вознамѣрилось дѣйствовать на мятежниковъ силою оружія, то они выжидаютъ только перваго выстрѣла, чтобы идти къ нимъ на помощь».

Въ виду такой грозной перспективы, Сталыпинъ созвалъ военный совѣтъ. На совѣтѣ рѣшено: «содержать Корабельную слободку въ строгомъ оцѣпленіи и стѣсненіи тѣмъ усиленнымъ количествомъ войскъ, которыя имѣются въ распоряженіи, доколѣ ослушники не придутъ въ надлежащее повиновеніе».

Но повиновеніе было невозможно — ослушникамъ нечего было ѣсть.

При всемъ томъ, на своемъ совѣтѣ толпа рѣшила — до 3-го іюня, до конца положеннаго начальствомъ срока, не пробиваться черезъ цѣпь даже и въ томъ случаѣ, еслибъ она состояла не изъ вооруженныхъ войскъ, а изъ однихъ только деревянныхъ рогатокъ.

Дѣйствительно, эта нестройная и голодная масса вела себя вполнѣ благоразумно. Когда къ оцѣпленнымъ явился Скаловскій, чтобы лично освѣдомиться о положеніи дѣлъ, оцѣпленные съ клятвами обѣщали ему не нарушать оцѣпленія. Они только просили милости, пощады, потому что были голодны.

Но когда Скаловскій объявилъ оцѣпленнымъ рѣшеніе военнаго совѣта, то осажденные пришли въ ужасъ, женщины подняли плачъ, слившійся въ одинъ общій вой. Онѣ рвали на себѣ волосы, цѣловались другъ съ другомъ и въ отчаяньи бѣгали по всему оцѣпленію. Дѣти слѣдовали примѣру матерей. Мужчины плакали навзрыдъ.

Сцена эта произвела на войска самое тяжелое впечатлѣніе, поддерживавшееся постоянными причитаньями женщинъ и ревомъ дѣтей во всю ночь на 3-е іюня.

Это была роковая ночь.

Во время всеобщаго воя и плача, многія изъ оцѣпленныхъ женщинъ и находившіеся съ ними мужчины составили нѣчто вродѣ военнаго совѣта. На этомъ совѣтѣ рѣшено было, что на другой день осажденные такъ или иначе должны прорвать цѣпь. Такъ какъ безъ борьбы дѣло не могло обойтись, то шкиперскій помощникъ Кузьминъ вызвался научить осажденныхъ боевому фронту, на что и получилъ единодушное согласіе. Тотчасъ же, въ качествѣ командира, Кузьминъ началъ обучать всѣхъ осажденныхъ.

ныхъ боевымъ пріемамъ, и въ этомъ странномъ ученьѣ, среди ночного плача, женщины принимали весьма дѣятельное участіе. Въ теченіи ночи оцѣпленнымъ преподаны были пріемы маршировки, различныхъ боевыхъ эволюцій, группировкѣ по ротамъ, по взводамъ и указывались выгодныя позиціи въ предстоящей битвѣ.

А между тѣмъ сторожевыя войска должны были смотрѣть на эти странныя, небывалыя ночныя боевыя приготовленія и ждать дальнѣйшей развязки.

На военномъ же совѣтѣ осажденные опредѣлили время начатія дѣйствій и самый планъ наступленія на войска и на городъ. На совѣтѣ же составленъ былъ списокъ всѣмъ лицамъ, которыя должны были пасть жертвою народнаго озлобленія.

Севастопольскій военный губернаторъ, генералъ-лейтенантъ Сталыпинъ внесенъ былъ въ списокъ жертвъ первымъ. За нимъ слѣдовали члены продовольственной коммисіи, члены медицинскаго совѣта, далѣе — флотскій начальникъ контръ-адмиралъ Сальти и прочіе члены, начальникъ карантинной линіи князь Херхуладзевъ и карантинные чиновники.

Смерть ожидала слѣдователя [illegible]о и Верболозова, оскорбителя и врага Надежды Кириловой.

На совѣтѣ же, наконецъ, постановлено было—послать лазутчиковъ для возмущенія Артиллерійской и Каторжной слободокъ, а равно и всего Севастополя или, по крайней мѣрѣ, для развѣдыванья, какъ они отнесутся къ предпріятію осажденныхъ.

Исполненіе этого порученія возложено было на матроса первой статьи Соловьева. Ему была дана подробная инструкція какъ дѣйствовать и какъ донести осажденнымъ о результатѣ командировки. По инструкціи въ числѣ доводовъ для начатія бунта были слѣдующіе: жители Корабельной слободки умираютъ съ го-

лоду; ихъ всѣхъ хотятъ перебить или сослать въ Сибирь, и поэтому они хотятъ взбунтоваться; наконецъ, какъ скоро начнется возмущеніе, то въ немъ примутъ участіе татары и арнауты, а «турки пришлютъ изъ Константинополя свой флотъ, о чемъ имъ въ свое время дано знать. Условный знакъ для начатія возмущенія—колокольный звонъ и крики «ура».

Соловьевъ отправился. На дорогѣ онъ встрѣтился съ плотникомъ Никитинымъ и уговорилъ его идти съ собой для совмѣстнаго выполненія взятаго имъ на себя порученія.

Прежде всего лазутчики посѣтили адмиралтейство, гдѣ находились казармы рабочихъ экипажей. Рабочіе экипажи всѣ были готовы пристать къ бунтовщикамъ.

Въ Адмиралтейской слободкѣ лазутчики нашли расположеніе умовъ еще болѣе для нихъ благопріятное и готовое къ мятежу.

Наконецъ они зашли и на «хребетъ Беззаконія» — уголокъ, преимущественно заселенный матросами и голытьбою. Голытьба и матросы съ радостью шли помогать осажденнымъ.

Но здѣсь, часовъ уже въ одиннадцать, лазутчики были схвачены и приведены къ губернатору.

Ни мало не медля, Сталыпинъ отряжаетъ противъ бунтовщиковъ бригаднаго командира Воробьева съ тремя батальонами сухопутнаго войска и двумя орудіями, совершенно обнажая такимъ образомъ городъ отъ войскъ, въ которомъ остался одинъ только орловскій батальонъ.

Но и Воробьевъ не долженъ былъ еще употреблять въ дѣло вооруженную силу, а только строго наблюдать за оцѣпленными.

Въ пять часовъ къ оцѣпленнымъ командируется Скаловскій, который къ немалому удивленію узнаетъ, что осажденные ведутъ себя смирно и никакихъ признаковъ возмущенія не обнаружи-

ваютъ, а напротивъ клятвами завѣряютъ, что не думали и не думаютъ выходить изъ карантинной цѣпи.

Но тишина эта была передъ бурею. Раньше вечера бунтовщики ничего не думали предпринимать. Они ждали, что къ вечеру цѣпь будетъ снята. Они сами рѣшили, что будутъ повиноваться до срока, раньше опредѣленнаго начальствомъ для снятія цѣпи, а срокъ этотъ, по ихъ мнѣнію, кончался вечеромъ.

Но вотъ наступилъ и вечеръ, а цѣпь не снимается.

Толпа стала волноваться. Осажденные заявили открытое намѣреніе прорвать цѣпь, и стали напирать на нее, выставляя впередъ малолѣтнихъ дѣтей и грудныхъ ребятишекъ. Женщины опять подняли рыданіе и вой, лѣзли на цѣпь массою, защищаясь дѣтьми, какъ щитами.

Воробьевъ немедленно посылаетъ къ губернатору спросить—что́ ему дѣлать.

Но между тѣмъ цѣпь отъ напора массы начала уже прорываться.

Въ этотъ критическій моментъ получается приказъ губернатора чрезъ плацъ-адъютанта: дѣйствовать противъ толпы оружіемъ и продолжать стрѣльбу до тѣхъ поръ, пока непокорные съ площади не пойдутъ прямо въ лагерь.

Воробьевъ командуетъ баталіонамъ строиться въ боевой порядокъ и наводить на бунтовщиковъ пушки. Испуганная толпа съ крикомъ бросается назадъ, и, припавъ къ землѣ, снова ставитъ передъ собою дѣтей.

Это былъ ловкій маневръ со стороны бунтовщиковъ.

Когда бригадный командиръ далъ приказъ стрѣлять, артиллеристы, видя передъ собою дѣтей, пришли въ недоумѣніе—куда направить выстрѣлы, и первый залпъ пустили на воздухъ.

Такой неожиданный исходъ перваго выстрѣла ободрилъ бунтовщиковъ; но онъ навелъ ужасъ на бригаднаго командира. Канониръ Елисеенко наотрѣзъ отказался стрѣлять въ дѣтей, и такимъ образомъ единственная надежда на артиллерію — пропала.

Воробьевъ очутился въ рукахъ бунтовщиковъ. Цѣпь разорвана. Оцѣпленные и оцѣплявшіе смѣшались, бросаясь цѣловать другъ друга. Пушки взяты. Всѣ офицеры также взяты въ плѣнъ, потому что они не значились въ числѣ приговоренныхъ къ смерти.

Воробьевъ тотчасъ же былъ растерзанъ самымъ звѣрскимъ образомъ.

Затѣмъ вся эта смѣшанная толпа — женщины, за ними матросы и солдаты съ торжествомъ и неистовыми криками «ура» двигается на «южную сторону», на Севастополь.

Чтобы охватить городъ со всѣхъ сторонъ, толпа раздѣляется на партіи. Одна изъ этихъ партій, подъ предводительствомъ яличника Кондратія Шкарелупова, отправляется на Павловскій мысокъ, къ церкви св. Владиміра, взламываетъ дверь колокольни и бьетъ въ набатъ: вмѣстѣ съ набатнымъ звономъ колоколовъ раздается нескончаемое «ура». Это было сигналомъ для жителей всего Севастополя съ слободами.

Партія Шкарелупова бросается по всѣмъ домамъ и казармамъ искать, нѣтъ ли тамъ кого изъ приговоренныхъ къ смертной казни, и находитъ лишь одного Шрамкова.

Всѣ доктора — и Шрамковъ, признавшій Зиновью Щеглову зачумленною, и Верболозовъ, оскорбившій Надежду Кирилову, и Лангъ—всѣ были въ числѣ приговоренныхъ.

Но странно — какъ это часто бываетъ съ обезумѣвшею толпою — Шрамковъ былъ пощаженъ: такъ какъ онъ находился въ карантинѣ, то толпа рѣшила не трогать казеннаго зданія, не разорять карантина—и Шрамковъ остался въ-живыхъ.

Затѣмъ партія Шкарелупова идетъ на Севастополь, гдѣ должны были совершиться всѣ ужасы возмущенія, и соединяется съ другими партіями.

Первымъ дѣломъ бунтовщиковъ, по переходѣ на южную сторону, было броситься на кабаки. Но полиція предупредила ихъ. Угадывая, на что можетъ быть способна опьянѣвшая толпа, и безъ того уже обезумѣвшая, полиція поспѣшила, пока имѣла возможность, разбить бочки въ питейномъ подвалѣ и въ тѣхъ кабакахъ, къ которымъ за толпою доступъ былъ еще возможенъ. При всемъ томъ водка не вся была уничтожена, и бунтовщики, бросившись на оставшіеся въ цѣлости питейные дома, успѣли выпить даровато вина на 3712 руб. 40 коп.

Водка поддаетъ жару дикимъ звѣрямъ, и эти несчастные звѣри, подъ именемъ «доброй партіи», вновь дѣлятся на отдѣльныя партіи и разсыпаются по всѣмъ улицамъ Севастополя словно на охоту—за ловлею своихъ жертвъ.

Нескончаемое «ура» и набатный звонъ сопровождаютъ это возмутительное дѣло.

Одна партія бросается на адмиралтейство, разбиваетъ его ворота и принимаетъ къ себѣ двѣсти матросовъ рабочихъ экипажей.

Другая хватаетъ плацъ-адъютанта Родіонова, того самаго, который привезъ растерзанному толпою Воробьеву приказъ губернатора дѣйствовать противъ мятежниковъ пушками, и начинаетъ его истязать, не предавая однако смерти.

Вотъ какъ Родіоновъ самъ говоритъ о нападеніи на него толпы.

«Около 8-го часу окружило меня со всѣхъ сторонъ до 200 человѣкъ матросовъ и разнаго званія людей съ дубинами, мнѣ неизвѣстныхъ. Видя я ихъ такое дурное и законамъ противное

предпріятіе, обратился для спасенія жизни на дворъ къ г-жѣ Быченской, но со двора онаго стоявшимъ тамъ унтеръ-офицеромъ былъ выгнанъ съ произнесеніемъ словъ: «пусть васъ всѣхъ перебьютъ», то я полагаю, что и онъ въ семъ случаѣ содѣйствовалъ; на выѣздѣ же моемъ изъ онаго двора, тоже полнаго бунтовщиками, встрѣченъ былъ бунтовщиками, которые не говоря ни слова начали меня бить дубинами въ грудь, и только слышалъ произносящіяся ими слова: «это губернаторскій помощникъ, бей его!» Отъ такихъ ударовъ свалился я съ лошади на землю, на которой лежащему также нанесли нѣсколько жестокихъ ударовъ, отчего сдѣлался я совершенно безчувственнымъ; наконецъ вырвали полусаблю и сорвали съ мундира эполеты и тащили по землѣ отъ дому Быченской до питейной конторы, и въ сіе время отрубили лѣвое ухо, дали въ голову нѣсколько ранъ, плечо и локоть побито саблею, грудь и бока отбиты дубиною».

Такъ какъ въ программу бунта не входили ни истязанія, ни грабежи, ни убійства раньше опредѣленнаго времени, потому что бунтовщики хотѣли прежде отобрать у лучшихъ людей города подписки въ несуществованіи чумы, чтобы потомъ уже имѣть законныя, по ихъ мнѣнію, причины къ возмущенію и убійствамъ, — то плацъ-адъютанта и не убили до смерти, а только поистязали его нѣсколько за то, что онъ кстати подвернулся на глаза и притомъ онъ же привезъ покойному Воробьеву приказъ стрѣлять въ нихъ.

Губернаторъ, узнавъ, что весь городъ охваченъ бунтомъ и что въ его распоряженіи не осталось ни одной роты солдатъ, которые всѣ пристали къ мятежникамъ, тотчасъ же далъ вѣсть о беззащитномъ положеніи Севастополя во всѣ мѣста и просилъ присылки войскъ изъ Крыма, Одессы и съ Кавказа.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Сталыпинъ отправилъ къ бунтовщикамъ контръ-адмирала Скаловскаго и севастопольскаго коменданта, генералъ-адъютанта Турчанинова.

Скаловскій бросился къ питейной конторѣ, и его тотчасъ же окружила пьяная и разъяренная толпа.

«Я требовалъ — говоритъ онъ — чтобы толпа разошлась по своимъ мѣстамъ, но народъ кричалъ, что ихъ хотятъ еще мучить карантиннымъ оцѣпленіемъ, и въ ту же минуту говорили, окруживъ меня, многими голосами, чтобы убить меня. Находясь среди свирѣпствующаго народа, я, предавая жизнь свою въ руки ихъ, требовалъ, чтобы они образумились и вошли бы въ обязанность своей присяги и не подвергали себя такому буйству. Никакія убѣжденія не были приняты; толпа народа стѣснила меня съ шумомъ, ругательствами и угрозами на жизнь мою, которая уже и безъ того была во власти ихъ. Въ такомъ положеніи толпа народа умножалась и подвигалась внизъ къ соборной церкви, на которой били тревогу въ колокола. Приближаясь къ церкви, начали рвать съ меня мундиръ и эполеты, потому что я не имѣлъ ни одного человѣка для своей защиты».

Турчаниновъ былъ уже около собора. Его также били и истязали, но онъ спасъ свою жизнь тѣмъ, что далъ бунтовщикамъ подписку въ несуществованіи чумы.

Около собора въ это время стоялъ въ каре орловскій батальонъ, не ходившій на сѣверную сторону вмѣстѣ съ прочими войсками и не принимавшій никакого участія ни въ бунтѣ, ни противъ бунтовщиковъ. Скаловскій успѣлъ протѣсниться въ это каре, гдѣ былъ и Турчаниновъ, и предлагалъ этому послѣднему начать дѣйствія съ помощью орловскаго батальона, но Турчаниновъ отвѣчалъ, что батальонъ слабъ и что на вѣрность его

нельзя расчитывать. Во всякомъ случаѣ стрѣлять въ бунтовщиковъ было опасно.

Другія партіи, съ дубинами въ рукахъ, разсыпались по домамъ и выгоняли жителей на площадь, чтобъ оттуда идти въ церковь. Бунтовщикамъ хотѣлось церковью освятить свое ужасное дѣло, которое они считали правымъ, и потому всѣхъ гнали къ церкви.

Но имъ также нужны были и подписки, какъ бы разрѣшительные документы на мятежъ. Такую подписку они взяли у городского головы Носова и у нѣкоторыхъ другихъ вліятельныхъ гражданъ.

Одна толпа ворвалась въ домъ протоіерея Гаврилова и, вмѣстѣ съ прочимъ духовенствомъ, повела его къ соборной церкви.

Это было уже къ девяти часамъ вечера. Все, что рыскало по городу, собралось около этого времени къ собору. Соборная площадь едва вмѣщала это сборище, состоявшее тысячъ изъ шести мужчинъ и женщинъ.

Такъ какъ церковь была заперта, то бунтовщики требовали отъ Гаврилова, какъ отъ главнаго духовнаго лица въ городѣ, церковныхъ ключей; но протоіерей отвѣчалъ толпѣ, что ключей онъ имъ не дастъ, что они могутъ довольствоваться и колокольней, которую уже взяли для произведенія набата. Хотя нѣкоторые мятежники и бросились-было на священника, чтобы рвать на немъ ризы, такъ какъ онъ выведенъ былъ изъ своего дома въ облаченіи, но другіе закричали, что дверь церковная уже разбита—и толпа хлынула въ церковь, ведя съ собой и духовенство.

Но надо было освятить кровавое дѣло. А освятить его можно только тогда, когда оно правое, доброе дѣло.

И вотъ безумная толпа добивается своей правоты. Она вы-

нуждаетъ протоіерея, тамъ же въ церкви, въ алтарѣ, дать подписку такого содержанія:

«1830 года іюня 3 дня, по требованію доброй партіи, симъ свидѣтельствую, что въ городѣ Севастополѣ нѣтъ чумы.

Протоіерей Софр. Гавриловъ».

«и не было»...

(м. п.)

«Протоіерей Софр. Гавриловъ».

Послѣднюю добавку—«и не было»—толпа настояла вписать въ подписку послѣ.

Такую же подписку далъ іеромонахъ Пахомій и прочее духовенство.

Взявъ подписки, коноводы мятежа вынесли эти листки на площадь и, показывая ихъ толпѣ, говорили:

— Вотъ подписки, данныя лучшими въ городѣ, и по нимъ видно, что въ Севастополѣ чумы не было и нѣтъ, — значитъ, насъ морили доктора.

Толпа отвѣчала громогласнымъ «ура!»

И такъ, кровавое дѣло сдѣлано правымъ—теперь его надо освятить.

Подобно гайдамакамъ, которые святили ножи, которыми собирались рѣзать поповъ-ляховъ и евреевъ, севастопольскіе бунтовщики также требовали освятить предстоявшія имъ убійства.

Они требовали, чтобы протоіерей служилъ имъ молебенъ на убіеніе. Священникъ отказывался, говорилъ о беззаконіи ихъ дѣла; но народная ярость заставила его повиноваться—онъ благословилъ убійства!

Теперь только должно было начаться самое дѣло, согласно тому рѣшенію, какое принялъ военный совѣтъ бунтовщиковъ въ

предшествовавшую ночь. Надо было убивать тѣхъ, которые занесены были въ смертный списокъ.

Но многіе изъ обреченныхъ на смерть, предвидя свою гибель, успѣли скрыться изъ города. Бѣжала продовольственная коммисія, бѣжало карантинное начальство, бѣжала полиція съ полиціймейстеромъ Грушецкимъ во главѣ, и бѣжалъ медицинскій совѣтъ. Бѣжалъ и тотъ штабъ-лекарь Верболозовъ, который своими притязаніями къ Надеждѣ Кириловой былъ отчасти причиною того, что буря, которая могла сама собою утихнуть, разразилась надъ Севастополемъ.

Но въ городѣ еще оставался губернаторъ—старикъ не оставилъ своего поста.

Толпа, получивъ благословеніе на свое нечистое дѣло, окружила домъ губернатора. Сталыпинъ былъ дома. Бушующая масса ворвалась во дворъ. Желая образумить безумцевъ, старикъ вышелъ на балконъ и хотѣлъ говорить къ народу. Но бунтовщики были уже въ его комнатахъ, пробрались на балконъ и не дали старику говорить: его сбросили прямо на руки толпы, въ объятія смерти.

Долго таскали по землѣ несчастнаго старика, рвали на немъ мундиръ, эполеты. Дружное «ура» привѣтствовало это скверное дѣло. Во время истязанія старика, прапорщица Дарья Семенова, завладѣвъ саблею Сталыпина, неистовствовала самымъ неприличнымъ образомъ.

Старикъ былъ растерзанъ. Но этого мало: мѣщанинъ Яковъ Панковъ проплясалъ на изуродованномъ трупѣ Сталыпина.

Также растерзанъ былъ инспекторъ военнаго карантина Стулли, а домъ его разграбленъ.

Страшная и вмѣстѣ съ тѣмъ поразительно-эффектная была картина этого бунта.

*

Когда народъ вышелъ изъ собора и затѣмъ покончилъ съ жизнью Сталыпина и Стулли, наступила ночь. Толпа только-что разгулялась послѣ долгаго сидѣнья въ цѣпи, а между тѣмъ по улицамъ мракъ, въ домахъ мракъ—не видно кого бить, кого миловать. Надо освѣтить городъ, иллюминовать это постыдное торжество.

И вотъ придумывается оригинальное освѣщеніе, доказывающее притомъ, что бунтовщики въ ослѣпленіи своемъ надѣялись, что Богъ помогаетъ ихъ дѣлу. Укрѣпивъ по улицамъ и на площади длинные шесты и привѣсивъ къ нимъ иконы, они зажигали передъ иконами свѣчи какъ въ церкви—и такимъ образомъ освѣщали свое кровавое дѣло.

Надо было теперь покончить со всѣми лекарями, которые выдумывали чуму и морили народъ въ оцѣпленіи, голодомъ, купали въ бухтѣ, окуривали, а скотъ его пристрѣливали. Надо было такъ же надругаться надъ Шрамковымъ, какъ онъ надругался надъ трупомъ старухи Щегловой и надъ всѣми молодыми женщинами, надо сдѣлать надъ Верболозовымъ то, что́ онъ сдѣлалъ надъ дѣтьми Надежды Кириловой.

Но доктора, какъ мы сказали выше, всѣ бѣжали изъ города. Остался одинъ только Каменскій, который и былъ убитъ. Слуга медика Салоса имѣлъ несчастье быть похожимъ на своего господина—и тоже былъ убитъ ошибкой, вмѣсто барина.

Бросились къ вице-инспектору Семенову, къ тому самому, который, два дня тому назадъ, грозилъ оцѣпленнымъ женщинамъ, что ихъ «погонятъ на купанье какъ скотовъ и пожгутъ ихъ имущество». Но онъ также исчезъ изъ города. Толпа пришла въ крайнее остервененіе, когда узнала, что у него нѣтъ даже собственнаго дома, что онъ живетъ въ наемной квартирѣ—и по-

этому даже разрушить нечего въ ознаменованіе мести надъ бѣглецомъ.

Бросились въ домъ вице-адмирала Патаніоти, и также не нашли его дома. Этотъ генералъ, по своей трусости, въ самомъ началѣ бунта передалъ команду флотомъ контръ-адмиралу Скаловскому и бѣжалъ въ рейдъ на корабль. Бунтовщики ограбили его домъ.

— Ребята! — кричалъ при этомъ одинъ пощаженный бунтовщиками офицеръ:—зачѣмъ вы разоряете домъ начальника? Вѣдь онъ хорошій человѣкъ и былъ для матросовъ какъ отецъ, да ктому же онъ прибылъ въ Севастополь, когда городъ былъ уже оцѣпленъ.

— Врешь!—отвѣчали ему изъ толпы:—какой онъ отецъ и хорошій человѣкъ, когда онъ насъ, плотниковъ, билъ по зубамъ?

И домъ былъ дѣйствительно ограбленъ.

Бросились на домъ контръ-адмирала Примо, не нашли его самого, а домъ разграбили.

Нахлынули затѣмъ на домъ унтеръ-лейтенанта Боровича—и также разорили. Боровичъ спрятался. Сначала нашли на чердакѣ его жену и убили. Но его никакъ не могли найти. Нѣкоторые изъ толпы уговаривали товарищей не искать и не убивать его.

— Онъ добрый человѣкъ, и всегда стоялъ за матросовъ.

— Это такъ точно, но онъ благородный, и его надо убить, отвѣчали другіе.

Несчастнаго нашли спрятавшимся въ тарантасѣ—и убили.

Послѣ того убили еще коммисара.

Больше бить было некого: всѣ власти, какъ сухопутныя, такъ и морскія, приговоренныя «доброй партіей» къ смерти, скрылись—кто на корабли, кто за городскую заставу.

Кровавая ночь кончалась. Начинало свѣтать. Кончилась и безумная оргія озлобленнаго населенія.

Въ этомъ бунтѣ замѣчательно слѣдующее явленіе: убивая приговоренныхъ къ смерти и разрушая ихъ дома до основанія, мятежники не дотронулись ни до одного казеннаго зданія и даже не приблизились къ казначейству. Даже пушки и ружья, отнятыя у войска, возвращены въ цѣлости.

Слѣдующій день прошелъ въ волненіи, но безъ убійствъ. Бунтовщики были полными обладателями города. Но въ немъ еще оставался комендантъ, генералъ Турчаниновъ. Около девяти часовъ утра бунтовщики окружили его домъ и требовали формальнаго распоряженія о снятіи карантиннаго оцѣпленія съ Корабельной слободки и о возобновленіи церковнаго богослуженія. Турчаниновъ отвѣчалъ, что это выше его власти. Ему грозили возобновленіемъ опустошенія и убійствъ—и онъ далъ требуемое разрѣшеніе.

Послѣ этого толпы отхлынули по домамъ на отдыхъ. Они не спали четыре дня и четыре ночи.

Но въ два часа городъ опять на ногахъ. Надо освятить конецъ бѣдствія церковнымъ торжествомъ.

Толпа идетъ на Павловскій мысокъ, призываетъ священника, объявляетъ ему распоряженіе коменданта о снятіи оцѣпленія, велитъ открыть церковь, облачиться причту, выдать иконы и хоругви и отслужить передъ всѣмъ народомъ благодарственное молебствіе.

Пропѣвъ «Тебе, Бога, хвалимъ», толпа съ иконами и хоругвями обходитъ Корабельную слободку, проходитъ по всѣмъ ея улицамъ, переходитъ на южную сторону, и, не смотря на сопротивленіе коменданта, приказываетъ ему распорядиться, чтобы соборное духовенство, въ полномъ облаченіи, съ крестами, хоруг-

вями и образами, встрѣтило торжественную процессію, двигавшуюся съ сѣверной стороны.

Соборное духовенство и все населеніе Севастополя, съ иконами и хоругвями, съ хлѣбомъ и солью, встрѣчаетъ торжественное шествіе. Пять баталіоновъ вооруженнаго сухопутнаго войска и моряки отдаютъ ему честь.

Снова молебствіе и пѣніе «Тебе Бога хвалимъ», снова шествіе народа по улицамъ, по бухтѣ: въ торжественномъ гимнѣ принималъ участіе едва ли не весь городъ.

Все обойдено, все освящено—все, что было осквернено чумою и убійствами.

И вотъ настаетъ въ городѣ и въ предмѣстьяхъ совершенная тишина. Матросы попрежнему работаютъ на своихъ мѣстахъ, женщины—дома. Сознаніе вины засѣло въ голову каждаго; но воротить того, что сдѣлано, нельзя.

Съ 6-го числа въ Севастополь начали со всѣхъ сторонъ стекаться войска, и на другой день уже составилась цѣлая армія.

Начался судъ надъ бунтовщиками и убійцами. Однихъ зачинщиковъ, предводителей, убійцъ и грабителей найдено 980 человѣкъ—мужчинъ и женщинъ.

29-й флотскій экипажъ приговоренъ къ смертной казни весь.

Въ 17-мъ и 18-мъ экипажахъ приговоренъ къ смертной казни десятый.

Изъ простого народа осуждено на смерть 75 человѣкъ.

Наконецъ многіе приговорены къ кнуту, къ розгамъ, къ каторгѣ, къ прогнанію сквозь строй.

Но князь Воронцовъ отнесся вполнѣ гуманно къ причинамъ возмущенія и смягчилъ приговоры, конфирмовавъ казнить смертью только семерыхъ.

Канониръ Елисеенко, отказавшійся стрѣлять въ малолѣтнихъ и грудныхъ дѣтей, былъ приговоренъ къ смерти, но Воронцовъ отмѣнилъ казнь, повелѣвъ сослать его на поселеніе безъ всякаго наказанія.

Изъ женщинъ, поднявшихъ все это кровавое дѣло и отчасти руководившихъ имъ, триста семьдесятъ пять конфирмованы къ гражданской смерти.

Была ли въ числѣ ихъ и унтеръ-офицерша Надежда Кирилова—неизвѣстно.

Результатомъ женскаго бунта въ Севастополѣ было слѣдующее повелѣніе государя императора Николая Павловича, выраженное въ рескриптѣ къ князю Воронцову:

«Печальныя событія, совершившіяся въ Севастополѣ, показываютъ необходимость привести наконецъ въ исполненіе предположеніе, чтобы чины морскаго вѣдомства не имѣли въ семъ городѣ собственныхъ домовъ, также принять и другія мѣры для истребленія духа своеволія и непокорности, столь неожиданно оказавшагося на самомъ дѣлѣ. Убѣждаясь симъ, я приказалъ адмиралу Грейгу всѣхъ женатыхъ нижнихъ чиновъ, находящихся въ Севастополѣ, равно и имѣющихъ тамъ собственные дома, перевести въ Херсонъ, а вамъ вмѣстѣ съ симъ поручаю: женамъ ихъ и всѣмъ прочимъ женщинамъ, живущимъ въ такъ-называемыхъ слободкахъ, выдать паспорты и выслать ихъ изъ Севастополя, куда кто пожелаетъ, слободки же тѣ уничтожить совершенно».

XVII.

Домна Анисимова.

(Слѣпая Доманя).

Въ то время когда русская академія, желая почтить достойною памятью замѣчательный талантъ поэта-дѣвушки, похищенной у жизни нуждою въ тотъ самый моментъ, какъ геній этого необыкновеннаго ребенка — говоря немножко цвѣтистымъ языкомъ той эпохи — только что начиналъ развертывать свои могучія крылья, когда академія собирала и приводила въ порядокъ оставшіяся послѣ Елизаветы Кульманъ произведенія и, вмѣстѣ съ любопытными свѣдѣніями о ея недолголѣтней жизни, удостоивала ихъ особымъ изданіемъ, — въ это время, гдѣ-то на Окѣ, въ глухомъ, мало кому извѣстномъ рязанскомъ захолустьѣ, деревенская дѣвушка, нянька чужихъ крестьянскихъ дѣтей, слѣпая и обезображенная оспой, качая деревенскихъ ребятишекъ, пѣла надъ ними колыбельныя пѣсни своего собственнаго сочиненія, и притомъ импровизировала не только эти простыя колыбельныя пѣсни, но создавала цѣлыя оригинальныя стихотворенія, никѣмъ и ничему не ученая и, по своей слѣпотѣ, конечно, не умѣвшая ни читать, ни писать.

Такъ началъ свои пѣсни и Кольцовъ, разъѣзжая по воронежскимъ и донскимъ степямъ, въ качествѣ прасола или табунщика,

за «нагуливаемыми» для убоя стадами. Кольцовъ также слагалъ свои думы въ уединеніи, безъ всякаго руководства, какъ слагаетъ ихъ дикарь въ лѣсу, киргизъ въ степи и въ кибиткѣ. Только Кольцовъ былъ зрячій человѣкъ, умѣлъ читать и писать, жилъ въ губернскомъ городѣ, а не въ захолустьѣ, могъ видѣть книги, могъ учиться изъ книгъ и даже нѣсколько обучался въ гимназіи.

Между тѣмъ слѣпой рязанскій Оссіанъ-дѣвушка, никогда не видавшая даже города, не видала и книгъ, а убаюкивая чужихъ ребятишекъ, въ то время когда крестьяне работали въ полѣ, создавала свои думы изъ такого же матеріала, изъ какого создаетъ свои пѣсни птица, сидящая въ лѣсу на вѣткѣ. Но и птица видитъ зелень лѣса, поля, солнце, другихъ птицъ—это матеріалы для ея творчества; а слѣпая деревенская дѣвушка и этого матеріала не имѣла въ своемъ распоряженіи.

Вотъ что, между прочимъ, говорилъ объ этой слѣпой пѣвицѣ одинъ изъ ея современниковъ, открывшій этого слѣпаго Оссіананяньку въ деревенской глуши:

«Верстахъ въ двухъ отъ низменныхъ береговъ родной Оки, не вдали отъ древняго жилища князей рязанскихъ стоитъ бѣдное село Дегтяное, безпорядочно разбросанное вокругъ широкаго безволнаго озера. Вѣчно зеленѣющія, угрюмыя, непривѣтливыя ели, словно чугунная рѣшетка монастыря, опоясываютъ его со всѣхъ сторонъ. Сквозь эту натуральную рѣшетку съ одной стороны виднѣется шелковый лугъ съ многочисленными стадами окольныхъ селеній, съ другой виднѣются богатыя тучныя нивы трудолюбивыхъ поселянъ; въ углу селенія въ небольшомъ отдаленіи отъ людскихъ жилищъ, пріютовъ мелкой суеты и земнаго безпокойства, красуется на зеленомъ холмѣ смиренный божій храмъ, тихое, безмятежное пристанище душъ. Часто лѣтомъ и

зимою, весной и осенью, во всякую пору года и дня, я люблю переноситься въ это безвѣстное селеніе на коврѣ самолетѣ.

«Признаюсь, меня манитъ туда не прекрасный шелковый лугъ, художницей природой усѣянный прелестными, разнообразными цвѣтами, по которому въ тихій вечеръ майскаго дня любо гулять вдвоемъ съ завѣтною своею мечтою; меня влечетъ туда не зеркальное льдистое покрывало рѣки, на которомъ въ ясный декабрскій полдень есть гдѣ размыкать свое горе на борзомъ конѣ. Нѣтъ, меня манитъ, влечетъ туда совсѣмъ другое, — къ дымнымъ лачужкамъ Дегтянаго меня влечетъ горькая доля и поэтическій талантъ слѣпца-дѣвушки...

«Этотъ несчастный поэтъ-дѣвица, съ перваго знакомства завладѣвъ всею моею душою, познакомила и сроднила меня съ селеніемъ, дотолѣ мнѣ самому неизвѣстнымъ, и какою-то магическою силой заставила меня, по крайней мѣрѣ мыслію, никогда съ нимъ не разставаться».

Конечно, это очень сантиментально и трогательно; но фактъ остается фактомъ.

Говорилось это очень давно, въ 1838 году, въ одномъ изъ наиболѣе распространенныхъ въ то время нашихъ литературныхъ журналовъ.

Открытіе было сдѣлано, и объ немъ заговорила литература.

Тогдашняя «Сѣверная Пчела» написала особую статью объ этомъ открытіи и озаглавила ее — «Необыкновенное явленіе въ нравственномъ мірѣ».

Рѣчь шла о слѣпой дѣвушкѣ-поэтѣ, Домнѣ Анисимовой.

Домна Анисимова, или-какъ ее больше называли крестьяне ея родного села—«слѣпая Домаия», родилась въ 1807 году, отъ одного изъ самыхъ бѣдныхъ дьячковъ села Дегтяного, не носившаго даже другого имени кромѣ «дьячка Анисима».

Нищета, въ которой родилась Доманя, конечно была хуже той нищеты, въ которой, въ бѣдномъ домикѣ на васильевскомъ острову, родилась и жила Елизавета Кульманъ.

«Если бы вамъ, милостивые государи—продолжаетъ тотъ же писатель, открывшій слѣпца-поэта въ его захолустьи — если бъ вамъ когда-либо удалось взглянуть на тѣхъ, при чьихъ глазахъ она выросла, кто пеленалъ ее грубыми толстыми пеленками, кто напоялъ ее живою водою познанія, изъ вашихъ глазъ невольно выкатилась бы крупная слеза состраданія къ этой несчастной».

Дѣйствительно, отецъ Домани былъ на столько ученъ и развитъ, что «съ трудомъ на клиросѣ читалъ». Еще у нея былъ братъ-ровесникъ; но этотъ послѣдній нигдѣ не учился. Мать Домани, какъ и водится, постоянно возилась около печки съ горшками и ухватами, полоскала бѣлье, ходила за водой, жала и косила съ мужемъ.

Маленькая Доманя была зрячею всего только три года; на четвертомъ году ее изуродовала и ослѣпила оспа, которую въ то время въ деревняхъ очень мало прививали, а лечить и подавно не лечили, потому что докторовъ не было ни земскихъ, ни казенныхъ.

Слѣпая дѣвочка, чтобы даромъ не ѣсть скудный отцовскій хлѣбъ, поступила нянькою къ чужимъ дѣтямъ у своихъ же односельцевъ-крестьянъ, и росла исключительно между «мужиками», по выраженію біографа Домани тридцатыхъ годовъ.

«Ихъ (т. е. этихъ крестьянъ) чорствыя души—говоритъ біографъ Анисимовой — чуждыя всякаго образованія, отъ невѣжества почти совсѣмъ потерявшія врожденное эстетическое чувство, могли ли понять и разгадать поэтическій талантъ бѣдной няни чужихъ дѣтей?»

Слѣпота дѣвушки была однако такого рода, что она нѣсколько могла различать цвѣта, если они очень ярко выдавались—зеленый отъ краснаго, бѣлый отъ чернаго и другія разнородные цвѣта, но только тогда, когда окрашенные въ разные цвѣта предметы поставлены были одинъ выше другого.

Равнымъ образомъ слѣпая нѣсколько видѣла тѣнь отъ дерева въ ясный солнечный день; но самаго дерева не видала.

Поэтическій талантъ ея обнаруженъ былъ, когда дѣвушкѣ было уже двадцать-пять лѣтъ, хотя самая способность творчества явилась въ ней довольно рано.

Первое стихотвореніе, которое обнаружило въ ней способность импровизаціи, было случайно подслушано, когда слѣпая пѣла его надъ ребенкомъ. Это были стихи «Къ колыбельному дитяти».

«Слѣпая дѣвушка, въ рубищѣ, въ лаптяхъ»—сочиняетъ стихи, не умѣя читать — пугливо прячетъ отъ другихъ свои пѣсни — вотъ что вездѣ заговорили, едва прошла вѣсть о слѣпой стихотворицѣ.

Надо не забывать, что когда прошла молва о слѣпой деревенской стихотворицѣ, Кольцовъ еще ходилъ съ своего постоялаго двора въ воронежскую гимназію и пѣсни его еще не раздавались на Руси: — слѣпая Доманя указала дорогу Кольцову и была его прототипомъ.

Самое обнаруженіе дарованій дѣвушки произошло совершенно случайно: не подозрѣвая, чтобъ кто-либо ее слышалъ, слѣпая пѣла свою импровизированную колыбельную пѣсню надъ ребенкомъ, а попадья села Дегтяного подслушала незнакомыя слова пѣсни, была поражена этимъ чудомъ и сказала попу, своему мужу. Обнаруженіе стихотворскаго таланта дѣвушки потому произошло

такъ поздно, что слѣпая была очень робка и осторожна, боялась пѣть при другихъ, и тогда только рѣшалась удовлетворять своей эстетической потребности, когда всѣ крестьяне лѣтомъ, въ страдную пору, выѣзжали въ поля убирать хлѣбъ, а Домна оставалась на селѣ, чтобы няньчить и кормить оставляемыхъ дома крестьянками своихъ ребятишекъ.

Удивленный священникъ съ трудомъ могъ заставить робкую нищую пропѣть одно изъ своихъ стихотвореній, и біографъ Анисимовой при этомъ наивно поясняетъ, что когда дѣвушка догадалась, что ея тайну узнали люди, «яркій румянецъ мгновенно покрылъ длинныя ея щеки и высокій открытый лобъ» (— не красива была слѣпая пѣвица!).

Тогда быстро разошлась по губерніи вѣсть, которую передавали возвышеннымъ языкомъ того времени, что въ селѣ Дегтяномъ открытъ самородокъ, что «незнаемая бѣдная дѣва обладаетъ правомъ занять почетное мѣсто въ ряду доморощенныхъ геніевъ-самоучекъ».

Съ этимъ вмѣстѣ сосѣдніе помѣщики и другіе любители чтенія стали присылать Анисимовой книги, какъ напримѣръ— «Конька горбунка» Ершова, «Чернеца» Козлова—что́ во что гораздъ, какъ говорится, а кто-то подарилъ ей и Пушкина.

Оказалось, что раньше этого въ избу дьячка Анисима какъ-то случайно попали три книги — «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ» Жуковскаго, «Душенька» Богдановича и «Опыты въ стихахъ и прозѣ» Лажечникова, и слѣпая слышала, какъ кто-то читалъ ихъ, и эти-то книги вызвали въ ней дремавшія дотолѣ творческія силы.

Съ тѣхъ поръ слѣпая стала уже безбоязненно диктовать свои стихотворенія, и молва о ней разросталась все шире и шире.

Начались донесенія по начальству.

Исправникъ донесъ губернатору объ Анисимовой какъ о «произшествіи»,—и имя слѣпой дѣвушки стало извѣстно въ губернскомъ городѣ. О ней заговорили уже не съ точки зрѣнія полиціи, а какъ о необыкновенномъ явленіи.

Губернаторъ, которымъ тогда въ Рязани былъ Прокоповичъ-Антонскій, донесъ объ Анисимовой министру. Министръ, какъ «членъ россійской академіи» довелъ объ Анисимовой до свѣдѣнія академіи и препроводилъ стихи слѣпой дьячковской дочери на разсмотрѣніе этого высшаго словеснаго учрежденія.

И академія, раньше этого оцѣнившая произведенія безвременно погибшей Кульманъ, по возможности оцѣнила и стихи Анисимовой.

Чтобы не оставить дарованіе въ совершенной неизвѣстности и безъ поддержки, академія тотчасъ же напечатала стихотворенія Анисимовой отдѣльнымъ изданіемъ въ небольшомъ числѣ экземпляровъ, и выручку съ изданія предназначила въ пользу сочинительницы; кромѣ того академія выдала ей въ пособіе сто рублей, и наконецъ выслала нѣсколько необходимыхъ для чтенія книгъ, какъ-то: «исторію государства россійскаго» Карамзина, «Часы благоговѣнія» и другія.

Для нѣкотораго ознакомленія съ характеромъ поэтическаго таланта ничему неучившейся деревенской дѣвушки, съ объемомъ ея міровоззрѣнія, со степенью, наконецъ, умѣнья владѣть стихомъ, при незнакомствѣ не только съ правилами стихосложенія, но даже и съ грамматикою, мы позволяемъ себѣ привести здѣсь одно изъ ея стихотвореній, подъ названіемъ «Вѣтеръ».

Стихотвореніе это имѣетъ то исключительное значеніе, что въ немъ выказывается особенность психологическаго положенія, въ которое поставлена была слѣпая сочинительница: по этому психологическому своему значенію названное стихотвореніе Анисимовой имѣетъ глубокій смыслъ. Понять, что для человѣка, лишеннаго зрѣнія, не имѣющаго возможности различать предметы и ихъ положеніе, не могущаго даже видѣть ни очертаній, ни движенія окружающихъ его живыхъ силъ, ни слѣдить за постоянно совершающимся вокругъ жизненнымъ процессомъ,—понять, что только при помощи слуха и фантазіи слѣпому остается возможность наблюдать за жизнью и комбинировать явленія жизненнаго процесса, — сознать, вслѣдствіе этого, что только при помощи звука, шума и — главное — вѣтра для слѣпца мертвая природа становится живою и говорящею — для этого необходимо такое поэтическое чутье, которое и не всякому образованному человѣку удѣляется скупою природою.

И вотъ именно стихотвореніе «Вѣтеръ» обпаруживаетъ, что слѣпая дѣвушка въ лаптяхъ обладала и этимъ тонкимъ чутьемъ и способностью комбинированія невидимыхъ, но слышимыхъ лишь при помощи вѣтра явленій природы и жизни. Остановиться именно на подобной мысли—это уже признакъ таланта, замашка настоящаго художника.

Вотъ это стихотвореніе:

Шуми, шуми, о вѣтеръ бурный,
Надъ кровлей гулъ свой удвояй;
Товарищъ будь печальной думы,
И томны мысли оживляй.
Все спитъ; и ночь даетъ свободу
Тебѣ внимать, о бурный вѣтръ!

Шуми, напоминай природу;
Мнѣ зрѣть ее надежды нѣтъ.
Судьба во мракѣ вѣчной ночи
Ее сокрыла отъ меня;—
Во гробъ мои занесши очи,
Во тьмѣ судила жить стеня.
Траву, цвѣты, долины, горы,
Ручьи прозрачные, лѣса
Мои не встрѣтятъ вѣчно взоры;
Мнѣ такъ судили небеса.
На вѣки для меня несчастной
Померкли солнце и луна;
Ужъ мнѣ не зрѣть весны прекрасной,
Она цвѣтетъ не для меня.
И нивы класами златыми
Не могутъ духъ во мнѣ плѣнить,
И рощи вѣтвями густыми
Подъ тѣнь не могутъ приманить.
Съ тобой однимъ, товарищъ милый,
Я чувства горести дѣлю,
Нося при жизни мракъ могилы,
Въ тебѣ одномъ природу зрю.
Шуми, взывай межъ деревами,
Зеленымъ листомъ трепещи,
Греми ужаснѣе водами,
Ихъ волны на берегъ хлещи.
Во тьмѣ живущей среди свѣта
Пустынницѣ въ кругу людей
Шуми, яви картину лѣта
Въ гармоніи природы всей.
Напомни шумъ ручьевъ сребристыхъ,
Бѣгущихъ быстро по песку,

Отрадну зелень древъ вѣтвистыхъ,
Луга цвѣтущіе, рѣку.
Напомни въ жизни мигъ безцѣнный,
Разсвѣтъ моихъ минувшихъ дней;
Сіи минуты незабвенны
Яснѣй представь душѣ моей.
Рисуй поляны мнѣ съ цвѣтами,
Съ душистой зеленью младой,
Гдѣ я съ малютками-друзьями
Рѣзвилась вешнею порой.
Представь мнѣ лѣсъ густой, тѣнистый,
Съ листами мелкими въ дали,
Воды источникъ тихій, чистый
Въ разливъ вечернія зари.
Увы! и мнѣ покрытой тьмою
Природа знать себя дала,
Явивъ всѣ прелести зарею,
Потомъ на вѣкъ ихъ отняла.
Ищу представить въ мысли томной
Луну и звѣзды въ небесахъ;
Но все въ дали сокрылось чорной
Давно мелькнувшее въ глазахъ.
Лишь ты всю вѣрность сохраняя,
Взываньемъ сладость въ сердце льешь,
Шумишь, себѣ не измѣняя,
И мнѣ жизнь чувствовать даешь.

Мысль и постановка мысли — дѣйствительно поэтическія и въ самомъ исполненіи такъ хорошо осмысленныя.

Вотъ все, что мы можемъ сказать объ этомъ странномъ явленіи—о самосозданіи таланта почти безъ всякаго повидимому созидающаго стимула и безъ матеріаловъ для созиданія.

Что̀ сталось послѣ съ Анисимовой, какова была ея дальнѣйшая жизнь—свѣдѣній объ этомъ мы не могли достать.

Скажемъ только въ заключеніе этого бѣглаго очерка, что не удивительно было послѣ Анисимовой явиться Кольцову, какъ послѣ Ломоносова — Державину.

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(650) 723-1493
grncirc@sulmail.stanford.edu
All books are subject to recall.

DATE DUE

SEP 16 2001
OCT 10 2001
JUN 28 2002
APR 26 2002

Stanford University Libraries
3 6105 013 548 685

920
M.79

№45

МОРДОВЦЕВЪ

Русскія женщины
по времени.